АЗБУКА ВЕРЫ

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович

Дикое счастье

Художественная литература · azbyka.ru

Дикое счастье – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/dikoe-schaste

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

Дикое счастье

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович

I

– Господи Исусе Христе, помилуй нас…

– Аминь! Кто там крещеной? Никак ты, Михалко?

– Он самый… Отворяй ворота скорей, дядя. Насквозь изняло дождем, – во как зарядил!

– Откедова Бог несет?

– В Полдневскую гонял… Дельце маленькое вышло.

Дядя Зотушка ничего не ответил и молча принялся отодвигать тяжелый деревянный запор, которым были крепко заперты шатровые крашеные ворота. Засов отсырел от дождя, и дядя Зотушка принужден был навалиться на него всей чахоточной грудью, чтобы выдвинуть его из крепких железных скоб. «Ишь ведь взяло его…» – ворчал Зотушка, когда конец мокрого запора наконец поддался его усилиям и выдвинулся настолько, что можно было отворить маленькие ворота. В глубине темного двора как бешеная металась пестрая собака Соболько; заслышав хозяина, она радостно взвизгнула и еще неистовее принялась греметь своей железной цепью.

– Ну, едва тебя Бог простил с запором-то… – проговорил Михалко, въезжая в ворота верхом.

– Ты востер больно… Ишь закипело комариное-то сало!

Дядя Зотей еще раз навалился на упрямый запор и зашлепал по дощатому мокрому полу босыми ногами. Михалко не торопясь спустился с тяжело дышавшей лошади, забрызганной липкой осенней грязью по самые уши.

– Ладно, как пересобачил лошадь-ту, – говорил дядя Зотей, оглядывая лошадь, покрытую сплошным слоем грязи.

– За долгами отец посылал, – коротко ответил Михалко, расправляя на себе смятый кожан, насквозь пропитанный холодной дождевой водой. – В два-то конца все сорок верст сделал. А ты, дядя, выводи лошадь-то, больно заморилась…

– Знамо дело, не так же ее бросить… Не нашли с отцом-то другого времени, окромя распутицы, – ворчал добродушно Зотушка, щупая лошадь под потником. – Эх, как пересобачил… Ну, я ее тут вывожу, а ты ступай скорей в избу, там чай пьют, надо полагать. В самый раз попал.

– Так ты уж тово, Зотушка… Сперва выводи, а потом к столбу привяжи гнедка. Пусть хорошенько выстоится.

– Ладно, ладно… Без тебя знаем. Ступай. Ученого учить – только портить.

Зотушка посмотрел на широкую спину уходившего Михалка и, потянув лошадь за осклизлый повод, опять зашлепал по двору своими босыми ногами. Сутулая, коренастая фигура Михалки направилась к дому и быстро исчезла в темных дверях сеней. Можно было расслышать, как он вытирал грязные ноги о рогожу, а затем грузно начал подниматься по ступенькам лестницы.

«Этакой медведь этот Михалко! – думал Зотушка, таская за собой тяжело шагавшую лошадь. – Нет чтобы дать дяде пятачок… А-ах, чтоб тебя расстреляло!»

Голова Зотушки, с липкими жиденькими прядями волос, большим лбом, большими ушами, жиденькой бородкой, длинным носом и узенькими черными глазками, трещала со вчерашнего похмелья по всем швам. Ныла каждая косточка, каждая жилка, и так воротило с нутра, что Зотушка несколько раз начинал сердито отплевываться, приговаривая: «А-ах, Боже мой… помилуй нас грешных! Ведь всего один пятачок. Поправился бы, и шабаш. Ни-ни… Просил даве у старухи червячка заморить – в шею выгнала… Нюша дала бы, да у самой денег нет. Эх, жисть!..» В душе Зотушки родилась слабая надежда, что авось, если выводит лошадь, ему вышлют стаканчик. А славный стаканчик есть у старухи, еще дедовский, граненый, с плоским донышком. Не чета нынешним, из которых щенка не напоишь! А дождь продолжал частить, мерно осыпая железную крышу дробившимися каплями; с потолка глухо бежала вода, хлюпая в старой деревянной кадочке. Осенний темный вечер наступил незаметно и затянул все кругом беспросветной мглой – угол навеса, под которым стояли поленницы дров, амбары, конюшни, флигелек, где у старухи Татьяны Власьевны был устроен приют для старух и где в отдельной каморке ютился Зотушка. Из мрака выделялся темной глыбой только большой старинный дом, глядевший на двор своими небольшими освещенными окнами. Зотушка мог видеть в окна, что чай уже отпили, когда в комнату вошел Михалко, потому что старуха ушла на свою половину. «Сам», то есть Гордей Евстратыч, сидел еще за столом, слушая болтовню черноволосой Нюши, которая вертелась около него мелким бесом. Старшая невестка Ариша, жена Михалки, сосредоточенно перемывала чайную посуду, взмахивая концом полотенца: сегодня ее очередь чаем всех поить.

– Нет, видно, не вышлют… – решил Зотушка, когда Михалко не торопясь выпил два стакана чаю и поднялся из-за стола. – Вот тебе и утка с квасом!..

Против окна теперь стоял Гордей Евстратыч, хозяин дома и брат Зотушки; он степенно разглаживал свою окладистую бороду, красиво исчерченную выступавшей сединой. Михалко, видимо, отчитывался ему в своей поездке, откладывая что-то на пальцах. В такт цифрам он встряхивал своими подстриженными в скобу волосами, а потом добыл из кармана пиджака потертый бумажник и вынул из него пачку засаленных кредиток. «Рублей тридцать будет», – подумал Зотушка про себя и еще раз усомнился: вынесут ему стаканчик или нет. Ведь если по-человечеству-то разобрать, так он уж сколько времени вываживает лошадь, а на дворе вон какая непогода – всего промочило до нитки.

На этот раз Зотушка не дождался стаканчика и, выводив лошадь, привязал ее к столбу выстаиваться, а сам ушел в свою конуру, где сейчас же и завалился спать.

К ужину в небольшой проходной комнате, выходившей окнами на двор, собралась вся семья: Татьяна Власьевна, Гордей Евстратыч, старший сын Михалко с женой Аришей, второй сын Архип с женой Дуней и черноволосая бойкая Нюша. Гордей Евстратыч был вдовец, и весь дом вела его мать, Татьяна Власьевна, высокая, ширококостная старуха раскольничьего склада; она строго блюла за порядком в доме, и снохи ходили у ней по струнке. Издали эта крепкая купеческая семья могла умилить самого завзятого поклонника патриархальных нравов, особенно когда все члены ее собирались за столом. Обеды и ужины проходили в торжественном молчании, точно совершалось таинство. Разговаривать могли только «сам» и «сама», а молодые должны были только отвечать на вопросы. Впрочем, для Нюши и старшей невестки Ариши делалось исключение, и они могли иногда ввернуть свое словечко, хотя «сама» и подбирала строго каждый раз свои сухие, бесцветные губы. Сегодняшний ужин походил на все другие. Мужчины в одних ситцевых рубашках занимали одну половину длинного стола, женщины другую. Татьяна Власьевна была одета в свой неизменный

косоклинный кубовый сарафан с желтыми проймами и в белую холщовую рубаху; темный старушечий платок с белыми горошинами был повязан на голове кикой, как носят старухи-кержанки. Невестки и Нюша, в ситцевых сарафанах, таких же рубахах и передниках, были одеты как сестры; строгая Татьяна Власьевна не хотела никого обижать, показывая костюмом, что для нее все равны. Только бабьи повязки невесток выделяли их положение в семье; непокрытая голова Нюши с черной длинной косой говорила о ее непокрытой девичьей вольной волюшке.

Обеденный стол был накрыт синей пестрядевой скатертью; все ели из одной чашки деревянными ложками. День был постный, и стряпка Маланья, кривая старая девка в кубовом синем сарафане, подала на стол только постные щи с поземиной да гречневую кашу с конопляным маслом. Больше ничего не полагалось, а Татьяна Власьевна для постного дня даже к поземинe не прикоснулась, потому что это все-таки рыба, хотя и сушеная. Маланья была свой человек в доме, потому что жила в нем четвертый десяток; такая прислуга встречается в хороших раскольничьих семьях, где вообще к прислуге относятся особенно гуманно, хотя по внешнему виду и строго.

Сегодня Гордей Евстратыч был особенно в духе, потому что Михалко привез ему из Полдневской один старый долг, который он уже считал пропащим. Несколько раз он начинал подшучивать над младшей невесткой Дуней, которая всего еще полгода была замужем; красивая, свежая, с русым волосом и ленивыми карими глазами, она только рдела и стыдливо опускала лицо. Красавец Архип, муж Дуни, любовался этим смущением своей молодайки и, встряхивая своими черными, подстриженными в скобу волосами, смеялся довольной улыбкой.

– Будет вам лясы-то точить, – строго заметила Татьяна Власьевна, останавливая эту сцену. – Ведь за столом сидим, Гордей Евстратыч. Тебе бы других удержать от лишнего слова, а ты сам первый затейщик…

– Ну не буду, мамынька, – оправдывался Гордей Евстратыч, разглаживая свою бороду. – Пошутил, и кончено…

– Уж бабушка всегда у нас такая… – прибавила Нюша.

– Какая такая? – сердито заговорила Татьяна Власьевна. – Ну, говори, верченая!..

– Да такая… слово сказать нельзя.

– Ох, ты-то – невитое сено!.. У тебя и на уме-то все одни хи-хи да смехи. Погоди, вот…

Татьяна Власьевна недосказала конца фразы, хотя все хорошо поняли, что она хотела сказать: «Погоди, вот выйдешь замуж-то, так не до смеху будет… Востра больно!» Это была стереотипная угроза, которая слишком часто повторялась, чтобы испугать бойкую и неугомонную Нюшу. На ворчанье бабушки у нее был отличный ответ, который она, к сожалению, могла говорить только про себя: «Нашла чем пугать… У меня жених давно приготовлен, только дорогу перейти – тут и жених. А зовут его Алешкой Пазухиным!..» Невестки хотя и дружили с Нюшей, особенно Ариша, но внутренне были против нее, потому что Нюша все-таки была «отецкая», баловная дочка, и Татьяна Власьевна ворчала на нее только для видимости. Существование Алешки Пазухина не было тайной ни для кого в семье, хотя об этом никто не говорил ни слова: парень был подходящий, хорошей «природы», как говорила про себя степенная Татьяна Власьевна.

После ужина все, по старинному прадедовскому обычаю, прощались с бабушкой, то есть кланялись ей в землю, приговаривая: «Прости и благослови, бабушка…» Степенная, важеватая

старуха отвечала поясным поклоном и приговаривала: «Господь тебя простит, милушка». Гордею Евстратычу полагались такие же поклоны от детей, а сам он кланялся в землю своей мамыньке. В старинных раскольничьих семьях еще не вывелся этот обычай, заимствованный из скитских «метаний».

Когда все начали расходиться по своим углам, молчавший до последней минуты Михалко проговорил:

– А у меня, тятенька, до тебя дельце есть небольшое…

Он замялся и почесал у себя в затылке.

– Пойдем ко мне в горницу, – проговорил Гордей Евстратыч, удивленный «дельцем» Михалки.

Дом хотя был и одноэтажный, но делился на много комнат: в двух жила Татьяна Власьевна с Нюшей; Михалко с женой и Архип с Дуней спали в темных чуланчиках; сам Гордей Евстратыч занимал узкую угловую комнату в одно окно, где у него стояла двухспальная кровать красного дерева, березовый шкаф и конторка с бумагами. Лучшие комнаты, как во всех купеческих домах, стояли совсем пустыми, потому что служили парадными приемными при разных торжественных случаях. Вся семья жалась по крошечным клетушкам целый год, чтобы два или три раза в год принять гостей по-настоящему, как принимали все другие. Эти «другие», «как у других» – являлось железным законом.

– Ну что, Миша?.. – спрашивал Гордей Евстратыч, притворяя за собой дверь.

– Да вот, тятенька… я тебе привез гостинец от старателя Маркушки, – неторопливо проговорил Михалко, добывая из кармана штанов что-то завернутое в смятую серую бумагу.

– Это из Полдневской?

– Да. От Маркушки… Он сильно скудается здоровьем-то. «Вот, – говорит, – увидишь отца, отдай ему, пусть поглядит, а ежели, – говорит, – ему поглянется – пусть приезжает в Полдневскую, пока я не умер». У Маркушки водянка, сказывают. Весь распух, точно восковой.

Гордей Евстратыч осторожно развернул бумагу и вынул из нее угловатый кусок белого кварца с желтыми прожилками. В его трещинах и ноздринках блестело желтоватыми искорками вкрапленное в камень золото. В одном месте из белой массы вылезали два золотых усика, в другом несколько широких блесток были точно приклеены к гладкому камню. Повертывая кусок кварца перед лампой, Гордей Евстратыч рассмотрел в одном углублении, где желтела засохшая глина, целый самородок, походивший на небольшой боб; один край самородка был точно обгрызен. Да, это было золото, настоящее, червонное золото. Один самородок весил не меньше ползолотника… Гордей Евстратыч не мог оторвать глаз от заветного камешка, который точно приковал его к себе.

– Жилка… – в раздумье проговорил Гордей Евстратыч, чувствуя, как у него на лбу выступил холодный пот. – Видишь, Миша?

Михалко хотел взять в руки кусок кварца, но Гордей Евстратыч отстранил его и опять внимательно принялся рассматривать его перед огнем. Но теперь он уже любовался куском золотоносной руды, забыв совсем о Михалке, который выглядывал из-за его плеча.

– Так Маркушка-то зачем послал с тобой жилку-то? – спрашивал Гордей Евстратыч, приходя в себя. – За долг?

– Нет, про долг он ничего не говорил, а только наказывал, чтобы ты приехал в Полдневскую. «Надо, – говорит, – мне с Гордеем Евстратычем переговорить…» Крепко наказывал.

– А про жилку-то он тебе говорил или нет?

– Только всего и сказал: «Покажи, – говорит, – тятеньке скварец; ежели поглянется, пусть приезжает скорее…» А когда стал жилку в бумагу завертывать, прибавил еще: «Ох, хороша штучка!»

– Так он, Маркушка-то, сильно, говоришь, болен? – спрашивал Гордей Евстратыч, соображая совсем о другом.

– Да, совсем в худых душах…[1] Того гляди, душу Богу отдаст. Кашель его одолел. Старухи пользуют чем-то, да только легче все нет.

Гордей Евстратыч не слыхал последних слов, а схватившись за голову, что-то обдумывал про себя. Чтобы не выдать овладевшего им волнения, он сухо проговорил, завертывая кварц в бумагу:

– Все это вздор, Миша… Ступай, спи с Богом. Маркушка не нас первых с тобой обманывает на своем веку.

II

К девяти часам вечера все в доме были на своих местах, потому что утром нужно рано вставать. Татьяна Власьевна всех поднимает на ноги чем свет и только одной Арише позволяет понежиться в своей каморке лишний часок, потому что Ариша ночью возится с своим двухмесячным Степушкой.

Две комнаты, в которых жила Татьяна Власьевна, напоминали скорее монастырскую келью. Низкие потолки, оклеенные дешевыми обоями стены; выкрашенные синей краской дверные косяки и широкие лавки около стен; большой иконостас в углу с неугасимой лампадой; несколько окованных мороженым железом сундуков, сложенных по углам в пирамиду, – вот и все. На полу были постланы чистые половики, тканные из пестрой ветошки, на окнах белели кисейные занавески; около кровати, где спала Нюша, красовался старинный туалет с вычурной резьбой. В этих двух комнатах всегда пахло росным ладаном, горелым деревянным маслом, геранью, желтыми восковыми свечами, которые хранились в длинном деревянном ящике под иконостасом, и тем специфическим, благочестивым по преимуществу запахом, каким всегда пахнет от старых церковных книг в кожаных переплетах, с медными застежками и с закапанными воском, точно вылощенными, страницами. До старинных книг Татьяна Власьевна была великая охотница, хотя и считалась давно уже единоверкой; она никогда не упускала случая приобрести такую книгу, чтобы иметь возможность почитать ее наедине. Из этих книг составилась у ней маленькая библиотека, которая и хранилась в особом шкафике, висевшем на стене рядом с иконостасом. К старине Татьяна Власьевна питала почти болезненную слабость, все равно, в каких бы формах ни проявлялась эта старина: она хранила как зеницу ока все сарафаны, полученные ею в приданое, старинные меха, шубы, крытые излежавшейся материей, даже изъеденные молью лоскутки и разное тряпье.

После ужина Татьяна Власьевна молилась бесконечной старинной молитвой с лестовкой в руках. Поклоны откладывались по уставу, как выучили Татьяну Власьевну с детства раскольничьи «исправницы». Засыпая в своей кровати крепким молодым сном, Нюша каждый вечер наблюдала одну и ту же картину: в переднем углу, накрывшись большим темным

шелковым платком, пущенным на спину в два конца, как носят все кержанки, бабушка молится целые часы напролет, откладываются широкие кресты, а по лестовке отсчитываются большие и малые поклоны. Глядя на высохшее желтое лицо бабушки, с строгими серыми глазами и прямым носом, Нюша часто думала о том, зачем бабушка так долго молится? Неужели у ней уж так много грехов, что и замолить нельзя? Девушка иногда сердилась на упрямую старуху, особенно когда та принималась ворчать на нее, но когда бабушка вставала на молитву – это была совсем другая женщина, вроде тех подвижниц, какие глядят строгими-строгими глазами с икон старинного письма. Конца бабушкиной молитвы Нюша не могла никогда дождаться и засыпала сладким сном под мерный шепот бесконечных канунов. На этот раз девушка особенно долго болтала, мешая старухе молиться.

– А ты, баушка, на меня не сердишься? – спрашивала Нюша впросонье.

– Отстань, – с фальшивой строгостью отвечала бабушка, путаясь в счете поклонов.

– В то воскресенье мы к Пятовым пойдем, баушка… Пойдем?.. Фене новое платье сшили, называется бордо, то есть это краска называется, баушка, бордо, а не материя и не мода. Понимаешь?

– Отстань!..

– Феня такая счастливая… – с подавленным вздохом проговорила Нюша, ворочаясь под ситцевым стеганым одеялом. – У ней столько одних шелковых платьев, и все по-модному… Только у нас у одних в Белоглинском заводе и остались сарафаны. Ходим как чучелы гороховые.

– Ты у меня помели еще, безголовая! О Господи! согрешила я, грешная, с этой девкой… Ох, ужо повесят тебя на том свете прямо за язык!

Молчание. Опять поклоны. Неугасимая лампада горит неровным пламенем, разливая кругом колеблющийся неверный свет. Желтые полосы света бродят по выбеленному потолку, на мгновение выхватывают из темноты угол старинной печи и, скользнув по полу, исчезают. Нюша долго наблюдает эту игру света, глаза у ней слипаются, начинает клонить ко сну, но она еще борется с ним, чтобы чуточку подразнить строгую бабушку.

– Баушка, Вукол-то Логиныч, сказывал даве Архип, зонтик себе в городе купил, – начинает Нюша, сладко позевывая. – А знаешь, сколько он за него заплатил?

– Отстань…

– Шелковый зонтик-то, баушка! А ручка точеная из слоновой кости. Только Архип сказывает, что выточена такая фигура, что девушкам и смотреть совестно.

– Тьфу!.. тьфу!.. – отплевывалась старуха. – Провались ты с своим Вуколом Логинычем… Нашла важное кушанье!.. Срамник он, Вукол-то Логиныч… Тьфу!..

– Баушка, да ведь он за зонтик-то заплатил семьдесят целковых… Ей-богу! Хоть сама спроси у Архипа.

– Как семьдесят?

– Право, баушка, семьдесят целковых за один зонтик…

– Ох, дурак, дурак этот Вукол… Никого у них в природе-то таких дураков не было. Ведь Шабалины-то по нашим местам завсегда в первых были, особливо дедушка-то, Логин. Богатые были, а чтобы таких глупостев… семьдесят целковых! Это на ассигнации-то считать, так чуть не триста рублевиков… Ох-хо-хо!.. Уж правду сказать, что дикая-то копеечка не улежит на месте.

Взволнованная семидесятирублевым зонтиком, Татьяна Власьевна позабыла свои кануны и принялась рассказывать поучительные истории о Шабалиных, Пятовых, Колобовых, Савиных и Пазухиных. Вон какой народ-то, все как на подбор! Таких с огнем поискать, и не в Белоглинском заводе. Крепкий народ, по всему Уралу знают белоглинских-то. Даже из Москвы выезжают за нашими невестами. Вот оно что значит природа-то… Теперь взять хоть Настю Шабалину – вышла за сарапульского купца; Груня Пятова в Москву вышла; у Савиных дочь была замужем за рыбинским купцом, да умерла, сердечная, третий годок пойдет с зимнего Николы. А Вукол Логиныч что? Он только свою природу срамит… Семьдесят рублей зонтик! Да и другие-то, глядя на него, особливо которые помоложе, – пошаливают. Вон у Пятовых сынок-то в Ирбитской что настряпал! Легкое место сказать… А всему заводчик Вукол, чтобы ему ни дна ни покрышки. В допрежние времена таких дураков и не бывало. Так, дурачили промежду себя, только чтобы зонтиков покупать в семьдесят целковых – нет, этого не бывало.

Последние фразы Татьяна Власьевна говорила в безвоздушное пространство, потому что Нюша, довольная своей выходкой с зонтиком, уже спала крепким сном. Ее красивая черноволосая головка, улыбавшаяся даже во сне, всегда была набита самыми земными мыслями, что особенно огорчало Татьяну Власьевну, тяготевшую своими помыслами к небу. Прочитав еще два кануна и перекрестив спавшую Нюшу, Татьяна Власьевна осмотрела, заперты ли окошки на болты, надела на себя пестрядевый пониток и вышла из комнаты. Не торопясь, вышла она и заперла за собой тяжелую дверь на висячий замок, притворила осторожно сени и заглянула на двор. Дождь перестал, по небу мутной грядой ползли низкие облака, в двух шагах трудно было что-нибудь отличить; под ногами булькала вода. Перекрестив дом и двор, старуха впотьмах побрела к воротам. Чтобы не упасть, ей приходилось нащупывать рукой бревенчатую стену. Отворив калитку, Татьяна Власьевна еще раз благословила спавший крепким сном весь дом, а потом заперла калитку на тяжелый висячий замок и осторожно принялась переходить через улицу. В одном месте она черпнула воды своим низким башмаком без каблука, в другом обеими ногами попала в грязь; ноги скоро были совсем мокры, а вода хлюпала в самых башмаках. Но старуха продолжала идти вперед; Старая Кедровская улица была ей знакома как свои пять пальцев, и она прошла бы по ней с завязанными глазами. Недаром она выжила в этой улице пятьдесят лет. Вот через дорогу дом Пазухиных; у них недавно крышу перекрывали, так под самыми окнами бревно оставили плотники, – как бы за него не запнуться. От дома Пазухиных вплоть до Гнилого переулка идет одно прясло, а повернешь в переулок – тут тебе сейчас домик о. Крискента. Славный домик, с палисадником и железной крышей; в третьем годе, когда у о. Крискента родился мертвенький младенец, дом опалубили и зеленой краской выкрасили. Татьяна Власьевна по Гнилому переулку вышла на большую заводскую площадь, посредине которой неправильной глыбой темнела выступавшая углами, вновь строившаяся единоверческая церковь. Когда старуха взяла площадь наискось, прямо к церкви, небо точно прояснилось, и она на мгновение увидела леса и переходы постройки. Где-то брехнула собака. Редкие капли дождя еще падали с неба, точно серые нависшие тучи отряхивались, роняя на землю последние остатки дождя.

– Слава тебе, Господи! – прошептала Татьяна Власьевна, когда переступила за черту постройки.

Помолившись на восток, она отыскала спрятанную под тесом носилку для кирпичей, надела ее себе на плечи, как делают каменщики, и отправилась с ней к правильным стопочкам кирпича,

до которого добралась только ощупью. Сложив на свою носилку шесть кирпичей, Татьяна Власьевна надела ее себе на спину и, пошатываясь под этой тяжестью, начала с ней подниматься по лесам. Кругом было по-прежнему темно, но она хорошо знала дорогу, потому что вот уже третью неделю каждую ночь таскала по этим сходням кирпичи. Раньше ночи были светлые, и старуха знала каждую доску.

– Господи Исусе Христе, Сыне Божий… – шептала Татьяна Власьевна, поднимаясь по сходням кверху.

Доски были мокры от недавнего дождя, и нога скользила по ним; прикованные гвоздями поперечные дощечки, заменявшие ступеньки, кое-где оборвались с своих мест, и приходилось ощупывать ногой каждый шаг вперед, чтобы не слететь вниз вместе с своей тридцатифунтовой ношей. Но эта опасность и придавала силу работавшей старухе, потому что этим она выполняла данное обещание поработать Богу в поте лица. Давно было дано это обещание, еще в молодые годы, а исполнять это приходилось теперь, когда за спиной висели семьдесят лет, точно семьдесят тяжелых кирпичей. Да, много было прожито и пережито, и суровая старуха, сгибаясь под ношей, тащила за собой воспоминания, как преступник, который с мучительным чувством сосущей тоски вспоминает мельчайшие подробности сделанного преступления и в сотый раз терзает себя мыслью, что было бы, если бы он не сделал так-то и так-то. «Господи помилуй!.. Господи помилуй!» – шептала Татьяна Власьевна от сознания своей человеческой немощи. Но вот первая ноша поднята, вот и карниз стены, который выводят каменщики; старуха складывает свои кирпичи там, где завтра должна продолжаться кладка. Небо все еще обложено темными тучами, но в двух или трех местах уже пробиваются неясные светлые пятна, точно небо обтянуто серой материей, кое-где сильно проношенной, так что сквозь образовавшиеся редины пробивается свет. После двух подъемов на леса западная часть неба из серой превратилась в темно-синюю – сверкнула звездочка, пахнуло ветром, который торопливо гнал тяжелые тучи. Татьяна Власьевна присела в изнеможении на стопу принесенных кирпичей, голова у ней кружилась, ноги подкашивались, но она не чувствовала ни холодного ветра, глухо гудевшего в пустых стенах, ни своих мокрых ног, ни надсаженных плеч. Вон из осенней мглы выступают знакомые очертания окрестностей Белоглинского завода, вон Старая Кедровская улица, вон новенькая православная церковь, вон пруд и заводская фабрика… Выглянувший из-за туч месяц ярко осветил всю картину спавшего завода – ряды почерневших от недавнего дождя крыш, дымившиеся на фабрике трубы, домик о. Крискента, хоромины Шабалиных. Все это были немые свидетели долгой-долгой жизни, свидетели, которые не могли обличить словом, но по ним, как по отдельным ступенькам лестницы, неугомонная мысль переходила через длинный ряд пережитых годов. Все это было, и Татьяна Власьевна переживает свою жизнь во второй раз, переживает вот здесь, на верху постройки, откуда до неба, кажется, всего один шаг. Но именно этот шаг и пугает ее; она хватается за голову и со слезами на глазах начинает читать вырвавшийся из больной души согрешившего царя крик: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей!»

Но нужно носить кирпичи; до утра осталось часа три; Татьяна Власьевна спускается вниз и поднимается с тяжелой ношей почти машинально, как заведенная машина. Именно такой труд, доводящий старое тело почти до полного бесчувствия, – именно такой труд дает ее душе тот покой, какого она страстно домогается и не находит в обыкновенных христианских подвигах, как пост, молитва и бесконечные поклоны. Да, по мере того как тело становится лишней тягостью, на душе все светлее и светлее… Татьяна Власьевна видит себя пятнадцатилетней девушкой – она такая высокая, рослая, с румянцем во всю щеку. Все на нее заглядываются, даже старики. Ей никто не нравится, хотя она не прочь поглазеть на молодых парней. Ох-хо-хо!.. Никем-то никого не осталось из бывших молодцев, точно они уплыли один за другим. Да, никого не осталось в живых, только она одна, чтобы замаливать свои и чужие

грехи. На шестнадцатом году Таню выдали замуж за вдовца-купца по фамилии Брагин; до венца они не видали друг друга. Ей крепко не понравился старый муж, но стерпела и помирилась с своей судьбой, благо вышла в достаточную семью на свое хозяйство, не знала свекровушкиной науки, а потом пошли детки-ангелочки… Все девичье глупое горе износилось само собой, и подумала Татьяна Власьевна, что так она и век свой изживет со старым нелюбимым мужем. Конечно, завидно иногда было, глядя на чужих молодых мужей, но уж кому какое счастье на роду написано. Венец – суд Божий, не нам его пересуживать. Так думала Татьяна Власьевна, да не так вышло. Уж прожила она замужем лет десять, своих детей растила, а тут и подвернись случай… И какой случай!.. Господи, прости меня, окаянную… Да, были и раньше случаи, засматривались на красавицу-молодку добрые молодцы, женатые и холостые, красивые были, только никому ничего не досталось: вздохнет Татьяна Власьевна, опустит глаза в землю – и только всего. Один особенно тосковал по ней и даже чуть рук на себя не наложил… Прости и его согрешения, Господи… А горе пришло нежданно-негаданно, как вор, когда Татьяна Власьевна совсем о том и не думала. Приехал в Белоглинский завод управитель Пятов, отец Нила Поликарпыча. Ну, познакомился со всеми, стал бывать. И из себя-то человек – глядеть не на кого: тощий, больной, все кашлял, да еще женатый, и детишек полный дом. Познакомился этот Пятов с мужем Татьяны Власьевны так, что и водой не разольешь: полюбились они друг другу. На именинах, по праздникам друг к дружке в гости всегда ездили. Жена у Пятова была тоже славная такая, хоть и постарше много Татьяны Власьевны. Вот однажды приехал Пятов на Масленице в гости к Брагиным, хозяина не случилось дома, и к гостю вышла сама Татьяна Власьевна. Посидели, поговорили. А Пятов нет-нет да и взглянет на нее, таково ласково да приветливо взглянет; веселый он был человек часом, когда в компании…

– Что это ты на меня так глядишь, Поликарп Семеныч? – спросила Татьяна Власьевна. – Точно сказать что-то хочешь…

– Хочу сказать, Татьяна Власьевна, давно хочу… – ответил Пятов и как будто из себя немного замешался.

– Ну так говори…

– А вот что я скажу тебе, Татьяна Власьевна: погубила ты меня, иссушила!.. Господь тебе судья!..

Тихо таково вымолвил последнее слово, а сам все на хозяйку смотрит и смеется. У Татьяны Власьевны от этих слов мороз по коже пошел, она хотела убежать, крикнуть, но он все смотрел на нее и улыбался, а у самого так слезы и сыплются по лицу.

– Гоните меня, Татьяна Власьевна… – тихо заговорил Пятов, не вытирая слез. – Гоните…

От этих слов у Татьяны Власьевны точно что оборвалось в груди: и жаль ей стало Поликарпа Семеныча, и как-то страшно, точно она боялась самой себя. А Пятов все смотрит на нее… Красивая она была тогда да молодая, – кровь с молоком бабенка! А в своем синем сарафане и в кисейной рубашке с узкими рукавами она была просто красавица писаная. Помутилось в глазах Пятова от этой красавицы, от ясных ласковых очей, от соболиных бровей, от белой лебяжьей груди, – бросился он к Татьяне Власьевне и обнял ее, а сам плачет, плачет и целует руки, шею, лицо, плечи целует. Онемела Татьяна Власьевна, жаром и холодом ее обдало, и сама она тихо-тихо поцеловала Поликарпа Семеныча, всего один раз поцеловала, а сама стоит пред ним, как виноватая.

– Насмеялся ты надо мной, Поликарп Семеныч, – заговорила она, когда немного пришла в

себя. – Опозорил мою головушку… Как я теперь на мужа буду глядеть?

– Голубушка, Татьяна Власьевна… Мой грех – мой ответ. Я отвечу за тебя и перед мужем, и перед людьми, и перед Богом, только не дай погибнуть христианской душе… Прогонишь меня – один мне конец. Пересушила ты меня, злая моя разлучница… Прости меня, Татьяна Власьевна, да прикажи мне уйти, а своей воли у меня нет. Что скажешь мне, то и буду делать.

– Уходи, Поликарп Семеныч… Бог тебе судья!..

Побелел он от этих слов, затрясся.

– Прощай, чужая жена – моя погибелюшка, – проговорил он, поклонился низко-низко и пошел к дверям.

Опять сделалось страшно Татьяне Власьевне, страшнее давешнего, а он идет к дверям и не оглядывается… Подкосились резвые ноги у красавицы-погибелюшки, и язык сам сказал:

– Поликарп Семеныч!.. воротись!

Ох, вышел грех, большой грех… – пожалела Татьяна Власьевна грешного человека, Поликарпа Семеныча, и погубила свою голову, навсегда погубила. Сделалось с нею страшное, небывалое… Сама она теперь не могла жить без Поликарпа Семеныча, без его грешной ласки, точно кто ее привязал к нему. Позабыла и мужа, и деток, и свою спобедную головушку для одного ласкового слова, для приворотного злого взгляда.

Так они и зажили, а на мужа точно слепота какая нашла: души не чает в Поликарпе Семеныче; а Поликарп Семеныч, когда Татьяна Власьевна растужится да расплачется, все одно приговаривает: «Милушка моя, не согрешишь – не спасешься, а было бы после в чем каяться!» Никогда не любившая своего старого мужа, за которого вышла по родительскому приказанию, Татьяна Власьевна теперь отдалась новому чувству со всем жаром проснувшейся первой любви. В качестве запретного плода эта любовь удесятерила прелесть тайных наслаждений, и каждый украденный у судьбы и людей час счастья являлся настоящим раем. Плодом этой преступной связи и был Зотушка, нисколько не походивший на своего старшего брата Гордея и на сестру Алену.

Муж Татьяны Власьевны промышлял на Белоглинском заводе торговлей «панским», то есть ситцами, сукном и т. д. Дело он вел хорошо, и трудовое богатство наливалось в дом как вода. А тут старший сын начал подрастать и отцу в помощь пошел: все же кошку в лавку не посадишь или не пошлешь куда-нибудь. Из Гордея вырабатывался не по летам серьезный мальчик, который в тринадцать лет мог править дело за большого. Все шло как по маслу. Брагины начали подниматься в гору и прослыли за больших тысячников, но в один год все это благополучие чуть не пошло прахом: сам Брагин простудился и умер, оставив Татьяну Власьевну с тремя детьми на руках. Этот неожиданный удар совсем ошеломил молодую вдову как Божеское наказание за ее грехи. Постылый старый муж, который умер с спокойной совестью за свое семейное счастье, теперь встал пред ней немым неотступным укором. После девятин Татьяна Власьевна пригласила к себе в дом Поликарпа Семеныча и сказала ему, опустив глаза:

– Ну, Поликарп Семеныч, теперь уже прощай… Будет нам грешить. Если не умела по своему малодушию при муже жить, так надо теперь доучиваться одной.

– Как же это, Таня…

– Я тебе не Таня больше, а Татьяна Власьевна. Так и знай. Мое слово будет свято, а ты как знаешь… Надо грех замаливать, Поликарп Семеныч. Прощай, голубчик… не поминай лихом…

Голос у Татьяны Власьевны дрогнул, в глазах все смешалось, но она пересилила себя и не поддалась на «прелестные речи» Поликарпа Семеновича, который рвал на себе волосы и божился на чем свет стоит, что сейчас же наложит на себя руки.

– А я буду молиться за тебя Богу, – уже спокойно ответила Татьяна Власьевна, точно она замерла на одной мысли.

Этим все и кончилось.

Татьяна Власьевна как ножом обрезала свою старую жизнь и зажила по-новому, «честной матерной вдовой», крепко соблюдая взятую на себя задачу. В это время ей всего было еще тридцать лет, и она, как одна из первых красавиц, могла выйти замуж во второй раз; но мысли Татьяны Власьевны тяготели к другому идеалу – ей хотелось искупить грех юности настоящим подвигом, а прежде всего поднять детей на ноги. Время бежало быстро, дети выросли. Старший, Гордей, был вылитый отец – строгий, обстоятельный, деляга; второй, Зотей, являлся полной противоположностью, и как Татьяна Власьевна ни строжила его, ни началила – из Зотея ничего не вышло, а под конец он начал крепко «зашибать водкой», так что пришлось на него совсем махнуть рукой. Татьяна Власьевна должна была примириться с этим как с Божеским наказанием за свой грех и утешилась старшим сыном, которого скоро женила. Внучата на время заставили Татьяну Власьевну отложить мысль о подвиге, тем более что жена Гордея умерла рано и ей пришлось самой воспитывать внучат.

Вот те мысли, которые мучительно повертывались клубком в голове Татьяны Власьевны, когда она семидесятилетней старухой таскала кирпичи на строившуюся церковь. Этот подвиг был только приготовлением к более трудному делу, о котором Татьяна Власьевна думала в течение последних сорока лет, это – путешествие в Иерусалим и по другим святым местам. Теперь задерживала одна Нюша, которая, того гляди, выскочит замуж, – благо и женишок есть на примете.

«Вот бы только Нюшу пристроить, – думала Татьяна Власьевна, поднимаясь в десятый раз к кирпичам. – Алексей у Пазухиных парень хороший, смиренный, да и природа пазухинская по здешним местам не последняя. Отец-то, Сила Андроныч, вон какой парень, под стать как раз нашему-то Гордею Евстратычу».

Старуха проработала до четырех часов, когда на фабрике отдали первый свисток на работу. Она набожно помолилась в последний раз и поплелась домой, разбитая телом, но бодрая и точно просветленная духом. Кругом было все темно, но в избах уже мелькали яркие огоньки: это топились печки у заботливых хозяев. Вон у о. Крискента тоже искры сыплются из трубы, – значит, стряпка Аксинья рано управляется. У Пазухиных темно: у них подолгу спят. Подходя к своему дому, Татьяна Власьевна заметила в окне горницы Гордея Евстратыча огонь.

«Уж не болен ли? – подумала старуха и торопливо зашагала через улицу. – Куда ему эку рань подниматься?.. Может, надо малиной или мятой его напоить».

Гордей Евстратыч действительно не спал, но только не по нездоровью, а от одолевших его мыслей, которые колесом вертелись кругом привезенной Михалком жилки. Сначала он пытался заснуть и лежал с закрытыми глазами часа два, но все было напрасно – сон бежал от Гордея Евстратыча, оставляя в душе мучительно сосавшую пустоту. Зачем старатель Маркушка желает видеть его и зачем он послал с Михалком эту проклятую жилку? А жилка

богатейшая… Может быть, Маркушка нашел эту жилку и хочет продать ему… Все может быть, только не нужно упускать случая. Мало ли бывало таких случаев. Эти старатели все знают, а Маркушка совсем прожженный.

Занятый этими мыслями, он не обратил внимания даже на то, как осторожно отворилась калитка и затем заскрипела дверь в сенях.

– Ты что это, Гордей? – спрашивала Татьяна Власьевна, появляясь в дверях его комнаты. – Уж не попритчилась ли какая немочь?

– Нет, мамынька… Так, не поспалось что-то, клопы, надо полагать. Скажи-ка стряпке насчет самоварчика, а потом мне надо будет ехать в Полдневскую.

– Да ведь Михалко вчера в Полдневскую гонял?

– Гонял, да без толку… Самому надо съездить.

III

Напившись чаю, Гордей Евстратыч сам сходил во двор посмотреть, отдохнула ли лошадь после вчерашней езды, и велел Зотушке седлать ее.

– Я сам поеду, – прибавил Гордей Евстратыч, похлопывая гнедка по шее.

Последнее настолько удивило Зотушку, что он даже раскрыл рот от удивления. Гордей Евстратыч так редко выезжал из дома – раз или два в год, что составляло целое событие, а тут вдруг точно с печи упал: «Седлай, сам поеду…» Верхом Гордей Евстратыч не ездил лет десять, а тут вдруг в этакую распутицу, да еще на изморенной лошади, которая еще со вчерашнего не успела отдышаться. Действительно, Гордей Евстратыч был замечательный домосед, и ехать куда-нибудь для него было истинным наказанием, притом он ездил только зимой по удобному санному пути – в Ирбит на ярмарку и в Верхотурье, в гости к сестре Алене. Сборов на такую поездку хватало на целую неделю, а тут на-кася, свернулся в час места… Все эти мысли промелькнули в маленькой головке Зотушки во мгновение ока, и он перебирал их все время, пока седлал гнедка. Куда мог ехать Гордей Евстратыч в такую непогодь?

– Значит, какое-нибудь дело завелось, – решил наконец Зотушка с глубокомысленным видом, когда лошадь была готова.

Татьяна Власьевна была удивлена этой поездкой не менее Зотушки и ждала, что Гордей Евстратыч сам ей скажет, зачем едет в Полдневскую, но он ничего не говорил.

– Зачем в Полдневскую-то наклался? – спросила старуха, когда Гордей Евстратыч начал прощаться.

– Дельце есть маленькое… После, мамынька, все обскажу. Благослови в добрый час съездить.

– Ну, Бог тебя благословит, милушка. А послал бы ты лучше Архипа, чем самому трястись по этакой грязище.

– Нельзя, мамынька. Стороной можно проехать… Михалко сегодня в лавке будет сидеть, а Архипа пошли к Пятовым, должок там за ними был. Надо бы книгу еще подсчитать…

– Подождите с книгой-то, Гордей Евстратыч. У нас теперь своя работа стоит. Нюше к зиме

шубку ношобную справляем…

– Обождем, ничего. Да пошли еще, мамынька, Зотушку к Шабалиным.

– Ох, нельзя, милушка! Ведь только он едва успел выправиться, а как попадет к Шабалиным – непременно Вукол Логиныч его водкой поить станет. Уж это сколько разов бывало, и не пересчитаешь!.. Лучше я Архипа спосылаю… По пути и забежит, от Пятовых-то.

– Как знаешь.

Гордей Евстратыч сел в мягкое пастушье седло и, перекрестившись, выехал за ворота. Утро было светлое; в воздухе чувствовалась осенняя крепкая свежесть, которая заставляет барина застегиваться на все пуговицы, а мужика – туже подпоясываться. Гордей Евстратыч поверх толстого драпового пальто надел татарский азям, перехваченный гарусной опояской, и теперь сидел в седле молодцом. Выглянувшая в окно Нюша невольно полюбовалась, как тятенька ехал по улице.

Нужно было ехать по Старой Кедровской улице, но Гордей Евстратыч повернул лошадь за угол и поехал по Стекольной. Он не хотел, чтобы Пазухины видели его. Точно так же объехал он рынок, чтобы не встретиться с кем-нибудь из своих торговцев. Только на плотине он попал как кур в ощип: прямо к нему навстречу катился в лакированных дрожках сам Вукол Логиныч.

«Ох, нелегкая бы тебя взяла!» – подумал про себя Гордей Евстратыч, приподнимая свою суконную фуражку с захватанным козырьком.

Серая в яблоках громадная лошадь, с невероятно выгнутой шеей и с хвостом трубкой, торжественно подкатила Шабалина, который сидел на дрожках настоящим чертом: в мохнатом дипломате, в какой-то шапочке, сдвинутой на затылок, и с семидесятирублевым зонтиком в руках. Скуластое, красное лицо Вукола Логиныча, с узкими хитрыми глазами и с мясистым носом, все лоснилось от жира, а когда он улыбнулся, из-за толстых губ показались два ряда гнилых зубов.

– Куда Бог несет, Гордей Евстратыч? – издали кричал Шабалин, высоко поднимая свою круглую шапочку. – Я не знал, что ты таким молодцом умеешь верхом ездить… Уж не на охоту ли собрался?

– Какая у нас охота, Вукол Логиныч… – ответил Брагин недовольным тоном: он обиделся глупым вопросом Шабалина, который всегда смелет что-нибудь самое несуразное.

Эта встреча очень не понравилась Гордею Евстратычу, и он, поднимаясь с плотины в гору, на которой красовалась пятиглавая православная церковь, даже подумал, уж не воротиться ли назад. Оглянувшись, Брагин с сожалением посмотрел «за реку», то есть по ту сторону пруда, где тянулась Старая Кедровская улица. С горки отлично можно было рассмотреть старый брагинский дом, который стоял на углу; из одной трубы винтом поднимался синий дым, значит старуха затеяла какую-нибудь стряпню. «На охоту поехал… – припомнил Брагин со злостью слова Шабалина. – Тьфу ты, греховодник… Нашел охотника!..» С другой стороны, Брагину показалось, что действительно у него сегодня такой глупый вид, точно он «ангела потерял», как говорила Татьяна Власьевна про ротозеев. Приосанившись в седле и подтянув поводья, Брагин пустил своего гнедка ходой, чтобы скорее выехать за «жило». Ему пришлось проехать мимо шабалинского дома, и он невольно полюбовался на него. Дом стоял на горе, над прудом, и ярко белел своими пятью колоннами. Эти колонны особенно нравились Брагину, потому что придавали дому настоящий городской вид, как рисуют на картинках. Зеркальные стекла в окнах, золоченая решетка у балкона между колоннами, мраморные вазы на воротах,

усыпанный мелким песочком двор – все было хорошо, форменно, как говорил Зотушка про шабалинский дом.

«А все золото поднимает… – подумал невольно Брагин, щупая лежавшую за пазухой жилку. – Вуколу-то Логинычу красная цена расколотый грош, да и того напросишься, а вон какую хоромину наладил! Кабы этакое богачество да к настоящим рукам… Сказывают, в одно нонешнее лето заробил он на золоте-то тысяч семьдесят… Вот лошадь-то какая – зверь зверем».

Белоглинский завод, совсем затерявшийся в глуши Уральских гор, принадлежал к самым старинным уральским поселениям, что можно было даже заметить по его наружному виду, то есть по почерневшим старинным домам с высокими коньками и особенно по старой заводской фабрике, поставленной еще в 1736 году. Место под завод было выбрано самое глухое, настоящий медвежий угол: горы, болота, леса; до официального основания заводского действия здесь, с разным лесным зверьем, хоронились одни раскольники, уходившие в уральскую глушь от петровских новшеств. Между прочим, свили они себе гнездо и на берегу глухой горной речонки Белой Глинки, пока их не отыскали подьячие и заводские приказчики. Река была перехвачена плотиной, разлился пруд, и задымилась фабрика. Около пруда рассажались заводские домики, вытянувшись «по планту» в широкие правильные улицы. Теперь Белоглинский завод представлял собой такую картину: во-первых, «заречная» низкая сторона, где, собственно, находилось первоначальное раскольничье поселенье и где теперь проходила Старая Кедровская улица; дома здесь старинные, и люди в них старинные – отчасти раскольники, отчасти единоверцы; во-вторых, «нагорная» сторона, где красовалась православная церковь и хоромины Шабалина. В нагорной жили большею частью православные, позднейшее этнографическое население. Это деление на «нагорную» и «заречную» стороны продолжалось и ниже заводской фабрики, где Белая Глинка разливалась в низких глинистых берегах. В этой части завода стоял деревянный господский дом с железной крышей, в котором жили Пятовы, и несколько домиков «на городскую руку», выстроенных заводскими служащими. В заречной находилась единственная заводская площадь, в одном конце которой сбились в кучу деревянные лавки, а в другом строилась единоверческая церковь. Старинные семьи, вроде Колобовых, Савиных, Пазухиных и др., все жили в заречной, в крепких старинных домах, в которых на вышках еще сохранились рамы со слюдой вместо стекол. Шабалины жили тоже там, пока Вукол Логиныч не облюбовал себе местечко на нагорной стороне. Это ренегатство очень огорчило всех блюстителей старины вроде Татьяны Власьевны, но Вукол Логиныч был отпетая башка – и взять с него было нечего.

В солнечный день вид на завод представлял собой довольно пеструю картину и, пожалуй, красивую, если бы не теснившийся со всех сторон лес и подымавшиеся кругом лесистые горы, придававшие всей картине неприветливый траурный характер. Впрочем, так казалось только посторонним людям, а белоглинцы, конечно, не могли даже себе представить чего-нибудь лучше и красивее Белоглинского завода. К таким людям принадлежал и Гордей Брагин, бывавший не только в Ирбите и в Верхотурье, но и в Нижнем.

Дорога в Полдневскую походила на те прямоезжие дороги, о которых поется в былинах: горы, болота, гати и зыбуны точно были нарочно нагромождены, чтобы отбить у всякого охоту проехаться по этой дороге во второй раз, особенно осенью, когда лошадь заступает в грязь по колено, вымогаясь из последних сил. Верхом на лошади эти двадцать верст едва можно было проехать в четыре часа. С непривычки к верховой езде Гордей Евстратыч на половине пути почувствовал, как у него отнимается поясница и ноги в стременах начинают деревенеть. А впереди косогор за косогором, гора за горой… Лес стоит кругом темный, настоящий дремучий ельник, которому, кажется, не было конца-краю. Около самой дороги, где лес был немного прочищен, лепились кусты жимолости и малины да молоденькие березки, точно

заблудившиеся в этой лесной трущобе; теперь листья уже давно пожелтели и шелестели мертвым шепотом, когда по ним пробегал осенний порывистый ветер. Земля была покрыта шуршавшей под ногой лиственной шелухой, и только кое-где из-под нее пробивались зеленые кустики сохранившейся еще травы, да на опушке леса ярко блестела горькая осина, точно обрызганная золотом и кровью.

Верст не полагалось, и версты отсчитывались по разным приметам: от Белоглинского до Пугиной горы – восемь верст, две версты подался – ключик из косогора бежит, значит – половина дороги, а там через пять верст гарь на левой руке. Брагин почти все время ехал шагом, раздумывая бесконечную дорожную думу, которая блуждала по своим горам и косогорам, тонула в грязи и пробиралась по узким тропинкам. То он видел пред собой Шабалина в его круглой шапочке и начинал ему завидовать; то припоминал разные случаи быстрого обогащения «через это самое золото», как говорил Зотушка; то принимался «сумлеваться», зачем он тащится такую даль; то строил те воздушные замки, без которых не обходятся даже самые прозаические натуры. Что он такое теперь, ежели разобрать? Купец, который торгует панским товаром, – и только. Сыт, одет, ну, копеечки про черный день отложены, а чтобы супротив других из купечества, как в Ирбите, например, собираются, ему, Брагину, далеко не вплоть. А между тем чем он хуже других? Недалеко ходить, хоть взять того же Вукола Логиныча… А с чего человек жить пошел? От пустяков. От такой же жилки, какую он сейчас везет у себя за пазухой. Да… В воображении Брагина уже рисовалась глубокая шахта, из которой бадьями поднимают золотоносный кварц, толкут его и промывают. В результате получилось чистое золото, которое превращается в громадный дом с колоннами, в серых, с яблоками, лошадей, в лакированные дрожки, в дорогое платье и сладкое привольное житье. Первым делом он, конечно, пожертвует в церковь, тайно пожертвует… То-то удивится о. Крискент, когда из кружки добудет несколько радужных. Потом старухе на бедных да на увечных, потом… Все будут ухаживать за Гордеем Евстратычем, как теперь ухаживают за Шабалиным или за другими богатыми золотопромышленниками.

«Прежде гремели на Панютинских заводах золотопромышленники Сиговы да Кутневы», – раздумывал Гордей Евстратыч, припоминая историю уральских богачей.

Сиговым принес жилку один вогул, а Кутневы сами нашли золото, хотя и не совсем чисто. Сказывали, что Кутневы оттягали золотую россыпь у какого-то бедного старателя, который не поживился ничем от своей находки, кроме того разве, что высидел в остроге полгода за свои жалобы на разбогатевших Кутневых. Да, много неправды с этим золотом… Вон про Шабалина рассказывают какие штуки: народ морит работой на своих приисках, не рассчитывает, а попробуй судиться с ним, кому угодно рот заткнет. Мировой судья Липачек ему первый друг и приятель, становой Плинтусов даже спит с ним на одной постели… От этого богатства просто один грех, точно люди всякого «ума решаются». Но ведь это другие, а уж он, Гордей Евстратыч, никогда бы так не сделал. Да… Вон Нюша на возрасте – ее надо пристраивать за хорошего человека, вон сыновей надо отделять, пока не разорились. Теперь, конечно, все есть, всего в меру, а если разделиться – и пойдут кругом недостатки.

Приободрившаяся лошадь дала знать, что скоро и Полдневская. В течение четырехчасового пути Брагин не встретил ни одной живой души и теперь рад был добраться до места, где бы можно было хоть чаю напиться. Поднявшись на последний косогор, он с удовольствием взглянул на Полдневскую, совсем почти спрятавшуюся на самом дне глубокой горной котловины. Издали едва можно было рассмотреть несколько крыш да две-три избушки, торчавшие особняком, точно они отползли от деревни.

«Настоящее воронье гнездо эта Полдневская», – невольно подумал Брагин, привставая в стременах.

Полдневская пользовалась действительно не особенно завидной репутацией как притон приисковых рабочих. Не проходило года, чтобы в Полдневской не случилось какой-нибудь оказии: то мертвое тело объявится, то крупное воровство, то сбыт краденого золота, то беглые начнут пошаливать. Становой Плинтусов говорил прямо, что Полдневская для него как сухая мозоль – шагу не дает ступить спокойно. Чем существовали обитатели этой деревушки – трудно сказать, и единственным мотивом, могшим несколько оправдать их существование, служили разбросанные около Полдневской прииски, но дело в том, что полдневские не любили работать, предпочитая всему на свете свою свободу. А между тем полдневские мужики не только существовали, но исправно каждое воскресенье являлись в Белоглинский завод, где менялись лошадьми, пьянствовали по кабакам и даже кое-что покупали на рынке, конечно большею частью в долг. К таким птицам небесным принадлежал и старатель Маркушка, давнишний должник Брагина.

Спустившись по глинистому косогору, Гордей Евстратыч вброд переехал мутную речонку Полуденку и, проехав с полверсты мелким осинником, очутился в центре Полдневской, которая состояла всего-навсего из какого-нибудь десятка покосившихся и гнилых изб, поставленных на небольшой поляне в самом живописном беспорядке. Навстречу Брагину выбежало несколько пестрых собак с стоячими ушами, которые набросились на него с таким оглушительным лаем, точно стерегли какие несметные сокровища. В одном окошке мелькнуло женское испитое лицо и быстро скрылось.

– В которой избе живет Маркушка-старатель? – спросил Гордей Евстратыч, постукивая черенком нагайки в окно ближайшей избы.

В окне показалась бородатая голова в шапке; два тусклых глаза безучастно взглянули на Брагина и остановились. Не выпуская изо рта дымившейся трубки с медной цепочкой, голова безмолвно показала глазами направо, где стояла совсем вросшая в землю избенка, точно старый гриб, на который наступили ногой.

– Ну народец!.. – проворчал Гордей Евстратыч, слезая с лошади у Маркушкиной избы.

Архитектурной особенностью полдневских изб было то, что они совсем обходились без ворот, дворов и надворных построек. Ход в избу шел прямо с улицы. Только в виде роскоши кое-где лепились сколоченные на живую нитку крылечки. Где держали полдневцы лошадей – составляло загадку, как и то, чем они кормили этих лошадей и чем они топили свои избы. Гордей Евстратыч окинул строгим хозяйским взглядом всю деревню и нигде не нашел ничего похожего на конюшни или поленницу дров. У некоторых изб валялось по бревну, от которых бабы по утрам отгрызали на подтопку дров, – вот и все. «Ну народец! – еще раз подумал Брагин. – В лесу живут, и ни одного полена не отрубят мужики…»

– Господи Исусе Христе… – помолитвовался Гордей Евстратыч, отворяя низкую дверь, которая вела куда-то в яму.

– Аминь… – отдал из комнаты чей-то хриплый голос. – Это ты, Гордей Евстратыч?

– Я, Маркушко…

Послышалось тяжелое хрипенье, затем удушливый кашель. Гордей Евстратыч кое-как огляделся кругом: было темно, как в трубе, потому что изба у Маркушки была черная, то есть без трубы, с одной каменкой вместо печи. Вернее такую избу назвать балаганом, какие иногда ставятся охотниками в глухих лесных местах на всякий случай. На каменке тлело суковатое полено, наполнявшее избу удушливым едким дымом. Сам хозяин лежал у стены, на

деревянных подмостках, прикрытый сверху лоскутами овчин, когда-то составлявших тулуп или полушубок. На гостя из-под кучи этой рвани глядело восковое отекшее лицо с мутным остановившимся взглядом, в котором едва теплилась последняя искра сознания. Мочального цвета бороденка, рыжие щетинистые усы и прилипшие к широкому лбу русые волосы дополняли портрет старателя Маркушки.

– Ну что, плохо тебе? – спрашивал Брагин, напрасно отыскивая глазами что-нибудь, на что можно было бы сесть.

Куча тряпья зашевелилась, раздался тот же кашель.

– Надо… надо… больно мне тебя надо, Гордей Евстратыч, – отозвалась голова Маркушки. – Думал, не доживу… спасибо после скажешь Маркушке… Ох, смерть моя пришла, Гордей Евстратыч!

– Надо за попом послать?

– Где уж… нет… вот ужо я тебе все обскажу…

Гордей Евстратыч подкатил к дымившейся каменке какой-то чурбан и приготовился выслушать предсмертную исповедь старателя Маркушки, самого отчаянного из всех обывателей Полдневской.

– Видел жилку-то? – глухо спросил Маркушка, удерживая душивший его кашель.

– Видел…

– Ведь пятнадцать лет ее берег, Гордей Евстратыч… да… пуще глазу своего берег… Ну, да что об этом толковать!.. Вот что я тебе скажу… Человека я порешил… штегеря, давно это было… Вот он, штегерь-то, и стоит теперь над моей душой… да… думал отмолить, а тут смерть пришла… ну, я тебя и вспомнил… Видел жилку? Но богачество… озолочу тебя, только по гроб своей жизни отмаливай мой грех… и старуху свою заставь… в скиты посылай…

Опять приступ отчаянного кашля, точно Маркушка откашливал всю душу вместе с своими грехами.

– Так ты поклянешься мне, Гордей Евстратыч, и я тебе жилку укажу и научу, что с ней делать… Мне только и надо, чтобы мою душу отмолить.

– А ежели ты обманешь, Маркушка?

– Нет, Гордей Евстратыч… Ох, тошнехонько!.. нет, не обману… Не для тебя соблюдал местечко, а для себя… Ну, так поклянешься?

Брагин на минуту задумался. Его брало сомнение, притом он не ожидал именно такого оборота дела. С другой стороны, в этой клятве ничего худого нет.

– Ладно, поклянусь…

– Исусовой молитвой поклянись!

– Нет, Исусовой молитвой не буду, а так поклянусь… Мы за всех обязаны молиться, а если ты мне добро сделаешь – так о тебе особая и молитва.

– Думал я про Шабалина… – заговорил Маркушка после тяжелой паузы. – Он бы икону снял со стены… да я-то ему, кровопивцу, не поверю… тоже вот и другим… А тебя я давно знаю, Гордей Евстратыч… особливо твою мамыньку, Татьяну Власьевну… ее-то молитва доходнее к Богу… да. Так ты не хочешь Исусовой молитвой себя обязать?

– Нет, Маркушка, это грешно… Хоть у кого спроси.

Больной недоверчиво посмотрел на своего собеседника, потому что все его богословские познания ограничились одной Исусовой молитвой, запавшей в эту грешную душу, как падает зерно на каменную почву. После некоторых препирательств Маркушка согласился на простую клятву и жадными глазами смотрел на Гордея Евстратыча, который, подняв кверху два пальца, «обещевался» перед Богом отмаливать все грехи раба Божия Марка вплоть до своей кончины и далее, если у него останутся в живых дети. Восковое лицо покрылось пятнами пота от напряженного внимания, и он долго лежал с закрытыми глазами, прежде чем получил возможность говорить.

– Ну, слушай, Гордей Евстратыч… Робили мы, пятнадцать годов тому назад, у купцов Девяткиных… шахту били… много они денег просадили на нее… я ходил у них за штегеря… на восемнадцатом аршине напали на жилку… а я сказал, что дальше незачем рыть… От всех скрыл… ну, поверили, шахту и бросили… Из нее я тебе жилку с Михалком послал…

– Отчего же ты сам не разрабатывал эту шахту, ведь Девяткины давно вымерли?

– Нельзя было… по малости ковырял, а чтобы настоящим делом – сила не брала, Гордей Евстратыч. Нашему брату несподручное дело с такой жилкой возиться… надо капитал… с начальством надо ладить… А кто мне поверит? Продать не хотелось: я по малости все-таки выковыривал из-под нее, а что мне дали бы… пустяк… Шабалин обещал двадцать целковых.

– Да ведь и мне настоящую жилку не дадут разрабатывать? – заметил Брагин, слушавший эту исповедь с побледневшим лицом.

– Не надо объявлять настоящей жилки, Гордей Евстратыч… а как Шабалин делает… россыпью объяви… а в кварце, мол, золото попадается только гнездами… это можно… на это и закона нет… уж я это знаю… ну надо замазать рты левизорам да инженерам… под Шабалина подражай…

– Хорошо, там увидим… Ты расскажи, где жилку-то искать?

– А вот как ее искать… Ступай по нашей Полуденке кверху… верстах в пяти в нее падает речка Смородинка… по Смородинке подашься тоже кверху, а в самой верхотине стоит гора Заразная… от Смородинки возьми на Заразную… тут пойдет увал… два кедра увидишь… тут тебе и жилка…

Гордей Евстратыч был бледен как полотно; он смотрел на отекшее лицо Маркушки страшными, дикими глазами, выжидая, не вырвется ли еще какое-нибудь признание из этих посиневших и растрескавшихся губ. Но Маркушка умолк и лежал с закрытыми глазами как мертвый, только тряпье на подмостках продолжало с хрипом подниматься неровными взмахами, точно под ним судорожно билась ослабевшими крыльями смертельно раненная птица.

– Все? – спрашивал Брагин, наклоняясь к самому изголовью больного.

– Все… ах, еще вот что, Гордей Евстратыч… угости, ради Христа, водочкой наших-то… пусть

погуляют…

Через полчаса в яме Маркушки собралось почти все население Полдневской, состоявшее из трех мужиков, двух баб и нескольких ребятишек. Знакомый уже нам мужик в шапке, потом высокий рыжий детина с оловянными глазами, потом кривой на левый глаз и хромой на правую ногу низенький мужичонка; остальные представители мужского населения находились в отсутствии. Две женщины, одетые в полинялые ситцевые сарафаны, походили на те монеты, которые вследствие долгого употребления утратили всякие следы своего чекана. Испитые, желтые, с одичавшим взглядом физиономии были украшены одними синяками; у одной такой синяк сидел под глазом, у другой на виске. Очевидно, эти украшения были сделаны опытной рукой, не знавшей промаха. Вообще физиономии обеих женщин были покрыты массой белых царапин и шрамами самой причудливой формы, точно они были татуированы или расписаны какими-то не разгаданными еще наукой иероглифами.

– Славные ребята… – умилился Маркушка, любуясь собравшейся компанией. – Ты, Гордей Евстратыч, когда угости их водочкой… пусть не поминают лихом Маркушку… Так ведь, Окся?

Окся застенчиво посмотрела на свои громадные красные руки и хрипло проговорила:

– Тебе бы выпить самому-то, Маркушка… Может, облегчит…

Маркушка болезненно мотнул головой на эту ласку… Ведь эта шельма Окся всегда была настоящим яблоком раздора для полдневских старателей, и из-за нее происходили самые ожесточенные побоища: Маркушку тузил за Оксю и рыжий детина с оловянными глазами, и молчаливый мужик в шапке, и хромой мужичонка, точно так же как и он, Маркушка, тузил их всех при удобном случае, а все они колотили Оксю за ее изменчивое сердце и неискоренимую страсть к красным платкам и козловым ботинкам. Эта коварная женщина была замечательно непостоянное существо и как-то всегда была на стороне того, кому везло счастье. Теперь она от души жалела умиравшего Маркушку, потому что он уносил с собой в могилу не одни ботинки…

– Как же это вы живете здесь, – удивлялся Брагин, угощая собравшуюся компанию, – хлеба у вас нет, дров нет, а водка всегда есть…

– Нам невозможно без водки… – отрезал кривой мужичонко. – Так ведь, Кайло? Вот и Пестерь то же самое скажет…

Кайло – рыжий детина с оловянными глазами – и Пестерь – мужик в шапке – в знак своего согласия только поникли своими головами. Окся поощрительно улыбнулась оратору и толкнула локтем другую женщину, которая была известна на приисках под именем Лапухи, сокращенное от Олимпиады; они очень любили друг друга, за исключением тех случаев, когда козловые ботинки и кумачные платки настолько быстро охлаждали эту дружбу, что бедным женщинам ничего не оставалось, как только вцепиться друг в друга и зубами и ногтями и с визгом кататься по земле до тех пор, пока чья-нибудь благодетельная рука не отрезвляла их обеих хорошим подзатыльником или артистической встряской за волосы. Около Лапухи жалось странное существо: на вид это была девочка лет двенадцати, еще с несложившимися, детскими формами, с угловатой спиной и тонкими босыми ногами, но желтое усталое лицо с карими глазами смотрело не по-детски откровенно, как смотрят только отведавшие от древа познания добра и зла.

– На́, пей, Домашка… – говорила Лапуха, передавая Домашке недопитый стакан водки.

– Зачем ты ее поишь? – спросил Гордей Евстратыч.

– Да ведь Домашка-то мне, поди, дочь! – удивленно ответила в свою очередь чадолюбивая Лапуха.

– Домашка у нас молодец… – отозвался с своего ложа Маркушка. – Налей и ей стаканчик, Гордей Евстратыч… ей тоже без водки-то невозможно…

Пестерь и Кайло покосились на разнежившегося Маркушку, но промолчали, потому что водка была Гордея Евстратыча, а право собственности в этой жидкой форме для них было всегда священным. Домашка выпила налитый стаканчик и кокетливо вытерла свои детские губы худой голой рукой с грязным локтем, выглядывавшим в прореху заношенной ситцевой рубахи. Ро́спитая четверть водки скоро заметно оживила все общество, особенно баб, которые сидели с осоловелыми глазами и заметно были расположены затянуть какую-нибудь бесшабашную приисковую песню. Домашка хихикала без всякой видимой причины и тут же закрывала свое лицо порванным рукавом рубахи. Кайло и кривой мужичонко, которого звали Потапычем, тоже повеселели и все упрашивали благодетеля Маркушку в качестве всеисцеляющего средства выпить хоть стаканчик; но груда тряпья, изображавшая теперь знаменитого питуха, только отрицательно вздрагивала всеми своими лоскутьями. Один Пестерь делался все мрачнее и мрачнее, а когда бабы не вытерпели и заголосили какую-то безобразную пьяную песню, он, не выпуская изо рта своей трубки с медной цепочкой, процедил только одно слово: «У… язвы!..» Кто бы мог подумать, что этот свирепый субъект являлся самым живым источником козловых ботинок и кумачных платков, в чем убедилась личным опытом даже Домашка, всего третьего дня получившая от Пестеря зеленые стеклянные бусы.

– Так уж ты тово… не забывай их… – хрипел Маркушка, показывая глазами на пьяных старателей, когда Брагин начал прощаться.

О себе Маркушка не заботился: ему больше ничего было не нужно, кроме «доходной к Богу» молитвы Татьяны Власьевны.

IV

Вернувшись домой, Гордей Евстратыч, после обычного в таких случаях чаепития, позвал Татьяну Власьевну за собой в горницу. Старуха по лицу сына заметила, что случилось что-то важное, но что именно – она никак не могла разгадать.

– Ты спрашивала меня, мамынька, зачем я поехал в Полдневскую, – заговорил Гордей Евстратыч, припирая за собой дверь. – Вот, погляди, какую игрушку добыл…

С последними словами он подал матери кусок кварца, который привез еще Михалко. Старуха нерешительно взяла в руку «игрушку» и, отнеся далеко от глаз, долго и внимательно рассматривала к свету.

– Никак золото… – недовольным голосом заметила она, осторожно передавая кусок кварца обратно.

– Да, мамынька… настоящее червонное золото, – уже шепотом проговорил Гордей Евстратыч, оглядываясь кругом. – Бог его нам послал… видно, за родительские молитвы.

– Что-то невдомек мне будет, милушка.

Гордей Евстратыч рассказал всю историю лежавшего на столе кварца: как его привез Михалко, как он не давал спать целую ночь Гордею Евстратычу, и Гордей Евстратыч гонял в

Полдневскую и что там видел.

– Вот поклялся-то напрасно, милушка… – строго проговорила старуха, подбирая губы. – Этакое дело начинать бы да не с клятья, а с молитвы.

– Ах, мамычка, мамычка! Ну, ежели бы я не поклялся Маркушке, – тогда что бы вышло? Умер бы он с своей жилкой или рассказал о ней кому-нибудь другому… Вон Вукол-то Логиныч уже прослышал о ней и подсылал к Маркушке, да только Маркушка не захотел ему продавать.

– Ишь ведь какой дошлый, этот Вуколко! – со злостью заговорила Татьяна Власьевна, припоминая семидесятирублевый зонтик Шабалина. – Уж успел пронюхать… Да ты верно знаешь, милушка, что Маркушка ничего не говорил Вуколу?

– Вернее смерти, потому – Маркушка сам мне говорил…

– А вот ты сам-то небось не догадался заставить Маркушку тоже клятву на себя наложить? Как он вдруг да кому-нибудь другому перепродаст жилку… тому же Вуколу.

– Нет, мамынька… Маркушка-то в лежку лежит, того гляди, Богу душу отдаст. Надо только скорее заявку сделать на эту самую жилку, и кончено…

– Как же это так вдруг, милушка… – опять нерешительно заговорила Татьяна Власьевна. – Как будто даже страшно: всё торговали, как другие, а тут золото искать… Сколько на этом золоте народишку разорилось, хоть тех же Кутневых взять.

– А у Вукола вон какой домина схлопан – небось, не от бедности! Я ехал мимо-то, так загляденье, а не дом. Чем мы хуже других, мамынька, ежели нам Господь за родительские молитвы счастье посылает… Тоже и насчет Маркушки мы все справим по-настоящему, неугасимую в скиты закажем, сорокоусты по единоверческим церквам, милостыню нищей братии, ну, и ты кануны будешь говорить. Грешный человек, а душа-то в нем христианская. Вот и будем замаливать его грехи…

– Уж это что говорить, милушка… Вукол-то не стал бы молиться за него. Только все-таки страшно… И молитва там, и милостыня, и сорокоуст – все бы ничего, а как подумаю об золоте, точно что у меня оборвется. Вдруг-то страшно очень…

– Ну, тогда пусть Вуколу достается наша жилка, – с сдержанной обидой в голосе заговорил Гордей Евстратыч, начиная ходить по своей горнице неровными шагами. – Ему небось ничего не страшно… Все слопает. Вон лошадь у него какая: зверина, а не лошадь. Ну, ему и наша жилка к рукам подойдет.

– Да разве я говорю, что жилку Вуколу отдать? – тоже с раздражением в голосе заговорила старуха, выпрямляясь. – Надо подумать, посоветоваться.

– С кем же это, мамынька, советоваться-то будем? Сами не маленькие, слава Богу, не двух по третьему…

– С отцом Крискентом надо поговорить, потом с Савиными, с Колобовыми.

– Ну уж, мамынька, этого не будет, чтобы я с Савиными да с Колобовыми стал советоваться в таком деле. С отцом Крискентом можно побеседовать, только он по этой части не ходок…

Старшая невестка, Ариша, была колобовской «природы», а младшая, Дуня, – савиновской,

поэтому Татьяну Власьевну немного задело за живое то пренебрежение, с каким Гордей Евстратыч отнесся к своей богоданной родне, точно он боялся, что Колобовы и Савины отнимут у него проклятую жилку. Взаимное раздражение мешало сторонам понимать друг друга, и каждый думал только о том, что он прав. «Старик-то Колобов, Самойло-то Микеич, вон какой голова, – рассуждала про себя Татьяна Власьевна. – Недаром два раза в волостных старшинах сидел… Тоже и Кондрат Гаврилыч Савин уважительный человек, а про старуху Матрену Ильинишну и говорить нечего: с преосвященным владыкой в третьем годе как пошла отчитывать по Писанию, только на́, слушай. Чем не родня». Гордей Евстратыч ходил из угла в угол по горнице с недовольным, надутым лицом; ему не нравилось, что старуха отнеслась как будто с недоверием к его жилке, хотя, с другой стороны, ему было бы так же неприятно, если бы она сразу согласилась с ним, не обсудив дела со всех сторон. Одним словом, в результате получалось какое-то тяжелое недоразумение, благодаря которому Гордей Евстратыч ни за что ни про что обидел своих сватовьев, Савиных и Колобовых, и теперь сердился еще больше, потому что сам был виноват кругом. Татьяна Власьевна пришла в себя скорее сына и, взглянув на него пытливо, решительно проговорила:

– А я вот что тебе скажу, милушка… Жили мы, благодарение Господу, в достатке, все у нас есть, люди нас не обегают: чего еще нам нужно? Вот ты еще только успел привезти эту жилку в дом, как сейчас и начал вздорить… Разве это порядок? Мать я тебе или нет? Какие ты слова с матерью начал разговаривать? А все это от твоей жилки… Погляди-ко, ты остребенился на сватьев-то… Я своим умом так разумею, что твой Маркушка колдун, и больше ничего. Осиновым колом его надо отмаливать, а не сорокоустом…

– Мамынька, ради Христа, прости меня дурака… – взмолился опомнившийся Гордей Евстратыч, кланяясь старухе в ноги. – Это я так… дурость нашла.

– Надо повременить, Гордей Евстратыч.

– Как знаешь, мамынька. И Маркушка про тебя говорил, что на твою молитву надеется…

– Ну, это уж он напрасно: какие наши молитвы. Сами по колено бродим в своих-то грехах.

Обдумывая все случившееся наедине, Татьяна Власьевна то решала про себя бросить эту треклятую жилку, то опять жалела ее, представляя себе Шабалина с семидесятирублевым зонтиком в руках. В ее старой, крепкой душе боролись самые противоположные чувства и мысли, которые утомляли ее больше, чем ночная работа с кирпичами, потому что от них не было блаженного отдыха, не было того покоя, какой она испытывала после ночного подвига. Вечером Татьяна Власьевна напрасно молилась в своей комнате с особенным усердием, чтобы отогнать от себя тревожное настроение. Она чувствовала только, что с ней самой творится что-то странное, точно она сама не своя сделалась и теряла всякую волю над собой. Такое состояние продолжалось дня два, так что, удрученная нежданно свалившейся на ее плечи заботой, Татьяна Власьевна чуть не заболела, пока не догадалась сходить к о. Крискенту, к своему главному советнику во всех особенно трудных случаях жизни. В качестве духовника о. Крискент пользовался неограниченною доверенностью Татьяны Власьевны, у которой от него не было тайн.

Славный домик был у о. Крискента. Он выходил в Гнилой переулок, как мы уже знаем из предыдущего, и от брагинского дома до него было рукой подать. Наружный вид поповского дома невольно манил к себе своей патриархальной простотой; его небольшие окна глядели на Гнилой переулок с таким добродушным видом, точно приглашали всякого непременно зайти к милому старичку о. Крискенту, у которого всегда были в запасе такие отличные наливки. Калитка вела на маленький двор с деревянным полом и уютно поставленными службами;

выкрашенное зеленой краской крыльцо вело в сени, где всегда были настланы чистые половики. В маленькой передней уже обдавало тем специально благочестивым запахом, какой священники уносят с собой из церкви в складках платья; пахло смешанным запахом ладана и воска, и, может быть, к этому примешивался аромат княженичной наливки, которою о. Крискент гордился в особенности.

– А… дорогая гостья! Сколько лет, сколько зим не видались, – приветствовал радостно о. Крискент, встречая гостью в уютной чистенькой гостиной, походившей на приемную какой-нибудь настоятельницы монастыря.

Стены были выкрашены зеленым купоросом; с потолка спускалась бронзовая люстра с гранеными стеклышками. На полу лежали мягкие тропинки. Венские стулья, два ломберных стола, несколько благочестивых гравюр на стенах и китайский розан в зеленой кадушке дополняли картину. Сам о. Крискент – низенький, юркий старичок, с жиденькими косицами и тоненьким разбитым тенорком, – принадлежал к симпатичнейшим представителям того типа батюшек, который специально выработался на уральских горных заводах, где священники обеспечены известным жалованьем, а потом вращаются в более развитой среде, чем простые деревенские попы. Ходил о. Крискент маленькими торопливыми шажками, неожиданно повертывался на каблуках и имел странную привычку постоянно расстегивать и застегивать пуговицы своего подрясника, отчего петли обнашивались вдвое скорее, чем бы это следовало. Маленькая головка о. Крискента, украшенная редкими волосиками с проседью и таковой же бородкой, глядела кругом проницательными темными глазками, которые постоянно улыбались, – особенно когда из гортани о. Крискента вырывался короткий неопределенный смешок. Сам по себе батюшка был ни толст, ни тонок, а так себе – середка на половине. Жил он в своем домике старым бездетным вдовцом, каких немало попадается среди нашего духовенства. Тот запас семейных инстинктов, которыми природа снабдила о. Крискента, он всецело посвятил своей пастве, ее семейным делам, разным напастям и невзгодам интимного характера. Благочестивые старушки вроде Татьяны Власьевны очень любили иногда завернуть к о. Крискенту и покалякать со стариком от свободности о разных сомнительных предметах, тем более что о. Крискент в совершенстве владел даром разговаривать с женщинами. Он никогда не употреблял резких выражений, как это иногда делают слишком горячие ревнители-священники, когда дело коснется большого греха, но вместе с тем он и не умалял проступка; затем он всегда умел вовремя согласиться – это тоже немаловажное достоинство. Наконец, вообще в о. Крискенте привлекал неотразимо к себе тот дух общего примирения и незлобия, какой так обаятельно действует на женщин: они уходили из его домика успокоенные и довольные, хотя, собственно, о. Крискент никогда ничего не говорил нового, а только соглашался и успокаивал уже одним своим видом. Роль этого добродушного человека, в сущности, сводилась к тому, что он, как некоторые механические приспособления, собственной особой устранял и смягчал разные неизбежные житейские столкновения, углы и диссонансы.

– Садитесь, Татьяна Власьевна… Ну, как вы поживаете? – говорил о. Крискент, усаживая свою гостью на маленький диванчик, обитый зеленым репсом. – Все к вам собираюсь, да как-то руки не доходят… Гордея-то Евстратыча частенько вижу в церкви.

– А я пришла к вам по делу, отец Крискент… – заговорила Татьяна Власьевна, поправляя около ног свой кубовый сарафан. – И такое дело, такое дело вышло – дня два сама не своя ходила. Просто места не могу себе найти нигде.

– Так, так… Конечно, бывают случаи, Татьяна Власьевна, – мягко соглашался о. Крискент, расправляя свою бородку веером. – Человек предполагает – Бог располагает. Это уж не от нас, а свыше. Мы с своей стороны должны претерпевать и претерпевать… Как сказал апостол:

«Претерпевый до конца, той спасен будет…» Именно!

Поместившись в другом углу дивана, о. Крискент внимательно выслушал все, что ему рассказала Татьяна Власьевна, выкладывавшая свои сомнения в этой маленькой комнатке всегда с особенной охотой, испытывая приятное чувство облегчения, как человек, который сбрасывает с плеч тяжелую ношу.

– Чего же вы хотите, то есть, собственно, что вас смущает? – спрашивал о. Крискент, когда Татьяна Власьевна рассказала все, что сама знала о жилке и о своем последнем разговоре с сыном.

– Я боюсь, отец Крискент… Сама не знаю, чего боюсь, а так страшно сделается, так страшно. Как-то оно вдруг все вышло…

– Так, так… Конечно, богатство – источник многих злоключений… особенно при наших слабостях, но, с другой стороны, Татьяна Власьевна, на богатство можно смотреть с евангельской точки зрения. Припомните евангельскую притчу о рабе, получившем десять талантов и приумножившем оные? Не так ли мы должны поступать? Если даже человек, который «зле приобретох, по добре расточих», примет свою часть в Царствии Небесном, тем паче войдут в него добре потрудившиеся на ниве Господней… Я лично смотрю на богатство как на испытание.

Добрый старик говорил битый час на эту благодарную тему, причем опровергал несколько раз свои же доводы, повторялся, объяснял и снова запутывался в благочестивых дебрях красноречия. Такие душеспасительные разговоры, уснащенные текстами Священного Писания, производили на слушательниц о. Крискента необыкновенно успокаивающее действие, объясняя им непонятное и точно преисполняя их той благодатью, носителем которой являлся в их глазах о. Крискент.

– А зачем Гордей-то Евстратыч так остребенился на меня, как только мы заговорили об этой жилке? – спрашивала Татьяна Власьевна, по своей женской слабости постоянно возвращавшаяся от самых возвышенных умозрений к заботам и мелочам моря житейского. – Это от одного разговору, отец Крискент! А что будет, ежели и в самом-то деле эта жилка богатая окажется… Сумлеваюсь я очень насчет этих полдневских и насчет Маркушки особливо сумлеваюсь. Самый был потерянный человек и вдруг накинул на себя этакое благочестие… Может, на жилке-то заклятье какое наложено, отец Крискент?..

– Ах, уж это вы даже совсем напрасно, Татьяна Власьевна: на золоте не может быть никакого заклятья, потому что это плод земли, а Бог велел ей служить человеку на пользу… Вот она и служит, Татьяна Власьевна! Только каждому своя часть, и всякий должен быть доволен своей частью… Да!..

Специально в денежных делах о. Крискент отличался особенной мягкостью и податливостью, а тут выпадало такое редкое, единственное в своем роде счастье. Рядом с теоретическими построениями в голове о. Крискента вырастали самые практические соображения: разбогатеет Гордей Евстратыч, тогда его можно будет выбрать церковным старостой, и он, конечно, от щедрот своих и послужит. Вот кончат стены в новой церкви, нужно будет иконостас заводить, ризницу подновлять – да мало ли расходов найдется!.. Эти мысли подкрепляли о. Крискента все больше и больше, и он возвысился до настоящего красноречия, когда принялся доказывать Татьяне Власьевне, что она даже не вправе отказываться от посылаемого самим Богом богатства.

– Пути Божии неисповедимы, Татьяна Власьевна.

– Мне опять то в голову приходит, отец Крискент, – говорила в раздумье Татьяна Власьевна, – если это богатство действительно посылает Бог, то неужели не нашлось людей лучше нас?.. Мало ли бедных, милостивцев, отшельников…

– Татьяна Власьевна, Татьяна Власьевна… Так нельзя рассуждать. Разве мы можем своим слабым умом проникать в планы и намерения Божии? Что такое человек? Персть, прах… Да. Еще раз повторяю: нужно покоряться и претерпевать, а не мудрствовать и возвышаться прегордым умом.

Впрочем, на прощанье, когда о. Крискент провожал Татьяну Власьевну в переднюю, он переменил тон и заговорил о тленности всего земного и человеческой гордости, об искушениях врага человеческого рода и слабости человека.

– Так, по-вашему, отец Крискент, лучше отказаться от жилки? – переводила на свой язык Татьяна Власьевна высокоумствования батюшки.

– О нет, я этого не сказал, как не сказал и того, что нужно брать жилку…

– Что же нам теперь делать?

Отец Крискент только развел руками, что можно было истолковать как угодно. Но именно последние-то тирады батюшки, которые как будто клонились к тому, чтобы отказаться от жилки, собственно, и убедили Татьяну Власьевну в необходимости «покориться неисповедимым судьбам Промысла», то есть в данном случае взять на себя Маркушкину жилку, пока Вукол Логиныч или кто другой не перехватил ее.

– Заметьте, Татьяна Власьевна, я не говорил: «берите жилку» и не говорил – «откажитесь»… – ораторствовал батюшка, в последний раз с необыкновенной быстротой расстегивая и застегивая аметистовые пуговицы своего камлотового подрясника. – Ужо как-нибудь пошлите ко мне Гордея-то Евстратыча, так мы покалякаем с ним по малости. Ну а как ваша молодайка, Дуня?

– Слава Богу, отец Крискент, слава Богу… Скромная да тихая, воды не замутит, только, кажется, ленивенькая, Христос с ней, Богородица… Ну, да обойдется помаленьку. Ариша, та уж очень бойка была, а тоже уходилась, как Степушку Бог послал.

– Слава Богу, слава Богу… – повторял о. Крискент, как эхо.

Но Гордей Евстратыч не пошел к о. Крискенту, как его ни упрашивала об этом Татьяна Власьевна. Для окончательного решения вопроса о жилке был составлен небольшой семейный совет, в котором пригласили принять участие и Зотушку. В исключительных случаях это всегда делалось, потому что такой порядок был заведен исстари. Зотушка являлся в «горнице» с смиренным видом, садился в уголок и смиренно выслушивал, как набольшие умные речи разговаривают. Настоящий совет состоял из трех лиц: Татьяна Власьевна, Гордей Евстратыч и Зотей Евстратыч. Зотушка хотя и был пьяница, но и у него ум-то не телята отжевали, притом своя кровь.

– Так вот, Зотей, какое дело-то выходит, – говорил Гордей Евстратыч, рассказав все обстоятельства по порядку. – Как ты думаешь, брать жилку или не брать?

Зотушка разгладил свои косицы на макушке, вытянул шею и ответил:

– А по моему глупому разуму, Гордей Евстратыч, неладное вы затеяли… Вот что!.. Жили, слава Богу, и без жилки, проживем и теперь… От этого золота один грех…

Никто не ожидал такого протеста со стороны Зотушки, и большаки совсем онемели от изумления. Как, какой-нибудь пропоец Зотушка и вдруг начинает выговаривать поперечные слова!.. Этот совет закончился позорным изгнанием Зотушки, потому что он решительно ничего не понимал в важных делах, и решение состоялось без него. Татьяна Власьевна больше не сумлевалась, потому что о. Крискент прямо сказал и т. д.

– Только поскорее… – торопила теперь старуха. – Как бы Вукол-то не заграбастал нашу жилку…

V

На Урале завод Белоглинский славился как один из самых старинных заводов, на котором еще уцелели такие фамилии, как Колобовы, Савины, Шабалины и т. д. Это были крепкие семьи старинного покроя; они могли сохраниться в полной неприкосновенности только в такой уральской глуши, куда был заброшен Белоглинский завод. Раскол здесь свил себе теплое гнездо, и австрийские архиереи особенно любили Белую Глинку, где всегда находили самый радушный прием и могли скрываться от «ревности» полиции и православных миссионеров. Отсюда вышли все эти Кутневы, Сиговы и Девяткины, которые прославились своим богатством и широкой жизнью; отсюда же брали невест, чтобы освежить вырождавшиеся семьи столичных купеческих фирм. Слава белоглинских красавиц-староверок гремела далеко, и гремела недаром: невесты были на подбор – высокие, белые, толстые, глазастые, как те племенные телки, которые «идут только на охотника». У Колобовых были две дочери, кроме Ариши, и обе вышли за купцов в Нижний; у Савиных, кроме Дуни, была дочь за рыбинским купцом-миллионером; Груня Пятова в Москву вышла, Настя Шабалина в Сарапуль… У этих Шабалиных был настоящий куст из невест, да из каких невест – все купечество о них говорило на Ирбитской, в Нижнем, в Крестах. Все разошлись по рукам, а дома не осталось никого даже на поглядочку. Савины да Колобовы, те догадались – по одной дочке оставили на своих глазах, то есть выдали за брагинских ребят. Брагинская семья тоже была настоящая семья, хотя и не из богатых. Но важно было то, что хоть одна дочь на глазах; не ровен час, попритчилось что старикам, так есть кому глаза закрыть. Ни Михалке Брагину, ни Архипу в жисть свою не видать бы как своих ушей таких красавиц-жен, ежели бы не был такой стариковский расчет да не пользовалась бы Татьяна Власьевна всеобщим почетом за свою чисто иноческую жизнь.

– Мы этих на племя оставили, – шутили старики Колобовы и Савины, – а то ростим-ростим девок, глядишь, всех и расхватали в разные стороны… Этак, пожалуй, всю нашу белоглинскую природу переведут до конца!

Теперь из завидных белоглинских невест оставались только Феня Пятова, да Нюша Брагина, да еще у Шабалиных, у брата Вукола Логиныча, подрастала разная детвора, так как там начинали выравниваться три девчонки.

Таков был Белоглинский завод, и недаром гордились им белоглинцы, крепко держась за свои стародавние уставы и житейские «свычаи». Жили крепко, по-старинному, до новшеств было мало охотников, а на таких отщепенцев, как Вукол Логиныч, смотрели как на людей совсем пропащих. Были и такие примеры: завертится человек, глядишь – и пропал. Хоть взять тех же Кутневых и Девяткиных – весь род пошел на перевод, потому что захотели жить по-новому, по-модному. Белоглинцы были глубоко предубеждены против «прелестей» новой модной жизни, которая уже поглотила многих.

Мы уже сказали, что семья Брагиных была не из богатых, потому что торговля «панским

товаром» особенно больших выгод не могла доставить сравнительно с другими отраслями торговли. Слабое место заключалось в известной моде на известные товары, которая проникла и в Белоглинский завод. Белоглинские бабы разбирали нарасхват то кумачи, то кубовые ситцы, то какой-то «немецкий узор» и ни за что не хотели покупать никаких других, являлись остатки и целые штуки, вышедшие совсем из моды, которые и гнили на верхних полках, терпеливо ожидая моды на себя или неприхотливых покупателей. Впрочем, и на эту «браковку» был сбыт, хотя довольно рискованный, именно этот завалявшийся товар пускали в долг по деревням, где влияние моды чувствовалось не в такой степени, как в Белоглинском заводе. Такими покупателями, между прочим, являлись все приисковые, и в том числе, конечно, обитатели Полдневской на первом плане.

– Уж брошу же я эти панские товары! – в сотый раз говорил Гордей Евстратыч, когда в конце торгового года с Нюшей «сводил книгу», то есть подсчитывал общий ход своих торговых операций. – Просто житья не стало… Эти проклятые бабенки точно белены объедятся: подавай им желтого, да еще не желтого, а «ранжевого». А куда я с другим товаром денусь? Ведь за него не щепки, а деньги давали. Ничего не сообразишь с этими бабами. То ли дело хлебом или железом торговать: всегда одна мода и остатков да обрезков не полагается. Вот ужо брошу эту панскую торговлю да займусь хлебом. Вон Пазухины живут себе как у Христа за пазухой, не принимают от баб муки мученической.

– Тоже и с хлебом всяко бывает, – степенно заметит Татьяна Власьевна. – Один год мучка-то ржаная стоит полтина за пуд, а в другой и полтора целковых отдашь… Не вдруг приноровишься. Пазухины-то в том году купили этак же дорогого хлеба, а цена-то и спала… Четыреста рубликов из кармана.

– А все-таки, мамынька, я брошу этот панский товар.

Но все в брагинском доме отлично знали, что Гордею Евстратычу не расстаться с панской торговлей, потому что эта торговля батюшком Евстратом Евстратычем ставилась, а против батюшки Гордей Евстратыч не мог ни в чем идти. «Батюшко говорил», «батюшко велел», «батюшко наказывал» – это было своего рода законом для всего брагинского дома, а Гордей Евстратыч резюмировал все это одной фразой: «Поколь жив, из батюшкиной воли не выйду». И действительно, все в брагинском доме творилось в том самом виде, как было при батюшке Евстрате Евстратыче. Покрой платья, кушанья, взаимные отношения, семейные праздники, торговля, привычки, поверья – все оставалось в том виде, в каком осталось от батюшки. Это был целый культ предкам в лице одного батюшки. Так, посредине дома стояла громадная «батюшкина печь» величиною с целую комнату; ее топили особенными полутораршинными дровами, причем она страшно накаливалась и грозила в одно прекрасное утро пустить на ветер весь батюшков дом. Все уговаривали Гордея Евстратыча переделать эту печь и поставить на ее место обыкновенную кухонную, а затем другую, «голанку», – и места бы много очистилось, да и дров пошло бы вдвое меньше.

– В самом деле, Гордей Евстратыч, – уговаривал упрямого старика даже о. Крискент, – вот у меня на целый дом всего две маленьких печи – и тепло, как в бане. Вот бы вам…

– Это батюшкову-то печь ломать? – изумлялся каждый раз Гордей Евстратыч. – Что вы, что вы, отец Крискент… Нет, этому не бывать, потому это какая печь – батюшка-то сам ее ставил. Теперь мне пятьдесят три года, а я еще ни одного кирпича в ней не поправлял. Разве нынче умеют такие кирпичи делать? Вон у вас на церковь делают кирпичи: весу в нем четыре фунта, а пальцем до него дотронулся – он сам и крошится, как сухарь. А батюшкины кирпичи по двенадцати фунтиков каждый и точно вылитые из чугуна… Нет, я батюшкиной печи не потрону, отец Крискент. Вот умру, тогда дети, ежели захотят умнее отца быть, пусть ломают

батюшкову печь…

– Да, оно, конечно… пожалуй… нынешние кирпичи ничего не стоят, – соглашался о. Крискент.

Сам Гордей Евстратыч походил на двенадцатифунтовый кирпич из батюшковой печи: он так же крепко выдерживал все житейские передряги, соблазны и напасти. Это был замечательно выдержанный, ровный и сосредоточенный характер, умевший делать уступки только для других, а не для себя. Все, что ни делал Гордей Евстратыч, он делал с тем особенным достоинством, с каким делали свои дела старинные люди. По-видимому, самые ничтожные действия домашнего обихода для него были преисполнены великого внутреннего смысла. Например, чего проще напиться чаю? А между тем у Гордея Евстратыча из этого заурядного проявления вседневной жизни составлялась настоящая церемония: во-первых, девка Маланья была обязана подавать самовар из секунды в секунду в известное время – утром в шесть часов и вечером в пять; во-вторых, все члены семьи должны были собираться за чайным столом; в-третьих, каждый пил из своей чашки, а Гордей Евстратыч из батюшкова стакана; в-четвертых, порядок разливания чая, количество выпитых чашек, смотря по временам года и по значениям постных или скоромных дней, крепость и температура чая – все было раз и навсегда установлено, и никто не смел выходить из батюшкова устава. В будни это чаевание имело деловой сосредоточенный характер, а в праздники, особенно в разговенья, превращалось в настоящее торжество. Пить чай Гордей Евстратыч любил до страсти и выпивал прямо из-под крана десять стаканов самого крепкого чая, иначе не садился за стол, даже в гостях, потому что не любил недоканчивать начатого дела. «Чай разбивает кровь», – говорил Гордей Евстратыч, вытирая катившийся с лица пот особым полотенцем. Обеды и ужины проходили еще торжественнее чаевания, как и вообще весь домашний распорядок. Больше всего ненавидел в людях Гордей Евстратыч торопливость, потому что кто торопится, тот, по его мнению, всегда плохо делает свое дело и потом непременно обманет. Каким путем вязалось последнее заключение с торопливостью – оставим на совести самого Гордея Евстратыча, который всегда говорил, что торопливого от плута не различить. По всей вероятности, это наблюдение было унаследовано от батюшкиных заветов.

Как семьянин Гордей Евстратыч был безупречный человек; он ко всем относился одинаково ровно, судил только после основательного рассмотрения проступка, не любил дрязг и ссор и во всем прежде всего домогался спокойного порядка. Овдовев рано, он не женился во второй раз для детей, которых и воспитывал по батюшкиным строгим заветам, не давая потачки в важном и не притесняя напрасно в мелочах. Крику и шуму он не выносил вообще, а все делал с повадкой, степенно, почему и недолюбливал нынешних модных людей, которые суются в делах, как угорелые. Но зато с старинными людьми Гордей Евстратыч обращался так важевато, что удивлял даже самых древних стариков. Особенно хорош бывал Гордей Евстратыч по праздникам, когда являлся в свою единоверческую церковь, степенно клал установленный «начал» с подрушником в руках, потом раскланивался на обе стороны, выдерживал всю длинную службу по ниточке и часто поправлял дьячков, когда те что-нибудь хотели пропустить или просто забалтывались. В дванадесятые праздники он становился на клирос и пел свежим тенором по крюкам, которые постиг в совершенстве еще под батюшковым руководством. Так же себя держали Колобовы, Савины и Пазухины, перешедшие в единоверие, когда австрийские архиереи были переловлены и рассажены по православным монастырям, а без них в раскольничьем мире, имевшем во главе старцев и стариц, начались бесконечные междоусобия, свары и распри. Только Шабалины продолжали упорно держаться древнего благочестия, несмотря на всевозможные внешние и внутренние запинания, хотя и не избегали благословенных церковников, как они называли единоверцев.

Но как строго ни соблюдал себя и свою жизнь Гордей Евстратыч, – он являлся только выразителем ее внешней стороны, а самый дух в доме поддерживался Татьяной Власьевной,

которая являлась значительной величиной в своем кругу. Никто лучше не знал распорядков, свычаев и обычаев старинного житья-бытья, которое изобрело тысячи церемоний на всякий житейский случай, не говоря уже о таких важных событиях, как свадьбы, похороны, родины, разные семейные несчастия и радости. К Татьяне Власьевне шли за советом и указанием по всякому поводу, и она никому не умела отказать, даже самому Вуколу Логинычу, если бы он пришел к ней. Кроме этого, она славилась как известная постница, богомолка и начетчица, а затем как тайная благодетельница. Конечно, под началом такого человека жизнь в брагинском доме текла самым образцовым порядком, на поученье всем остальным. Несмотря на свои малые достатки, Татьяна Власьевна всегда ухитрялась прокармливать у себя во флигельке пять-шесть бесприютных старушек. Вообще это была типичная представительница раскольничьей старухи, заправлявшей всем домом, как улитка своей раковиной. Быть в меру строгой и в меру милостивой, уметь болеть чужими напастями и не выдавать своих, выдерживать характер даже в микроскопических пустяках, вообще задавать твердый и решительный тон не только своему дому, но и другим – это великая наука, которая вырабатывалась в раскольничьих семьях веками.

К снохам Татьяна Власьевна относилась, как к родным дочерям, и они походили под ее началом на двух сестер, потому что всегда одевались одинаково, чем приводили в глубокое умиление истинных почитателей старины. Белокурая красавица Ариша и высокая полная Дуня, когда шли в церковь в одинаковых шелковых платочках и в таких же сарафанах с настоящим золотым позументом, действительно представляли умилительное зрелище. И мужья у них были славные. Конечно, Михалко немного был тяжел характером, лишку не разговорится, но парень основательный и всем делом мог один заправлять; Архипу всего еще минуло девятнадцать лет, и он хотя был женатый человек, но в своей семье находился на положении подростка. С него большой работы и не спрашивалось; лишь бы присматривался около отца да около старшего брата, а там в годы войдет, так и сам других поучит. Только вот характером Архип издался ни в мать, ни в отца, ни в бабушку, а как-то был сам по себе: все ему нипочем, везде по колено море. Чтобы малый не избаловался, Татьяна Власьевна нарочно и женила его раньше, да и жену ему выбрала тихую, чтобы мужа удерживала. Снохи втягивались в порядки брагинского дома исподволь и незаметно делались его неотъемлемой составной частью, как члены одного живого организма.

Вообще невестками своими, как и внуками, Татьяна Власьевна была очень довольна и в случае каких недоразумений всегда говорила: «Ну, милушка, час терпеть, а век жить…» Но она не могла того же сказать о невитом сене, Нюше, характер которой вообще сильно беспокоил Татьяну Власьевну, потому что напоминал собой нелюбимую дочь-модницу, Алену Евстратовну. Конечно, последнего осторожная старуха никому не высказывала, но тем сильнее мучилась внутренно, хотя Нюша сама по себе была девка шелк шелком и из нее подчас можно было веревки вить.

– Ох, мудреная ты моя головушка, – иногда говорила Татьяна Власьевна, когда Нюша с чем-нибудь приставала к ней. – Как-то ты жить-то на белом свете будешь?

– А так и буду… Если бранить будешь, в скиты уйду к Шабалиным.

– Ах, ну тебя совсем… Вот ужо услышит отец-то, так он тебя за косу.

Вообще брагинская семья была самой образцовой, как полная чаша, и даже модница Алена Евстратовна и пьяница Зотушка не ставились в укор Татьяне Власьевне, потому что в семье не без урода.

Судьба Зотушки, любимого сына Татьяны Власьевны, повторяла собой судьбу многих других

любимых детей – он погиб именно потому, что мать не могла выдержать с ним характера и часто строжила без пути, а еще чаще миловала. Способный, живой ребенок скоро понял мать, а потом забрал и свою волю, которая и привела его к роковой первой рюмочке. Приспособляли Зотушку к разным занятиям, но из этого ничего не вышло, и Зотушка остался просто при домашности, говоря про себя, что без него, как без поганого ведра, тоже не обойдешься… Вместо настоящего дела Зотушка научился разным художествам: отлично стряпал пряники, еще лучше умел гонять голубей, знал секреты разных мазей, имел вообще легкую руку на скота, почему и заведовал всей домашней скотиной, когда был «в себе», обладал искусством ругаться с стряпкой Маланьей по целым дням и т. д., и т. д.

VI

С угла на угол от брагинского дома стоял пятистенный дом Пазухиных, семья которых состояла всего из трех членов – самого хозяина Силы Андроныча, его жены Пелагеи Миневны и сына Алексея. В их же доме проживала старая родственница с мужней стороны, девица Марфа Петровна; эта особа давно потеряла всякую надежду на личное счастье, поэтому занималась исключительно чужими делами и в этом достигла замечательного искусства, так что попасть на ее острый язычок считалось в Белоглинском заводе большим несчастием вроде того, если бы кого продернули в газетах.

– А у Брагиных-то не того… – заметила однажды Марфа Петровна, когда они вместе с Пелагеей Миневной перекладывали на погребе приготовленные в засол огурцы вишневым и смородинным листом.

– А что, Марфа Петровна? – осведомилась Пелагея Миневна, шустрая старушка с бойкими черными глазами.

– Да так!.. неладно, – нарочно тянула Марфа Петровна, опрокидываясь в большую кадочку своим полным корпусом по пояс; в противоположность общепринятому типу высохшей, поблекшей и изможденной неудовлетворенными мечтаниями девственницы, Марфа Петровна цвела в сорок лет как маков цвет и походила по своим полным жизни формам скорее на счастливую мать семейства, чем на бесплодную смоковницу.

– Уж не болен ли кто? – сделала догадку Пелагея Миневна, осторожно опуская на пол решетку с вымытыми в двух водах и вытертыми насухо кунгурскими огурцами.

В Белоглинском заводе климат был настолько суров, что огурцы росли только в тепличках и парниках, как это было у Пятовых и Шабалиных, а все остальные должны были покупать привозный товар. Обыкновенно огурцы привозили из Кунгурского уезда, как арбузы из Оренбургской губернии, а яблоки из Перми.

Пробойная и дошлая на все руки Марфа Петровна, кажется, знала из своего уголка решительно все на свете и, как какой-нибудь астроном или метеоролог, делала ежедневно самые тщательные наблюдения над состоянием белоглинского небосклона и заносила в свою памятную книжку малейшие изменения в общем положении отдельных созвездий, в состоянии барометра и колебаниях магнитной стрелки. На своем наблюдательном посту Марфа Петровна изобрела замечательно точные методы исследования, так что, как другие великие астрономы, могла предугадывать события и даже предчувствовать, чего астрономы еще не могут добиться. Так и в данном случае для Марфы Петровны было совершенно достаточно заметить, что в брагинском доме явились некоторые тревожные признаки, как она сейчас же решила, что там неладно. Опытный пчеловод по гудению пчел узнает состояние улья. Эти признаки были следующие: в горнице Гордея Евстратыча по ночам горит огонь до второго и до третьего часу,

невестки о чем-то перешептываются и перебегают по комнатам без всякой видимой причины, наконец, сама Татьяна Власьевна ходила к о. Крискенту, что Марфа Петровна видела собственными глазами. Кажется, достаточно…

– В самом деле, не прихворнул ли у них кто? – спрашивала во второй раз Пелагея Миневна, напрасно стараясь замаскировать свое неукротимое бабье любопытство равнодушным тоном.

– Нет, все здоровы, а только что-то неладно… Вон в горнице-то у Гордея Евстратыча до которой поры по ночам огонь светится. Потом сама-то старуха к отцу Крискенту ходила третьева дни…

– Неужели?.. Как же это я-то ничего не заметила, Марфа Петровна?..

В уме обе женщины сейчас же перебрали все подходящие мотивы, но ничего не объяснялось ими. Уж не сватают ли Нюшу, или, может, письмо откуда получили?.. Вообще это неожиданное открытие встревожило обеих женщин, и Марфа Петровна сейчас же после обеда, закинув какое-то заделье, отправилась сначала к Савиным, а потом к Колобовым. Эта наблюдательная и, в сущности, очень добрая особа работала на Пазухиных, как мельничное колесо, но, когда на горизонте всплывало тревожившее ее облако, она бросала всякую работу, надевала на голову черную шерстяную шаль и отправлялась по гостям, где ей всегда были рады. Известный запас новостей мучил Марфу Петровну, как мучит картежника каждый свободный рубль или как мучит нас самая маленькая песчинка, попавшая в глаз; эта девица не могла успокоиться и войти в свою рабочую колею до тех пор, пока не выбалтывала где-нибудь у Савиных или Колобовых решительно все, что у нее лежало на душе.

«Пошла наша кума со сплетней, как курица с яйцом», – подумала Пелагея Миневна про Марфу Петровну, но сказать это вслух, конечно, побоялась.

А Марфа Петровна, торопливо переходя дорогу, думала о том, что авось она что-нибудь узнает у Савиных или Колобовых, а если от них ничего не выведает, тогда можно будет завернуть к Пятовым и даже к Шабалиным. Давно она у них не бывала и даже немножко сердилась, потому что ее не пригласили на капустник к Шабалиным. Ну, да уж как быть, на всякий чох не наздравствуешься.

Савины жили в самом рынке, в каменном двухэтажном доме; второй этаж у них всегда стоял пустой, в качестве парадной половины «на случай гостей». Сами старики с женатым сыном жили в нижнем этаже, где летом было сыро, а зимой холодно. Крытый наглухо, по-раскольничьи, широкий двор и всегда запертые на щеколду ворота савинского дома точно говорили о том, что в нем живут очень плотно. Старик Кондрат Гаврилыч немножко «скудался глазами» и редко куда выходил; всей торговлей заправлял женатый сын. Собственно, из этой семьи славилась сама Савиха, или Матрена Ильинична, высокая дородная старуха, всегда щеголявшая в расшитой шелками и канителью кичке. Красавица была в свое время и великая щеголиха, а теперь пользовалась большой популярностью как говоруха. Сама Марфа Петровна побаивалась бойкой на язык Савихи и выучилась у ней многим ораторским приемам.

– Ах, кумушка, наконец-то завернула к нам, – ласково встретила Матрена Ильинична гостью. – А мы тут совсем мохом обросли без тебя…

– То-то, поди, соскучились? – отшучивалась Марфа Петровна, стараясь попасть в спокойно-добродушный тон важной старухи. – Авдотья-то Кондратьевна давненько у вас была?

– На той неделе забегала под вечерок. Рубахи приходила кроить своему мужику. Дело-то непривычное, ну и посумлевалась, как бы ошибочку не сделать, а то Татьяна-то Власьевна, пожалуй, осудит… А что?

– Да я так сказала… живем из окна в окно, а я что-то давно не видала Авдотьи-то Кондратьевны. Цветет она у вас как мак, и Гордей-то Евстратыч не насмотрится на нее.

Марфа Петровна побоялась развязать язык перед Матреной Ильиничной, потому что старуха была нравная, с характером, да и милую дочку Дунюшку недавно еще выдала в брагинский дом, пожалуй, не ровен час, обидится чем-нибудь.

– А как Кондрат Гаврилыч? – тараторила Марфа Петровна, заминая разговор.

– Чего ему делается… – нехотя ответила Матрена Ильинична. – Работа у него больно невелика: с печи на полати да с полатей на печь… А ты вот что, Лиса Патрикеевна, не заметай хвостом следов-то!

– Я ничего, Матрена Ильинична… ей-богу… Я так сказала…

– Не заговаривай зубов-то, матушка, я немножко пораньше тебя родилась…

Делать нечего, Марфа Петровна рассказала все, что сама знала, и даже испугалась, потому что совсем перетревожила старуху, которая во всем этом «неладно» видела только одну свою ненаглядную Дунюшку, как бы ей чего не сделали в чужом дому, при чужом роде-племени.

– А я еще зайду к Колобовым; может, у них не узнаю ли что, – успокаивала Марфа Петровна, – а от них, если ничего не узнаю, дойду до Пятовых… Там уж наверно все знают. Феня-то Пятова с Нюшей Брагиной – водой не разлить…

– Ох, боюсь я за Дуняшку-то свою, – стонала Матрена Ильинична. – Внове ее дело, долго ли до какой напасти…

– Так уж я зайду к вам, Матрена Ильинична, как пойду обратно, и все выложу, как на духу.

– Ну, ступай, ступай, таранта.

Марфа Петровна полетела в колобовский дом, который стоял на берегу реки, недалеко от господского дома, в котором жили Пятовы. По своей архитектуре он принадлежал к тем старинным деревянным постройкам, с светелками и переходами, какие сохранились только в лесистой северной полосе России и только отчасти на Урале. В колобовском доме могло поместиться свободно целых пять семейств, и, кроме того, в подвале была устроена довольно просторная моленная. Старики Колобовы были только наполовину единоверцами и при случае принимали австрийских попов, хотя и скрывали это от непосвященных. Самойло Михеич вел довольно большую железную торговлю; это был крепкий седой старик с большой лысой головой и серыми, светлыми улыбавшимися глазами, – Ариша унаследовала от отца его глаза. Жена Самойла Михеича была как раз ему под стать, и старики жили как два голубя; Агнея Герасимовна славилась как большая затейница на все руки, особенно когда случалось праздничное дело, – она и стряпать первая, и гостей принимать, и первая хоровод заведет с молодыми, и даже скакала сорокой с малыми ребятишками, хотя самой было под шестьдесят лет. Вообще веселая была старушка, гостеприимная, ласковая. В большом колобовском доме с старинной вычурной мебелью и какими-то невероятными картинами в золоченых облупившихся рамах все чувствовали себя как-то особенно свободно, точно у себя дома. Марфа Петровна особенно любила завернуть к Агнее Герасимовне и покалякать с ней от души: добрая, хлебосольная старушка не прочь была и посплетничать, хотя и сознавала, что это нехорошо. Да и как удержаться, когда подвернется такая сорока, как Марфа Петровна.

– Милости прошу, Марфа Петровна, давненько не видались, – встретила свою гостью Агнея

Герасимовна. – Новенького чего нет ли? Больше нашего людей-то видите, – продолжала хозяйка, вперед знавшая, что недаром гостья тащилась такую даль.

Марфа Петровна вылила свои наблюдения о брагинском доме, прибавив для красного словца самую чуточку. В оправдание последнего Марфа Петровна могла сказать то, что сама первая верила своим прибавкам. Принесенное ею известие заставило задуматься Агнею Герасимовну, которая долго припоминала что-то и наконец проговорила:

– Чуть-чуть не захлестнуло… И ведь какая штука вышла! На неделе как-то наша пестрянка две ночи заночевала в лесу, ну, Самойло Михеич и послал кучера искать ее. Только кучер целый день проездил на вершной, а потом и приехал с пустыми руками. Стала я его расспрашивать, где и как он искал, – грешный человек, подумала еще, что где-нибудь в кабаке он просидел! Ну, кучер мне и говорит, что будто встретил он на дороге в Полдневскую Гордея Евстратыча. Я еще посмеялась про себя, думаю, и соврать-то не умеет мужик… А оно выходит, пожалуй, и правда!..

Это открытие дало неистощимый материал для новых предположений и догадок. Теперь уже не могло быть никакого сомнения, что действительно в брагинском доме что-то неладно. Куда ездил Гордей Евстратыч? Кроме Полдневской – некуда. Зачем? Если бы он ездил собирать долги с полдневских мужиков, так, во-первых, Михалко недавно туда ездил, как знала Агнея Герасимовна от своей Ариши, а во-вторых, зачем тогда Татьяне Власьевне было ходить к о. Крискенту. И т. д., и т. д.

Одним словом, Марфа Петровна возвратилась домой с богатым запасом новостей, который еще увеличился дорогой, как катившийся под гору ком снега. Пелагея Миневна так и ахнула, когда услыхала, что Гордей Евстратыч сам гонял в Полдневскую. Теперь дело было уже яснее дня! Брагины хотят заняться приисками… Да! И главное, потихоньку от других. Хороши, нечего сказать, а еще суседи. Если бы не Марфа Петровна, да тут бог знает что вышло бы. Пелагея Миневна и Марфа Петровна так разгорячились от этих разговоров, что открыто начали завидовать несметным богатствам Брагиных, позабыв совсем, что эти богатства пока еще существовали только в их воображении.

– И вот попомните мое слово, Пелагея Миневна, – выкрикивала Марфа Петровна, страшно размахивая руками, – непременно все они возгордятся и нас за соседей не будут считать. Уж это верно! Потому как мы крестьянским товаром торгуем, а они золотом, – компанию будут водить только с становым да с мировым…

– Ну, про молодых не знаю, а что до Татьяны Власьевны, так она не такая старуха.

– Ох, не говорите, Пелагея Миневна: враг горами качает, а на золото он и падок… Я давеча ничего не сказала Агнее Герасимовне и Матрене Ильиничне – ну, родня, свои люди, – а вам скажу. Вот сами увидите… Гордей Евстратыч и так вон как себя держит высоко; а с тысячами-то его и не достанешь. Дом новый выстроят, платья всякого нашьют…

Обе женщины пожалели вместе, что вот им не достался же до сих пор никакой прииск.

Кроме этого, Пелагея Миневна лелеяла в душе заветную мысль породниться с Брагиными, а теперь это проклятое золото могло разрушить одним ударом все ее надежды. Старушка знала, что Алешке нравится Нюша Брагина, а также то, что и он ей нравится.

«Уж как бы хорошо-то было, – думала Пелагея Миневна. – Еще когда Алеша да Нюша ребятками маленькими были и на улице играли постоянно вместе, так я еще тогда держала на уме. И лучше бы не надо…»

Действительно, между Алексеем Пазухиным и Нюшей незаметно образовались те хорошие и дружеские отношения, под которыми тлела настоящая любовь. Собственно, стороны не давали отчета в своих чувствах, а пока довольствовались тем, что им было хорошо вместе. Детская дружба принимала форму более сильного чувства, и только недоставало у Алеши смелости, чтобы взять свое. Он был скромный и совестливый парень, а Нюша такая бойкая и красивая. В ее присутствии он каждый раз сильно робел и беспрекословно переносил всевозможные шалости, когда Нюша, улучив свободную минутку, встречалась с своим обожателем где-нибудь у ворот. Эти свидания происходили в сумерки. Нюша, накинув на плечи заячью шубейку, выскакивала за ворота и, по странной случайности, как-то всегда попадала на Алешу, который только и жил сумерками.

– Вот чему не потеряться-то… – смеялась Нюша, кутаясь в шубейку. – Носу нельзя показать без тебя, Алеша. Ты никак в сторожа нанялся в нашу Старую Кедровскую?

– У вас, Анна Гордеевна, всегда такие слова… как ножом по сердцу режете…

– Какая я тебе Анна Гордеевна?.. Придумал тоже… А я так про себя всегда тебя Алешкой навеличиваю: Алешка Пазухин – и вся тут. Вместе в снежки, бывало, играли, на салазках катались… Позабыл, видно?

– Мало ли что прежде было… И теперь можно бы когда вечерком по улице на саночках прокатиться… Эх, лихо бы я вас прокатил, Анна Гордеевна!

– А бабушка-то?.. Да она тебе все глаза выцарапает, а меня на поклоны поставит. Вот тебе и на саночках прокатиться… Уж и жисть только наша! Вот Феня Пятова хоть на ярмарку съездила в Ирбит, а мы все сиди да посиди… Только ведь нашему брату и погулять что в девках; а тут вот погуляй, как цепная собака. Хоть бы ты меня увез, Алешка, что ли… Ей-богу! Устроили бы свадьбу-самокрутку, и вся тут. В Шабалинских скитах старики кого угодно сводом свенчают.

Иногда Нюше доставляло громадное удовольствие хорошенько помучить своего обожателя, особенно в Святки, где-нибудь на вечеринке. У Алешки был соперник в лице Володьки Пятова, избалованного барчука, который учился в гимназии до третьего класса и успел отведать всяких благ городской цивилизации. С белоглинскими девицами, в качестве управительского сынка, он обращался совсем свободно и открыто ухаживал за Нюшей, которая дурачилась с ним напропалую, чтобы побесить Алешку. На то и Святки, чтобы дурачиться. По старинному обычаю, на белоглинских вечерах молодые люди открыто целовались между собой бесчисленное количество раз, как того требовала игра или песня. Даже сама строгая Татьяна Власьевна раз, когда Нюша ни за что не хотела целоваться с каким-то не понравившимся ей кавалером, заставила ее исполнить все по правилу и прибавила наставительно: «Этого, матушка, нельзя, чтобы не по правилу, – из игры да из песни слова не выкинешь… За углом с парнями целоваться нехорошо, а по игре на глазах у отца с матерью и Бог простит!»

Увертливый, смелый, научившийся всяким художествам около арфисток и других городских девиц, Володька Пятов являлся для застенчивого Алеши Пазухина истинным наказанием и вечным предметом зависти. В обществе этого сорванца Нюша делалась совсем другой девушкой и точно сама удивлялась, как она могла по вечерам выбегать за ворота для этого пустоголового Алешки, который был просто смешон где-нибудь на вечеринках или вообще в компании.

– Неужели он тебе нравится, этот чурбан Алешка? – иногда спрашивала Нюшу бойкая Феня Пятова. – Он и слова-то по-человечески не может сказать, я думаю… К этакому-то чуду ты и выбегаешь за ворота? Ха-ха…

– А что же мне делать, если никого другого нет… Хоть доколе в девках-то сиди. Ты вон небось и на ярмарке была, и в другие заводы ездишь, а я все сиди да посиди. Рад будешь и Алешке, когда от тоски сама себя съесть готова… Притом меня непременно выдадут за Алешку замуж. Это уж решено. Хоть поиграю да потешусь над ним, а то после он же будет величаться надо мной да колотить.

– Уж и нашли же вы сокровище… Где у ваших-то глаза, если так? Да я бы удавилась, а не пошла за твоего Алешку…

– Это все бабушка, Феня… А у ней известная песня: «Пазухинская природа хорошая; выйдешь за единственного сына, значит, сама большая в доме – сама и маленькая… Ни тебе золовок, ни других снох да деверьев!» Потолкуй с ней, ступай… А, да мне все равно! Выйду за Алешку, так он у меня козырем заходит.

– Вот если бы он в отца, в Силу Андроныча, уродился, тогда бы другое дело…

Сила Андронович Пазухин был знаменитый человек в своем роде, хотя и не из богатых; красавец, силач, краснобай – он был мастер на все руки и был не последним человеком в среде белоглинского купечества, даром что торговал только крестьянским товаром. В свое время об Силе Андроныче сохнули да вздыхали все белоглинские красавицы, и даже сама Матрена Ильинична, как говорила молва, была неравнодушна к нему. В Николин день, девятого мая, когда в Белоглинском заводе праздновали престольный праздник и со всех сторон набирались гости, на площади устраивалась старинная русская потеха – борьба. Это была настоящая церемония, в которой из года в год заводы соперничали между собой своими борцами. Приезжали из завода Курмыша, из Вязловского, из Плотицынского; со всех сторон набирался разный народ. И каждый раз в течение двадцати лет Сила Пазухин «уносил круг», то есть оставался победителем. В сорок лет Пазухин кончил эту молодецкую забаву и только под веселую руку иногда любил тянуться на палке, причем обыкновенно перетягивал всех. Теперь Силе Андронычу было под шестьдесят лет. Это был приземистый толстый старик с обрюзгшим лицом и кудрявыми волосами; прежняя красота заплыла жиром, а сила износилась. Не имея возможности тешиться прежними молодецкими забавами, как борьба и кулачный бой, Сила Андроныч пристрастился к лошадям и выкармливал замечательных бегунов киргизской крови. Купеческих лошадей с выгнутыми, как триумфальная арка, шеями он просто ненавидел. К недостаткам этого старика принадлежала, между прочим, его необыкновенная «скорость на руку», за что он платился сам первый. Семейных своих он не шевелил пальцем, впрочем, не из каких-нибудь гуманных побуждений, а просто из боязни порешить одним ударом. Зато прислуге, особенно подручным по лавке и кучерам, крепко доставалось от его скорости; поэтому у него кучера славились как самый отпетый народ, особенно один, по прозванию Ворон, любимец Силы Андроныча. Их сближение произошло довольно оригинально. Купил Сила Андроныч с оренбургской линии гненького иноходчика и стал его выезжать, а потом заметил, что иноходчик с тела спадает. Отыскав какую-то ссадину на лопатке, несомненное доказательство жестокого обращения Ворона, – Сила Андроныч захотел немножко поучить последнего, а наука короткая: положил нагайку в карман и – в конюшню к Ворону. Ворон что-то прибирал в конюшне, когда хозяин вошел к нему. Это был мрачный субъект, черный, как цыган, и с одним глазом. Сила Андроныч, прочитав приличное наставление своему любимцу на тему, что «блажен иже и скоты милует», для большей убедительности своих слов принялся опытной рукой полировать Ворона. Но Ворон не потерялся, а, схватив запорку от конюшни, быстро из оборонительного положения перешел в наступательное: загнал хозяина в угол и, в свою очередь, так его поучил, что тот едва уплел ноги в горницу.

– Молодец, если умел Сила Пазухина поучить… – говорил на другой день Сила Андроныч, подавая Ворону стакан водки из собственных рук. – Есть сноровка… молодец!.. Только под

ребро никогда не бей: порешишь грешным делом… Я-то ничего, а другому, пожиже, и не дохнуть. Вон у тебя какие безмены.

Ворон и теперь жил у Пазухиных и пользовался неизменным расположением хозяина все время, хотя сам оставался туча тучей.

Сын Алексей нисколько не походил на отца ни наружностью, ни характером, потому что уродился ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Это был видный парень, с румяным лицом и добрыми глазами. Сила Андроныч не считал его и за человека и всегда называл девкой. Но Татьяна Власьевна думала иначе – ей всегда нравился этот тихий мальчик, как раз отвечавший ее идеалу мужа для ненаглядной Нюши.

– И хорошо, что не в отца пошел, – говорила она, – с таким бойцом жить – без ребрышка ходить… А нам не дорога его-то разгулка, а дорога домашняя потребность.

VII

В брагинском доме было тихо, но это была самая напряженная, неестественная тишина. «Сам» ходил по дому как ночь темная; ни от кого приступу к нему не было, кроме Татьяны Власьевны. Они запирались в горнице Гордея Евстратыча и подолгу беседовали о чем-то. Потом Гордей Евстратыч ездил в Полдневскую один, а как оттуда вернулся, взял с собой Михалка, несколько лопат и кайл и опять уехал. Это были первые разведки жилки.

Стояла глубокая осень; по ночам земля крепко промерзала. Лист на деревьях опал; стояли холодные ветры, постоянно дувшие из «гнилого угла», как зовут крестьяне северо-восток. Солнце не показывалось по неделям. Все в природе точно съежилось, предчувствуя наступление холодной зимы. Вот в один из таких дней Гордей Евстратыч с Михалком подъезжали верхами к Полдневской, но, не доезжая деревни, они взяли влево и лесистым увалом, по какой-то безыменной тропинке, начали подниматься вверх по реке. Гордей Евстратыч не хотел, чтобы его видели в Полдневской, где он недавно был – проведать Маркушку, который все тянулся изо дня в день, сам тяготясь своим существованием. Другие старатели, кажется, начинали догадываться, зачем ездил Брагин к ним, и теперь он решил не показываться полднякам до поры до времени, когда все дело будет сделано.

– Я бы теперь же сделал заявку жилки, мамынька, – говорил Гордей Евстратыч перед отъездом, – да все еще сумлеваюсь насчет Маркушки… Не надул ли он меня? Объявишь жилку, насмешишь весь мир, а там, может, ничего и нет.

– А ты бы съездил посмотреть шахту-то.

– Так и сделаем. Один-то я был около нее, да одному ничего нельзя поделать. Надо Михалку прихватить. Потому, первое, в шахту спущаться надо; а один-то залезешь в нее, да, пожалуй, и не вылезешь.

Проехав верст пять по реке Полуденке, путники переехали вброд горную речонку Смородинку и по ней стали подниматься к самой верхотине. Место было дикое – косогор на косогоре. Приходилось продираться через дремучую еловую заросль, где и пешему пройти в добрый час, а не то что верхом, на лошади. Даже не было никакой тропы, какую выбивают дикие лесные козлы. Осенью этот лес особенно был мрачен и глухо шумел, раскачиваясь мохнатыми вершинами. Трава давно поблекла, прибрежные кусты смородины и тальника жалко топорщились своими оголенными ветвями. Гордей Евстратыч ехал вперед, низко наклоняясь под навесом еловых ветвей, загораживавших дорогу, как длинные корявые руки. Вот и

верхотина Смородинки, где эта речонка сочится из горы Заразной небольшим ключиком. Вот и увал, который идет от Заразной на полдень, а вот и те два кедра, о которых говорил Маркушка. Место дикое, кругом лес, глухо, точно в каком склепе.

– Здесь… – говорит Евстратыч, подъезжая к кедрам.

Они спешились. В нескольких шагах от кедров, на небольшой поляне, затянутой молодым ельником, едва можно рассмотреть следы чьей-то работы, именно два поросших кустарником бугра, а между ними заваленное кустарником отверстие шахты. Издали его можно даже совсем не заметить, и только опытный глаз старателя сразу видел, в чем дело.

Они осмотрели шахту, а затем очистили вход в нее. Собственно, это была не шахта, а просто «дудка», как называют неправильные шахты без срубов. Такие дудки могут пробиваться только в твердом грунте, потому что иначе стенки дудки будут обваливаться.

– Ну, теперь нужно будет лезть туда, – проговорил Гордей Евстратыч, вынимая из переметной сумы приготовленную стремянку, то есть веревочную лестницу. – Одним концом захватим за кедры, а другой в яму спустим… Маркушка сказывал – шахта всего восемнадцать аршин идет в землю.

– Как бы, тятенька, не оборваться, – заметил Михалко, помогая привязывать конец стремянки к дереву. – Я полегче вас буду – давайте я и спущусь…

– Нет, я сам…

На случай был захвачен фонарь с выпуклым стеклом, известный под именем коровьего глаза. Предварительно на длинной веревке спущены были в дудку лопата и кирка. Перекрестившись, Гордей Евстратыч начал по стремянке спускаться вниз, где его сразу охватило затхлым, застоявшимся воздухом, точно он спускался в погреб. Пахло глиной и гнилым деревом. Раскинув руками, он свободно упирался в стенки дудки. В одном месте сорвался камень и глухо шлепнулся на самое дно, где стояла вода. Верхнее отверстие шахты с каждым шагом вниз делалось все меньше, пока не превратилось в небольшое окно неправильной формы. Наконец Гордей Евстратыч стал на самое дно шахты, где стояла лужа грязноватой воды. Он зажег свой «коровий глаз», перекрестился и взялся за кирку. При ярком освещении можно было рассмотреть следы недавней работы и самую жилку, то есть тот кварцевый прожилок, который проходил по дну шахты углом. Куски кварца были перемешаны с глиной и охрой; преобладающую породу составлял отвердевший глинистый сланец с следами талька, железного колчедана и красика, то есть ярко окрашенной красной глины. Маркушка, добывая золото, сделал небольшой забой, то есть боковую шахту; но, очевидно, работа здесь шла только между прочим, тайком от других старателей, с одним кайлом в руках, как мыши выгрызают в погребах ковриги хлеба. Гордей Евстратыч внимательно осмотрел все дно шахты и забой, набрал руды целый мешок и, зацепив его за веревку, свистнул, – это был условный знак Михалке поднимать руду. Таким образом мешок спустился и поднялся раз пять, а Гордей Евстратыч продолжал работать кайлом, обливаясь потом. Его огорчало то обстоятельство, что нигде не попадаются такие куски «скварца», какой ему дал Маркушка, хотя он видел крупинки золота, вкрапленные в охристый красноватый и бурый кварц. Но все-таки это была настоящая жилка, в чем Гордей Евстратыч убеждался воочию; оставалось только воспользоваться ею. Он уже чувствовал себя хозяином в этой золотой яме, которая должна его обогатить. В порыве чувства Гордей Евстратыч пал на колени и горячо начал благодарить Бога за ниспосланное ему сокровище.

«Эх, не вылез бы отсюда», – думал он, в последний раз оглядывая свои сокровища ревнивым

хозяйским глазом.

Но нужно было уехать засветло домой, и Гордей Евстратыч выбрался наверх, где его дожидался молчаливый Михалко.

Итак, жилка оказалась форменной, как следует быть жилке. Оставалось только заявить ее где следует – и дело с концом. Но вот тут и представлялось первое затруднение. Именно, по горному уставу, во-первых, прежде чем разыскивать золото, требуется предварительное дозволение на разведки в такой-то местности, при таком-то составе разведочной партии; во-вторых, требуется заявка найденной россыпи по известной форме с записью в книги при полиции, и, наконец, самое главное – позволяется частной золотопромышленности производить разведки и эксплуатацию только золота в россыпях, а не жильного. Конечно, при покупке заявленных приисков первые два правила не имеют значения, но ведь Маркушкина дудка не была нигде заявлена, следовательно, как же мог Гордей Евстратыч узнать о содержавшемся в ней золоте.

– А если возьму свидетельство на разведки золота да потом и заявлю эту шахту? – говорил Гордей Евстратыч, когда был в последний раз у Маркушки.

– Нет… невозможно, – хрипел Маркушка, не поворачивая головы. – Уж тут пронюхают, Гордей Евстратыч, все пронюхают… Только деньги да время задарма изведешь… прожженный народ наши приисковые… чистые варнаки… Сейчас разыщут, чья была шахта допрежь того; выищутся наследники, по судам затаскают… нет, это не годится. Напрасно не затевай разведок, а лучше прямо объявись…

– Да ведь мне не дадут работать жильное золото?

– Ах, какой же ты, право, непонятный… Знамо дело, что не дадут. Я уж тебе говорил, что надо под Шабалина подражать… он тоже на жилке робит, а списывает золото россыпным… Есть тут один анжинер – тебе уж к нему в правую ногу придется…

– Да кто такой?

– А Лапшин, Порфир Порфирыч… ты не гляди на него, что в десять-то лет трезвым часу не бывал, – он все оборудует левой ногой… уж я знаю эту канитель… Эх, как бы я здоров-то был, Гордей Евстратыч, я бы тебя везде провел. Ну, да и без меня пройдешь с золотом-то… только одно помни: ни в чем не перечь этим самым анжинерам, а то, как лягушку, раздавят…

– Не люблю я этих чиновников, Маркушка… Нож они мне вострый!

– Кто их любит, Гордей Евстратыч? Да ежели без них невозможно…

– А я этого Порфира Порфирыча даже очень хорошо знаю. Не один раз у меня в лавке бывал… Все платки кумачные покупал…

– Пьяный?

– Навеселе…

– Ну, обнаковенно. У него зараза: платки девкам в хоровод бросать… Прокурат он, Порфир-то Порфирыч, любит покуражиться; а так – добреющая душа, – хоть выспись на нем… Он помощником левизора считается, а от него все идет по этим приискам… Недаром Шабалин-то льнет к нему… Так уж ты прямо к Порфиру Порфирычу, объявишь, что и как; а он тебя уж

научит всему…

Крепко не хотелось Гордею Евстратычу связываться с крапивным семем, но выбирать было не из чего. Надо было ковать железо, пока оно горячо; а Бог знает, что еще впереди. Бывая в Полдневской, Гордей Евстратыч несколько раз предлагал Маркушке перевести его в Белоглинский завод к себе в дом; но Маркушка ни за что не хотел оставлять своего логовища и не мог даже себе представить, как он умрет не в Полдневской. Делать нечего, пришлось устраивать Маркушку в его теперешнем помещении, что было очень трудно сделать. Балаган Маркушки промерзал со всех четырех углов, в пазы везде дуло, дым ел глаза, и при всем том не было никакой возможности его поправить хотя сколько-нибудь. Для первого раза Гордей Евстратыч устроил Маркушке постель, послал теплое меховое одеяло, белье, разного харчу, сальных свеч и т. д.

– Я тебе доктора пошлю, он тебя вылечит, – несколько раз предлагал Брагин.

– Нет… какой уж тут доктор, – с безнадежной улыбкой говорил Маркушка, делая напрасное усилие улыбнуться. – Ваши доктора только уморят… я у старух пользуюсь…

– Да чем они тебя лечат, старухи-то?

– Средствие такое есть… пью настой из черных тараканов…

Маркушка был фаталист и философ, вероятно, потому, что жизнь его являлась чем-то вроде философского опыта на тему, что выйдет из того, если человека поставить в самые невозможные условия существования. С двенадцати лет Маркушка пил водку и курил табак: каторжная приисковая работа чередовалась с каторжным бездельем. Середины ни в чем не было, и, вероятно, на этом основании Маркушка создал себе ее искусственно в форме водки. Благодаря этому радикальному средству печень Маркушки весила тридцать фунтов, а он чувствовал, что у него в боку лежит точно целый жернов.

– Это от болоней, – объяснил Маркушка со слов пользовавших его старух. – Все ничего, а как болонь в человеке повреждена – тут уж шабаш… Наши полдневские все от болоней умирают.

Гордею Евстратычу приходилось отыскивать инженера Лапшина, который официально жил в Сосногорском заводе, около которого по преимуществу были разбросаны золотые прииски. От Белоглинского завода до Сосногорского считалось верст двести, но «для милого дружка и семь верст не околица». Нечего делать, кое-как управив свои торговые делишки и перехватив на всякий случай деньжонок, Гордей Евстратыч тронулся в путь-дорогу. Осенняя распутица была в самом разгаре, точно природа производила опыты над человеческим терпением: то все подмерзнет денька на два и даже снежком запорошит, то опять такую грязь разведет, что не глядели бы глаза. Уральские дороги вообще не отличаются удобствами, но в распутицу они превращаются в пытку, и преступников вместо каторги можно бы наказывать тем, что заставлять их путешествовать в осеннюю и весеннюю распутицу по Уралу. В Сосногорский завод Брагин приехал на седьмой день, хотя ехал день и ночь; но, на его несчастье, Лапшин только что уехал под Верхотурье ревизовать Перемытые прииски. Передохнул Брагин денек в Сосногорске; дальше проживаться даром было нечего, а домой возвращаться с пустыми руками было совестно, – он решил ехать вслед за Лапшиным, чтобы перехватить его где-нибудь на дороге, благо к Верхотурью было ехать в свою же сторону, хотя и другими дорогами. До Перемытых приисков было верст сто с небольшим; но там Брагин опять не застал Лапшина, который только что укатил обратно, в Сосногорск. Приходилось опять тащиться назад. Терпение Гордея Евстратыча подверглось настоящему испытанию, но он решился добиться своего и поймать Лапшина во что бы то ни стало.

На этот раз Порфир Порфирыч был дома. Он жил в одноэтажном деревянном домишке, который и снаружи и внутри отличался величайшим убожеством, как богадельня или солдатская казарма. В передней денщик чистил сапоги и на вопрос Гордея Евстратыча, можно ли будет видеть барина, молча указал сапожной щеткой на открытую дверь в следующую комнату. Сотворив про себя приличную случаю молитву, Гордей Евстратыч перешагнул порог и очутился в совершенно пустой комнате, в которой, кроме дивана да ломберного стола, решительно ничего не было. На диване в одной рубахе и форменных штанах с голубой прошвой лежал низенького роста господин с одутловатым и прыщеватым лицом, воспаленными слезившимися глазами и великолепным сизым носом. Это и был сам Порфир Порфирыч.

– Порфиру Порфирычу-с… – нерешительно заговорил Брагин, отвешивая купеческий поклон.

– Тэк-с… Порфиру Порфирычу сорок одно с кисточкой, пятиалтынный с дырочкой… Так? Из белоглинских? Так… Помню. Платки еще девкам покупал…

– Точно так-с, Порфир Порфирыч.

– Садись – чего стоять-то? Ноги еще, может, пригодятся… Сенька!

– Сичас, вашескородие… – послышалось из передней.

– Давай стул, че-орт!..

– Сичас, вашескородие…

– Ну, садись не то ко мне на диван, пока там что…

– Ничего-с, постоим-с…

– Да ты садись: знаешь мой характер?

Гордей Евстратыч осторожно присел на самый кончик дивана, в самых ногах у Порфира Порфирыча, от которого так и разило перегорелой водкой. Порфир Порфирыч набил глиняную трубку с длиннейшим чубуком «Жуковым» и исчез на время в клубах дыма.

– Ну что, золото нашел? – заговорил Порфир Порфирыч после небольшой паузы.

– Точно так-с… Есть такой грех.

– Все грешны, да Божьи, и девать нас некуда. Богатое?

– Еще не знаю, Порфир Порфирыч…

– Ой, врешь, по роже твоей вижу, что врешь… Ведь ты обмануть меня хочешь? А потом хвастаться будешь: левизора, дескать, облапошил… Ну, голубчик, распоясывайся, что и как. Я человек простой, рубаха-парень. Семен!

– Сичас, вашескородие…

– Дурак!.. Ну-с, так как это у вас все случилось, расскажите. А предварительно мы для разговору по единой пропустим. У меня уж такое правило, и ты не думай кочевряжиться. Сенька двухголовый! Подать нам графин водки и закусить балычка, или икорки, или рыжичков солененьких…

Семен на этот раз не заставил себя ждать, и на ломберном столе скоро появилась водка в сопровождении куска балыка. Выпили по первой, потом по другой. Гордей Евстратыч рассказал свое дело; Порфир Порфирыч выслушал его и с улыбкой спросил:

– Все?

– Точно так-с, Порфир Порфирыч.

– Своим умом дошел или добрые люди научили всю подноготную выложить?

– Был такой грех, Порфир Порфирыч…

– То-то, был грех. Знаю я вас всех, насквозь знаю! – загремел Порфир Порфирыч, вскакивая с дивана и принимаясь неистово бегать по комнате. – Все вы боитесь меня как огня, потому что я честный человек и взяток не беру… Да! Десять лет выслужил, у другого сундуки ломились бы от денег, а у меня, кроме сизого носа да затвердения печенки, ничего нет… А отчего?.. Вот ты и подумай.

– Уж не оставьте, Порфир Порфирыч. На вас вся надежда, как, значит, вы все можете…

– Женат?

– Вдов.

– Дети есть?

– Два сына женатых, дочь…

– Замужем?

– Нет.

– Молоденькая?

– Заневестилась недавно.

– Хорошенькая?

– Не знаю уж, как кому покажется…

– Ну, отлично. Я люблю молоденьких, которые поласковее… Знаешь по себе, что всякая живая душа калачика хочет!.. Ты хотя и вдовец, а все-таки живой человек…

– Я уж старик, Порфир Порфирыч, у меня и мысли не такие в голове.

– Опять врешь… Знаешь пословицу: стар, да петух, молод, да протух. Вот посмотри на меня… Э! я еще ничего… Хе-хе-хе!.. Да ты вот что, кажется, не пьешь? Не-ет, это дудки… Золота захотел, так сначала учись пить.

– Увольте, Порфир Порфирыч. Ей-богу, больше натура не принимает.

– Враки… Пей!.. Вон Вуколко ваш, так тот сам напрашивается. Ну, так жилку нашел порядочную, Гордей Евстратыч? Отлично… Мы устроим тебя с твоей жилкой в лучшем виде, копай себе на здоровье, если лишние деньги есть.

– Уж как Господь пошлет…

Эта деловая беседа кончилась тем, что после четырех графинчиков Порфир Порфирыч захрапел мертвую на своем диване, а Гордей Евстратыч едва нашел дверь в переднюю, откуда вышел на улицу уже при помощи Семена. Мысли в голове будущего золотопромышленника путались, и он почти не помнил, как добрался до постоялого двора, где всех удивил своим отчаянным видом.

– Ну, я приеду к вам в Белоглинский, – говорил на другой день Лапшин, – тогда все твое дело устрою; а ты, смотри, хорошенько угощай…

На прощанье Порфир Порфирыч опять напоил Гордея Евстратыча до положения риз, так что на этот раз его замертво снесли в экипаж и в таком виде повезли обратно в Белоглинский завод.

VIII

Порфир Порфирыч не заставил себя ждать и по первопутке прикатил в Белоглинский завод. Он, как всегда, остановился у Шабалина и сейчас же послал за Брагиным. Гордей Евстратыч приоделся в свой длинополый сюртук, повязал шею атласной косынкой, надел новенькие козловые сапоги «со скрипом» и в этом старинном костюме отправился в гости, хотя у самого кошки скребли на душе. Он еще не успел забыть своей первой встречи с Порфиром Порфирычем, после которой он домой приехал совсем больной. Татьяна Власьевна видела по лицу сына, что что-то не ладно, но что – он ей не говорил; провожая его теперь в шабалинский дом, она пытливо заглядывала ему в глаза.

– Устрой, Господи, все на пользу!.. – молилась она про себя, высматривая в окно, как повез отца Архип.

Кучер а Брагины не держали, потому что в доме с Зотушкой было четверо мужиков, а езда была невелика: до лавки доехать да иногда в гости. В новом шабалинском доме Гордей Евстратыч еще не бывал и теперь невольно удивлялся необыкновенной роскоши, с которой все было отделано в доме. По мраморной великолепной лестнице, устланной дорогим мягким ковром, он поднялся во второй этаж; у подъезда и в передней двери были дубовые, с тонкой резьбой и ярко горевшими бронзовыми ручками. В передней швейцар, из отставных солдат, помог Гордею Евстратычу снять шубу. Пахло какими-то духами и сигарами; из гостиной доносились громкие голоса и чей-то неистовый хохот. Гордей Евстратыч еще раз приостановился, расправил бороду и вошел в пустой громадный зал, который просто ошеломил его своей обстановкой: зеркала во всю стену, ореховая дорогая мебель с синей бархатной обивкой, такие же драпировки, малахитовые вазы перед окнами, рояль у одной стены, громадная картина в резной черной массивной раме, синие бархатные обои с золотыми разводами, навощенный паркет – все так и запрыгало в глазах у Гордея Евстратыча. Он тяжело перевел дух, прежде чем вошел в красную гостиную, где на диване и около стола разместилась в самых непринужденных позах веселая компания, состоявшая из Порфира Порфирыча, мирового Липачка, станового Плинтусова и самого Вукола Логиныча, одетого в синюю шелковую пару. Центром общества служила любовница Шабалина, экс-арфистка Варвара Тихоновна; это была красивая девушка с смелым лицом и неприятным выражением широкого чувственного рта и выпуклых темных глаз. Только когда она смеялась, показывая два ряда белых зубов, лицо делалось весьма добродушным и необыкновенно симпатичным!

– Наконец-то!.. – закричал Шабалин, поднимаясь навстречу остановившемуся в дверях гостю. – Ну, Гордей Евстратыч, признаюсь, выкинул ты отчаянную штуку… Вот от кого не ожидал-то!

Господа, рекомендую: будущий наш золотопромышленник, Гордей Евстратыч Брагин.

Скуластое красное лицо Шабалина совсем расплылось от улыбки; обхватив гостя за талию, он потащил его к столу. Липачек и Плинтусов загремели стульями, Варвара Тихоновна уставилась на гостя прищуренными глазами, Порфир Порфирыч соскочил с дивана, обнял и даже облобызал его. Все это случилось так вдруг, неожиданно, что Гордей Евстратыч растерялся и совсем не знал, что ему говорить и делать.

– Садись, Гордей Евстратыч, – усаживал гостя Шабалин. – Народ все знакомый, свой… А ты ловко нас всех поддел, ежели разобрать. А? Думал-думал да и надумал… Ну, теперь, брат, признавайся во всех своих прегрешениях! Хорошо, что я не догадался раньше, а то не видать бы тебе твоей жилки как своих ушей.

Порфир Порфирыч был так же хорош, как всегда, и только моргал своими слезившимися глазами; сегодня он был в форменном мундире горного ведомства, но весь мундир был в пуху и покрыт жирными пятнами. Из-за расстегнутого сюртука выглядывала грязная смятая сорочка с золотой запонкой. Липачек, толстый, опухший субъект с сонным взглядом, и Плинтусов, высокий вихлястый армеец с вздернутым носом и какими-то необыкновенными сорочьими глазами, служили естественным продолжением Порфира Порфирыча. Гордей Евстратыч поздоровался со всеми и с Варварой Тихоновной, которая в качестве блудницы и наложницы Шабалина пользовалась в Белоглинском заводе самой незавидной репутацией, но как с ней не поздороваться, когда уж такая компания подошла!

– Вот мы его сейчас же и вспрыснем, господа… – предложил Шабалин, трогая пуговку электрического звонка. – Полдюжины холодненького, – коротко приказал он оторопело вбежавшему лакею во фраке и в белых перчатках.

– Чтобы не рассохся… – прибавил Липачек хриплым, перепитым басом. – Так ведь, Варвара Тихоновна?

– У вас только и на уме что вино, – жеманно отозвалась Варвара Тихоновна, искоса взглядывая на бережно садившегося на бархатный стул Брагина.

На десертном столе, около которого сидела компания, стояли пустые стаканы из-под пунша и какие-то необыкновенные рюмки – точно блюдечки на тонкой высокой ножке, каких Гордей Евстратыч отродясь не видывал. В серебряной корзинке горкой был наложен виноград и дюшесы, в хрустальных вазочках свежая пастила и шоколадные конфеты.

– Вот, господа, человеку счастье прямо с неба свалилось, – докладывал Порфир Порфирыч, указывая дрожавшей от перепоя рукой на Брагина. – Такую россыпь облюбовал, такую…

– Антик с гвоздикой или английский с мылом? – добавил Плинтусов и захохотал каким-то скрипучим смехом, точно кто скреб глиняным черепком у вас в ухе.

– Именно – и с мылом, и с гвоздикой!..

– Вот мы сейчас вспрыснем… – провозгласил Шабалин, направляя лакея с подносом к гостю. – Гордей Евстратыч, пожалуйста.

– Время-то, Вукол Логиныч, как будто не совсем подходящее для выпивки… – нерешительно говорил Брагин, принимая стакан с шампанским. – Не за этим я шел, признаться сказать.

– В чужой монастырь с своим уставом не ходят, – обрезала Варвара Тихоновна. – Я здесь за

игуменью иду, а это братия…

– Что же, дело хорошее… – согласился Гордей Евстратыч, откладывая широкий единоверческий крест, прежде чем выпить бокал.

– Невинно вино, а укоризненно пьянство, Гордей Евстратыч, – заметил Плинтусов и опять захохотал.

«Ну и канпания, – думал Гордей Евстратыч, вытирая губы платком, – только бы пособил Господь подобру-поздорову отсюда выбраться…»

Но выбраться подобру-поздорову из шабалинского дома Гордею Евстратычу не удалось. Сначала все пили шампанское, потом сели играть в стуколку, потом обедали, потом Варвара Тихоновна с гитарой в руках пела цыганские песни, а Липачек и Порфир Порфирыч плясали вприсядку. Все это в голове Брагина под влиянием выпитого вина перемешалось в какой-то один безобразный сон; он видел, как в тумане, ярко-зеленое платье Варвары Тихоновны, сизый нос Порфира Порфирыча и широкую, как подушка, спину плясавшего Липачка. Потом пели песни все, потом играли опять в карты… Гордей Евстратыч тоже пел, и ему делалось очень весело в этой чиновной компании, потому что люди оказались самые простые.

– Уж я тебя произведу… – кричал Порфир Порфирыч, подставляя свой сизый нос к самому лицу Гордея Евстратыча. – Только ты мне никогда не смей перечить ни в чем… Ведь я бы тебя в шею по первому разу прогнал, ежели бы ты, шельма этакая, не рассказал мне всего по чистой совести… Вот за это за самое я тебя и произведу! Будешь помнить Порфира Порфирыча Лапшина, у которого, кроме рубахи да портков, никогда ничего не было… А взятки я брать не беру!.. Натурой еще кое-что принимаю… вон Варвара Тихоновна иногда меня целует, когда Вукола дома нет. Так, Варенька?

– Стала я целовать тебя, – выкрикивала Варвара Тихоновна, мотая осовевшей головой. – Велико кушанье!

– А мы сейчас, господа, поедем кататься, – говорил Шабалин, который держался на ногах крепче всех. – А потом завернем погреться к Гордею Евстратычу… Так, Гордей Евстратыч?

– Обнаковенно, – пролепетал Брагин, плохо понимая, о чем его спрашивали.

К подъезду были поданы две тройки, и вся пьяная компания отправилась на них в брагинский дом. Гордей Евстратыч ехал на своих пошевенках; на свежем воздухе он еще сильнее опьянел и точно весь распустился. Архип никогда еще не видал отца в таком виде и легонько поддерживал его одной рукой.

– Ты… что это меня держишь? – закричал Гордей Евстратыч, едва удерживаясь на месте. – Ра-азе я… пья-ан… а?..

– Я, тятенька, ничего, – оправдывался Архип.

– Ты обманывать меня… а? смеяться… а?.. над отцом смеяться?.. я тебе п-покажу-у!..

Гордей Евстратыч, не помня себя от ярости, ударил Архипа со всего размаха прямо по лицу, так что тот даже вскрикнул от боли и схватился за разбитый нос. Сквозь пальцы закапала кровь, но это еще сильнее рассердило пьяного отца, и он, сбив шапку, принялся таскать Архипа за волосы, сбил его с сиденья и топтал ногами все время, пока испуганная криком и возней лошадь не ударилась запрягом в ворота брагинского дома. Выскочившая на шум Татьяна

Власьевна едва отняла облитого кровью Архипа от расходившегося Гордея Евстратыча; старуха вся тряслась как в лихорадке.

– А ты мне что за указ? – кричал почти не стоявший на ногах Гордей Евстратыч, приступая к матери. – Кто здесь хозяин… а?.. Всех расшибу!..

– Гордей Евстратыч… голубчик… Христос с тобой, опомнись! – умоляла Татьяна Власьевна. – Вон соседи-то все смотрят на нас… Ведь отродясь такого сраму не видывали…

– А мне плевать на всех соседей… к нам сейчас гости едут… Понимаешь: гости!..

Перепуганные невестки смотрели в окно на происходившую во дворе сцену; Дуня тихо плакала. Нюша выскочила было на двор, но Татьяна Власьевна велела ей сидеть на своей половине. На беду, и Михалка не было даже: он сидел сегодня в лавке. Окровавленный, сконфуженный Архип стоял посредине двора и вытирал кровь на лице полой своего полушубка.

– Пойдемте, братец, в горницы, – хлопотал около Гордея Евстратыча выскочивший из флигелька Зотушка, – право, пойдемте…

В этот момент, заливаясь колокольчиками, въехали две тройки с гостями.

– А, спасенная душенька, Татьяна Власьевна! – орал пьяный Шабалин, размахивая своей собольей шапкой. – Принимай гостей, спасенная душа!

– Милости просим, дорогие гости! – низко кланялась Татьяна Власьевна с приветливой улыбкой. – Прошу пожаловать в горницы…

Татьяна Власьевна забежала вперед и спрятала всех женщин на своей половине, а затем встретила гостей с низкими поклонами в сенях. Гости для нее были священны, хотя в душе теперь у нее было совсем не до них; она узнала и Липачка, и Плинтусова, и Порфира Порфирыча, которых встречала иногда у Пятовых.

– Вон мы какие, – лепетал Порфир Порфирыч, бросая шубу во дворе. – Матушка, Татьяна Власьевна, поцелуемся… Голубушка ты моя! Все спасаться к тебе приехали…

– Пожалуйте, Порфир Порфирыч, в горницы-то, – упрашивала Татьяна Власьевна. – Еще грешным делом простудитесь без шубы-то… Милости просим, дорогие гости! Вукол Логиныч, пожалуйте…

– Лезем, лезем, спасенная душа.

Горницы брагинского дома огласились пьяными криками, смехом и неприличными восклицаниями. Татьяна Власьевна хлопотала в кухне с закусками. Нюша совалась с бутылками неоткупоренного вина. Зотушка накрывал в горнице столы и вместе с Маланьей уставлял их снедями и брашно; Дуня вынимала из стеклянного шкафа праздничную чайную посуду. Словом, всем работы было по горло, и брагинский дом теперь походил на муравьиную кучу, которую разворачивают палкой.

– Так вот ты где поживаешь, Гордей Евстратыч! – заплетавшимся языком говорил Порфир Порфирыч. – Ничего, славный домик… Лучше, чем у меня в Сосногорском. Только вот печка очень велика…

– Батюшкова печка, Порфир Порфирыч…

Брагин, взглянув на батюшкову печку, точно пришел в себя и с изумлением посмотрел кругом, на своих гостей, на суетившегося Зотушку, на строго-приветливое лицо маменьки… Что такое? зачем? Правая рука у него ныла до самого плеча, а в голове стояла такая дрянь… Он теперь же припомнил, как он давеча бил Архипа. Ему сделалось гадко и совестно, хотелось выгнать всю эту пьяную ораву из своего дома; но ведь здесь был Порфир Порфирыч, а не уважить Порфира Порфирыча – значит, прощай и жилка. Вот и мамынька ходит с таким покорным убитым лицом… Ведь он давеча обидел ее во дворе, когда кричал на нее и даже топал ногами. У Гордея Евстратыча заскребло на душе от своего собственного безобразия, и он готов был провалиться от стыда; но гости созваны, надо их угощать.

– А где же остальные? – спрашивал Порфир Порфирыч хозяйку.

– Какие остальные? – удивилась Татьяна Власьевна.

– Ну, ведь есть у вас в доме кто-нибудь помоложе тебя, бабушка?..

– Как не быть, ваше высокоблагородие, да только не случилось на этот раз: внучка зубами скудается, а невестки ушли в гости к своим.

– Так-так…

– А у ней все прехорошенькие, – поощрял Шабалин, толкая Порфира Порфирыча локтем. – Особенно внучка Нюша…

– Нюша? Славное имя… Анна Гордеевна, значит, – соображал вслух Лапшин, раскачиваясь из стороны в сторону. – А я побеседовал бы с этой Нюшей, если бы не зубы… Да я, пожалуй, и средство отличное от зубов знаю, бабушка, а?

– Она спит теперь, Порфир Порфирыч, – отделывалась Татьяна Власьевна от хорошего средства. – Вы бы выкушали лучше, Порфир Порфирыч, чем о пустяках-то разговаривать… Вот тут смородинная наливочка, а там на сорока травах…

– Отлично… Только, бабушка, я один не пью.

– Ох, милушка, я ни одна, ни с другими не пью… И прежде была не мастерица, а под старость оно совсем не пригоже. Вон хозяин с тобой выпьет. А меня уволь, Порфир Порфирыч.

– Ага, испугалась, спасенная душа!.. – потешался довольный Лапшин. – А как, бабушка, ты думаешь, попадет из нас кто-нибудь в Царствие Небесное?.. А я тебе прямо скажу: всех нас на одно лыко свяжут да в самое пекло. Вуколку первого, а потом Липачка, Плинтусова… Компания!.. Ох, бабушка, бабушка, бить-то нас некому, по правде сказать!

Началась попойка. Все пили и заставляли пить хозяина. Шабалин специально занялся тем, что спаивал Зотушку, который улыбался блаженной улыбкой и дико вскрикивал:

– В-вукол Л-лог-гиныч… ведь мы с тобой кругом шестнадцать!.. Б-благодет-тель…

– То-то, Зотушка… Мы с тобой заодно. Что ко мне в гости-то не ходишь?

– Старуха не велит… Она тебя крепко не любит, Вукол Логиныч, – шепотом сообщал Зотушка.

– Знаю, знаю… Да я-то не больно ее испугался… Вот мы ее сегодня утешим – будет нас долго помнить! Ха-ха… Мы сегодня второй напой делаем. Вон Гордей-то Евстратыч скоро рога в

землю…

– Братец не могут много принимать этого самого вина, Вукол Логиныч. Они так самую малость церковного иногда испивают, а чтобы настоящим манером – ни боже мой!..

– Нет, это дудки, Зотушка: сказался груздем – полезай в кузов. Захотел золото искать, так уж тут тебе одна дорога… Вона какая нас-то артель: угодники!

Зотушка только покачал своей птичьей головкой от умиления, – он был совсем пьян и точно плыл в каком-то блаженном тумане. Везде было по колено море. Теперь он не боялся больше ни грозной старухи, ни братца. «Наплевать… на все наплевать, – шептал он, делая такое движение руками, точно хотел вспорхнуть со стула. – Золото, жилка… плевать!.. Кругом шестнадцать вышло, вот тебе и жилка… Ха-ха!.. А старуха-то, старуха-то как похаживает!» Закрыв рот ладонью, Зотушка хихикал с злорадством идиота.

Татьяна Власьевна угощала незваных и нежданных гостей, а у самой в горле стояли слезы, точно она потеряла или разбила что-то дорогое, что нельзя было воротить. Этот кутеж походил на поминки, которые справляли о погибшем прошлом. Вон Липачек и Плинтусов орут какую-то безобразную песню, вон Гордей Евстратыч смотрит на них какими-то остановившимися глазами и хлопает одну рюмку за другой. «Господи, да что же это такое?» – думает со страхом Татьяна Власьевна. И у них бывали гости и всучивали напропалую, особенно на Аришиной свадьбе; но такого безобразия не бывало… Вон Липачек снял с себя сюртук и жилет и лег головой на стол, Вуколко щелкает его по носу. А вина, вина сколько вытрескали и еще просят…

– Ты что же это, Гордей Евстратыч, кошачьими-то слезами нас угощаешь? – смеется Шабалин, приглядывая пустые бутылки к свету.

– Мам-мынька… еще… – мычит Гордей Евстратыч, напрасно стараясь подняться со стула.

Старуха послала Архипа за вином к Савиным, а сама все смотрит за своими гостями, и чего-то так боится ее старое семидесятилетнее сердце. Вон и сумерки наступили, и Татьяна Власьевна рада темноте, покрывшей их безобразие от чужих людей. Вон у Пазухиных давеча все к окнам и бросились, как отец-то пригнал от Шабалина… Ох, Господи, Господи! Все видели, решительно все: и как отец Архипа ругал, и как к ней подступал, и как гости на тройках подъехали, и как они в пошевнях головами мотали, точно чумные телята. У старухи сжимается сердце при мысли, что о них другие-то скажут, особливо Савины да Колобовы.

Эти горькие размышления Татьяны Власьевны были прерваны каким-то подозрительным шумом, который донесся из ее половины. Она быстро побежала туда и нашла спрятавшихся женщин в страшном смятении, потому что Порфир Порфирыч, воспользовавшись общей суматохой, незаметно прокрался на женскую половину и начал рекомендоваться дамам с изысканной любезностью. Именно в этот трагический момент он и был накрыт Татьяной Власьевной.

– Ах, матушки вы мои… голубушки… – умильно лепетал Порфир Порфирыч, нетвердой походкой направляясь к Нюше. – У кого зубки болят? У меня есть хорошенькое словечко на запасе… А-ах, красавицы, что это вы от меня горохом рассыпались?

– Порфир Порфирыч, ваше высокоблагородие, – говорила Татьяна Власьевна, схватывая его благородие в тот самый момент, когда он только что хотел обнять Нюшу за талию. – Так нельзя, ваше высокоблагородие… У нас не такие порядки, чтобы чужим мужчинам на девичью половину ходить…

Порфира Порфирыча кое-как выдворили из комнаты, и женщины затворились в ней на ключ. Этот эпизод окончательно расстроил Татьяну Власьевну, и она, забравшись в темный чуланчик, где спал Михалко с женой, горько заплакала. В этом старинном доме не осталось ни одного неприкосновенного уголка, даже ее половина подверглась нашествию пьяного ревизора, у которого бог знает что было на уме. Все снохи еще молодые бабенки, и Нюша еще девчонка девчонкой; а люди разве пожалеют их? О всех наговорят бог знает что, только слушай.

«И все это из-за жилки», – думала Татьяна Власьевна, хватаясь за голову.

Безобразный кутеж в брагинском доме продолжался вплоть до утра, так что Татьяна Власьевна до самого утра не смыкала глаз и все время караулила спавших в ее комнатке трех молодых женщин, которые сначала испугались, а потом точно привыкли к доносившимся из горницы крикам и даже, к немалому удивлению Татьяны Власьевны, пересмеивались между собой.

– А ты, баушка, зачем Порфира Порфирыча прогнала от нас? – приставала Нюша. – Ведь он не съел бы нас, баушка?

– Ежели бы съел – один конец, милушка; а то хуже бывает…

Старуха была так огорчена сегодняшним днем, что даже не могла сердиться на болтовню Нюши, которая забавлялась, как котенок около затопленной печки. Михалко и Архип продежурили всю ночь на кухне в ожидании тятенькиных приказаний. Пьяный Зотушка распевал, приложивши руку к щеке, раскольничий стих:

И-идет ста-арец по-о-о доро-о-оге…
Чер-норизец, по-о-о ши-ро-око-о-ой…
О чем, ста-арче, горько плачешь,
Черно-ризец, возры-да-а-а-ешь?..

Утром, когда прогудел свисток на работу, Шабалин и Плинтусов уехали домой, а Порфир Порфирыч и Липачек остались распростертыми в горницах брагинского домика. Одна нога Липачка покоилась на животе Порфира Порфирыча, а голова последнего упиралась в батюшкову печь. Сам хозяин лежал на полу у себя в горнице и тяжело храпел с налитым опухшим лицом, раскинув руки с напружившимися жилами. Татьяна Власьевна осторожно прокралась в горницы, чтобы посмотреть на гостей, а затем прошла в горницу к «самому» и долго смотрела на спавшего Гордея Евстратыча, а потом подложила ему под голову подушку. В комнатах все было перевернуто вверх дном, валялись пробки, окурки сигар, объедки балыка и т. п.

– Хорошо, мамынька?.. Хи-хи-хи!.. Кругом шестнадцать!

Татьяна Власьевна вздрогнула. Она только теперь заметила скорчившегося в углу Зотушку, который хихикал с каким-то детским всхлипываньем.

– А ты чему обрадовался, дурак? – грозно спросила Татьяна Власьевна, взбешенная этой выходкой.

– Я? Хи-хи-хи!.. Вот она, жилка-то, мамынька!.. Хи-хи-хи!..

– Тьфу, дурак!.. – отплевывалась Татьяна Власьевна.

– Золота захотела… денег… Хи-хи-хи!.. Богатые будем, милый сын Гордей Евстратыч…

Мамынька, рюмочку!..

IX

Дело разработки найденного золота под крылышком Порфира Порфирыча быстро пошло в ход. Гордей Евстратыч и слышать ничего не хотел о том, чтобы отложить открытие прииска до весны. Как только были исполнены необходимые формальности и получены нужные документы, Гордей Евстратыч приступил сейчас же к подготовительным работам. Прииск был назван по речке – Смородинским, или просто Смородинкой. Ставили начерно приисковую контору и теплый корпус для промывки золота; тут же устраивалась дробильная машина с конным приводом, и золотая дудка превращалась в настоящую шахту. Стенки прежней дудки значительно были расширены и выровнены, а потом был спущен лиственный сруб; пустую землю и руду поднимали наверх в громадных бадьях, приводимых в движение конным воротом. Человек пятьдесят рабочих «пробили на жилке» короткий зимний день весь напролет, а Кайло, Лапоть и Потапыч в качестве привилегированных рабочих «налаживали» шахту. Окся, Лапуха и Домашка тоже готовились принять самое деятельное участие в этой работе, когда поспеет теплый корпус, где будут на станках промывать превращенный в дробильне кварц в песок. Полдневские держались наособицу и задавали некоторый тон, потому что как-никак, а жилку открыл ихний же Маркушка и на ихней земле.

Одно было нехорошо на новом прииске: речка Смородинка была очень невелика и притом сильно промерзала, так что в воде предвиделось большое затруднение.

– А ты налаживай прудок скорее, – поучал Маркушка, когда Гордей Евстратыч завертывал к нему. – Ночью-то вода даром уходит, а тут она вся у тебя в прудке, как в чашке… А потом эти все конные приводы беспременно брось, Гордей Евстратыч, а налаживай паровую машину: она тебе и воду будет откачивать из шахты, и руду поднимать, и толочь скварец… не слугу себе поставишь, а угодницу.

Маркушка точно ожил с открытием прииска на Смородинке. Кашель меньше мучил его по ночам, и даже отек начинал сходить, а на лице он почти совсем опал, оставив мешки сухой лоснившейся кожи. Только одно продолжало мучить Маркушку: он никак не мог подняться с своей постели, потому что сейчас же начиналась ломота в пояснице и в ногах. Болезнь крепко держала его на одном месте.

– Кабы мне ноги Господь дал, да я бы на четвереньках на Смородинку уполз, – часто говорил Маркушка, и его тусклые глаза начинали теплиться загоравшимся огнем. – Я и по ночам вижу эту жилку… как срубы спутают, как Кайло с Пестерем забой делают… Ох, хоть бы одним глазком привел Господь взглянуть на Смородинку!..

Мысли и заботы обыденной жизни, а особенно хлопоты с приисковой работой как-то странно были переплетены в голове Маркушки с твердой уверенностью, что он уж больше не жилец. Можно было удивляться тому напряженному вниманию, с которым Маркушка следил за всеми подробностями работы на Смородинском прииске, точно от этого зависела вся его участь. Пестерь и Кайло приходили в лачугу Маркушки каждый день по вечерам и, потягивая свои трубочки перед горевшим на каменке огоньком, рассказывали обо всем, что было сделано на прииске за день, то есть, собственно, говорил один Кайло, а Пестерь только сосал свою трубочку. Этим путем Маркушка знал размеры опускаемого в шахту сруба, место, где ставили теплый корпус, план дробилки, устройство конных приводов и т. д. Эти разговоры точно подливали масла в потухавшую лампу Маркушки и в последний раз освещали ярким лучом его холодевшую душу. Он еще жил, хотя жил слабой, отраженной жизнью, если можно так выразиться – жизнью из вторых рук.

– Ох, дотянуть бы мне только до весны, – иногда говорил Маркушка с странным дрожанием голоса. – Доживу я, Кайло? Как ты думаешь?..

– Может, доживешь, а может, нет, – отвечал Кайло с спокойствием и непроницаемой дальновидностью истинного философа.

– Нет, помрешь, Маркушка, – отрезывал грубо Пестерь.

– Помру?..

– Уж это верно: вчера собака выла ночью, значит чует покойника.

Маркушка задумывался и тяжело вздыхал. Ему хотелось жить, как живут другие, то есть «робить» в шахте, пить, драться с Пестерем, дарить козловые ботинки Лапухе или Оксе, смотря по расположению духа. Приисковые бабы часто проведывали Маркушку и каждый раз успевали у него что-нибудь выпросить, потому что в лачуге Маркушки теперь было всего вдоволь – и одежи всякой, и харчу, даже стояла бутылка с вином. Все это, конечно, привезено было Брагиным, который старался обставить Маркушку со всем возможным комфортом. Когда установился санный путь, в Полдневскую приехала сама Татьяна Власьевна, чтобы окончательно устроить больного Маркушку. Женские руки доделали то, чего не умел устроить Гордей Евстратыч при всем желании угодить больному; женский глаз увидел десятки таких мелочей, какие совсем ускользают от мужчины. На полу была постлана серая кошма, у постели поставлен столик с выдвижным ящиком, в переднем углу, где чернел совсем покрытый сажей образ, затеплилась лампадка, появился самовар и т. д. Маркушка сначала ужасно стеснялся производимыми переменами в его логовище, но потом примирился с ними, потому что так хотела Татьяна Власьевна, а ее слово для больного было законом.

– Только вот эта твоя печь – нож мне вострый, – говорила Татьяна Власьевна, протирая глаза от дыма.

– Это каменка-то?.. Отличная печь, Татьяна Власьевна…

– А копоть?.. И прибирать по-настоящему ничего у тебя нельзя, потому сейчас копоть насядет – и все тут. Вон рубашка на тебе какая грязная, одеяло…

– Ох, голубушка ты моя!..

Сначала Маркушка сильно побаивался строгой старухи, которая двигалась по его лачужке с какой-то необыкновенной важностью и уж совсем не так, как суются по избе оглашенные приисковые бабы. Даже запах росного ладана и восковых свеч, который сопровождал Татьяну Власьевну, – даже этот запах как-то пугал Маркушку, напоминая ему о чем-то великом и неизвестном, что теперь так грозно и неотразимо приближалось к нему. Мысль о будущем начинала точить и грызть Маркушку, как червь.

Татьяна Власьевна заметила на себе болезненно-пристальный взгляд Маркушки и спросила:

– Ты чего это глядишь на меня больно востро?

– Так, родимая моя, так гляжу… Много на моей душе грехов, голубушка…

– Все грешные люди, один Господь без греха.

– Вот умру скоро, Татьяна Власьевна… Тяжело… давит… А ты еще, святая душенька,

ухаживаешь за мной…

– Что ты, Христос с тобой?!. Какие ты слова выговариваешь?

– Душу я загубил… душу человеческую… Он ведь надо мной постоянно стоит. Это он моей души дожидается…

– Перестань болтать-то пустое!.. Не согрешишь – не спасешься!..

Татьяна Власьевна заговорила о силе покаяния и молитвы, которые спасают закоснелых в грехе грешников. Это было чисто раскольничье богословие, исходной точкой которого являлся тезис: «Большой грех прощается скорее малого, потому что человек скорее покается». А потом – что один раскаявшийся грешник всегда милее Господу десятка никогда не согрешивших праведников. Против такой богословской теории был бессилен даже авторитет о. Крискента, который не переваривал крайностей даже в вопросах о спасении души. Этот благочестивый человек видел рай слишком в богословски-отвлеченных формах, тогда как паства тяготела к самым жестоким представлениям, которые были для нее понятнее. Маркушка был слишком реалист, чтобы усвоить себе отвлеченные богословские понятия; между тем он считал себя очень грешным человеком, значит, там, вверху, в надзвездном мире ожидала его карающая беспощадная рука, которая воздает сторицей за все земные неправды. Степенная, душевная речь Татьяны Власьевны затронула в душе этого отчаянного человека неизвестные даже ему самому струны. Ведь с ним никто и никогда не говорил, да он и не в состоянии был слушать такие благочестивые разговоры, потому что представлял собой один сплошной грех. Теперь другое дело, теперь он жадно ловил каждое слово богобоязливой старухи, как умирающий от жажды глотает капли падающего дождя, и под ласковым сочувствующим взглядом другого человека эта ледяная глыба греха подалась… У Маркушки в глазах стояли слезы, когда Татьяна Власьевна кончила ему свое первое утешительное и напутственное слово; он сам не знал, о чем он плакал, но на душе у него точно просветлело. Мрак и сомнения уступили место радостно-светлому чувству.

– А Кайло и Пестерь, если покаются, тоже могут войти в Царство Небесное? – спрашивал Маркушка, чувствовавший себя отделенным от своих друзей целой пропастью.

– И они войдут, если покаются.

Маркушка усомнился, но, взглянув на строгое лицо Татьяны Власьевны, не мог не поверить ей.

– А Лапуха с Оксей?

– Все люди – все человеки…

Душевное просветление Маркушки не в силах было переступить через эту грань: еще допустить в Царство Небесное Кайло и Пестеря, пожалуй, можно, но чтобы впустить туда Оксю с Лапухой… Нет, этого не могло быть! В Маркушке протестовало какое-то физическое чувство против такого применения христианского принципа всепрощения. Он готов был поручиться чем угодно, что Окся и Лапуха не попадут в селения праведных…

После этого первого визита к Маркушке прошло не больше недели, как Татьяна Власьевна отправилась в Полдневскую во второй раз. Обстановка Маркушкиной лачужки не показалась ей теперь такой жалкой, как в первый раз, как и сам больной, который смотрел так спокойно и довольно. Даже дым от Маркушкиной каменки не так ел глаза, как раньше. Татьяна Власьевна с удовольствием видела, что Маркушка заглядывает ей в лицо и ловит каждый ее взгляд. Очевидно, Маркушка был на пути к спасению.

– Лучше тебе? – спрашивала Татьяна Власьевна.

– Лучше, голубушка…

– Вот что, Марк, – заговорила серьезно Татьяна Власьевна, – все я думаю: отчего ты отказал свою жилку Гордею Евстратычу, а не кому другому?.. Разве мало стало народу хоть у нас на Белоглинском заводе или в других прочих местах? Все меня сумление берет… Только ты уж по совести расскажи…

– А что я сказывал Гордею Евстратычу, то и тебе скажу… Больше ничего не знаю. Плохо тогда мне пришлось, больно плохо; а тут Михалко в Полдневскую приехал, ну, ко мне зашел… Думал, думал, чем пропадать жилке задарма – пусть уж ей владеет хоть хороший человек.

– Отчего же ты раньше Гордею Евстратычу о жилке не объявился? Ведь пятнадцать лет, как нашел ее…

– Ах, Татьяна Власьевна, голубушка… ах, какая ты, право! Ну уж и слово сказала… а? Ведь в этом золоте настоящий бес сидит, ей-богу, особливо для бедного человека… Так и я: так думал и этак думал. Даже от этих самых мыслей совсем было уже решился, да еще Господь спас… Смешно и вспомнить… Перво-наперво страх на меня напал, потом стал я ото всех прятаться… мучит ведь оно, золото-то! Думал потом продать жилку кому-нибудь! Кутневы были живы еще, суды завели бы… А когда умерли Кутневы, зачал я ходить по богатым мужикам, которые золотом занимаются: кто десять рублей посулит, кто двадцать, кто просто в шею выгонит… всячины было, родная… Жаль было этакое богачество за четвертной билет губить: ведь тут тыщи… Одно слово – богатство!.. А самому заняться тоже невозможно: первое, нечем мне взяться за работу, а второе… Ох, да что тут говорить, Татьяна Власьевна! Сама, голубушка, знаешь: только пикни бы Маркушка с своей жилкой, его сейчас бы и под лапу сгребли… Маленький человек, еще в остроге бы досыта насиделся! Тот же Порфир Порфирыч али Плинтусов с Шабалиным… Не я первой! Вот я и подыскивал все подходящего человека… Ну, которые получше, не верили мне, а другие просто за страм считали говорить с Маркушкой… Да… Известные ведь мы люди на всю округу!.. Так год за год и тянулось дело, а я поковыривал свою жилку, что-ничто, пока не доковырялся вот до чего… Мудреное это дело, Татьяна Власьевна, золото! Тоже оно к рукам идет, руку знает… Вот я и порешил, чтобы оно досталось Гордею Евстратычу да тебе, чтобы вы грех мой замаливали…

Глаза Маркушки горели лихорадочным огнем, точно он переживал во второй раз свою золотую лихорадку, которая его мучила целых пятнадцать лет. Татьяна Власьевна молчала, потому что ей передавалось взволнованное состояние больного Маркушки: она тоже боялась, с одной стороны, этой жилки, а с другой – не могла оторваться от нее. Теперь уж жилка начинала владеть ее мыслями и желаниями, и с каждым часом эта власть делалась сильнее.

Захватывающее влияние золота уже успело отразиться на всей брагинской семье. Первое появление Порфира Порфирыча с компанией в этом доме было для всех истинным наказанием; а когда Гордей Евстратыч проспался на другой день – он не знал, как глаза показать. Второе нашествие Порфира Порфирыча уже не показалось никому таким диким, и Татьяна Власьевна первая нашла, что он хотя пьяница и любит покуражиться, но в душе добрый человек. В сущности, это последнее заключение двоилось, потому что Татьяна Власьевна как-то инстинктивно боялась Порфира Порфирыча, в чем не хотела сознаться даже самой себе.

– Велико кушанье… – говорила она даже вслух. – Уж Липачка и Плинтусова не боюсь, а Порфира Порфирыча и подавно… Ну не даст золото мыть – проживем и без золота, как раньше жили.

Но этот страх пред ревизором был каплей, которая тонула в море других ощущений, мыслей и чувств. Пока в брагинской семье переживалось напряженное состояние, было промыто официальное первое золото. Жилка оказалась чрезвычайно богатой, потому что на сто пудов падало целых тридцать золотников, тогда как считается выгодным разрабатывать коренное золото при пятидесяти – шестидесяти долях, а в Америке находят возможным эксплуатировать даже пятидолевое содержание. Одним словом, результат получился блестящий, точно награда за все пережитые брагинской семьей треволнения.

– Теперь Михалка и Архипа посадим на прииск, мамынька, – решил Гордей Евстратыч, пересыпая в бумажке золотой песочек.

– А в лавке кто будет сидеть?

– Пусть Ариша с Дуней сидят…

– Молоды они, Гордей Евстратыч. Пожалуй, не управятся…

– Тогда лавку закроем… А мне без ребят одному на прииске не разорваться. Надо смотреть за всеми: того гляди, золото-то рабочие растащат…

Все это было, конечно, справедливо… но закрыть батюшкову торговлю панским товаром Гордей Евстратыч никогда не решился бы, а говорил все это только для того, чтобы заставить мамыньку убедиться в невозможности другого образа действия. А Татьяне Власьевне крепко не по душе это пришлось, потому что от нужды отчего же и женщин не посадить в лавке, особливо когда несчастный случай какой подвернется в семье; а теперь дело совсем другое: раньше небогато жили, да снохи дома сидели, а теперь с богатой жилкой вдруг снох посадить в лавку… Это было противоречие, с которым Татьяна Власьевна никак не могла примириться теоретически, хотя практически видела его полную неизбежность.

– Можно бы приказчика в лавку посадить, Гордей Евстратыч, – пробовала она замолвить словечко, хотя сейчас же убедилась в его полной несостоятельности.

– Нет, уж этому не бывать, мамынька! – решительно заявил Гордей Евстратыч. – Потому как нам приказчик совсем не подходящее дело; день он в лавке, а ночью куда мы его денем? То-то вот и есть… Мужики все на прииске, а дома снохи молодые, дочь на возрасте.

– Чтой-то уж! Гордей Евстратыч, какие ты речи говоришь… А я-то на что?..

– А я не к тому речь веду, что опасаюсь сам, – нет, разговоров, мамынька, много лишних пойдет. Теперь и без того все про нас в трубу трубят, а тут и не оберешься разговору…

Перед Рождеством Гордей Евстратыч сдал первое золото в Екатеринбурге и получил за него около шести тысяч, – это был целый капитал, хотя, собственно, первоначальные расходы на прииске были вдвое больше. Но ведь это был только первый месяц, а затем пойдет чистый доход. Чтобы начать дело, Гордею Евстратычу пришлось затратить не только весь свой наличный капитал, но и перехватить деньжонок у Пятова Нила Поликарпыча. К своим родным, Савиным и Колобовым, Гордей Евстратыч ни за что не хотел обращаться, несмотря на советы Татьяны Власьевны; вообще им овладел какой-то бес гордости по отношению к родным. Раньше не хотел посоветоваться с ними насчет жилки, а теперь пошел за деньгами к Пятову. Вместе с тем Татьяна Власьевна заметила, что Гордей Евстратыч ужасно стал рассчитывать каждую копейку, чего раньше не было за ним, особенно когда расходы шли в дом.

– Мне паровую машину ставить надо к весне, – говорил он, оправдываясь. – Да и Ирбитская

ярмарка на носу, надо товар добыть, а деньги все в прииск усажены.

Конечно, это были только временные стеснения, которые пройдут в течение первых же месяцев.

Первые дикие деньги породили в брагинской семье и первую семейную ссору, хотя она и была самая небольшая. Когда Гордей Евстратыч ездил сдавать золото, он привез обеим снохам по подарку. Обыкновенно такие подарки делались всегда одинаковые, а тут Гордея Евстратыча точно бес толкнул под руку купить разные: Арише серьги, Дуне брошку. Вот эта-то брошка и послужила яблоком раздора, потому что Арише показалось, что свекор больше любит Дуню и привез ей лучше подарок. Сначала Ариша надулась и замолчала, а потом принялась плакать в своей каморке, пока это горе не перешло в открытую ссору с Дуней. Невестки перессорились между собой, перессорили мужей и довели дело до Гордея Евстратыча. Суд и решение были самого короткого свойства.

– Не умели носить моих подарков, так пусть они у меня полежат, пока вы будете умнее, – решил Гордей Евстратыч, запирая и брошку, и серьги к себе в шкатулку.

Невестки жили раньше душа в душу, но тут даже суровое решение Гордея Евстратыча и все увещания Татьяны Власьевны не могли их примирить. Если бы еще дело было важное, тогда примирение не замедлило бы, вероятно, состояться, но известно, что пустяков люди не забывают и не прощают друг другу…

X

Отец Крискент был «удивлен»… Именно когда он распечатал братскую кружку, там оказалась туго сложенная и завязанная сторублевая бумажка, в других кружках тоже, а в той, которая специально служила для сборов на построение храма, лежало целых пять сложенных бумажек. Одним словом, в течение всего «прохождения церковной службы» о. Крискентом это был первый пример такой щедрости доброхотного дателя, пожелавшего остаться неизвестным. Ясное дело, что о. Крискенту стоило только кое-что припомнить, чтобы узнать сейчас неизвестного дателя, которым, конечно, был не кто иной, как Гордей Евстратыч.

– Доброе дело, доброе дело… – говорил о. Крискент и сейчас же прибавил: – Воздадите Божие Богови, а кесарево кесарю. Непременно нужно будет Брагина в церковные старосты выбрать, а то Нилу Поликарпычу трудно справляться.

Об этих крупных пожертвованиях вечером же знал весь Белоглинский завод, и все хвалили благое начинание и ревность Гордея Евстратыча. А к этому присоединились другие известия: одной старушке ночью в окно чья-то рука подала десять рублей, трем бедным семьям та же рука дала по пяти, и т. д. Милостыня была вполне тайная, хотя никакая тайна не остается тайной. Скоро молва разнесла самые точные подробности о положении дел у Брагиных, причем количество золота росло по часам, а вместе с ним росли и брагинские тысячи.

Нужно ли говорить о том, что эти слухи и самые верные известия, вместе с количеством добытого Брагиным золота, поднимали и зависть к их неожиданному богатству. Последнее чувство росло и увеличивалось, как катившийся под гору ком снега, так что люди самые близкие к этой семье начали теперь относиться к ней как-то подозрительно, хотя к этому не было подано ни малейшего повода. Савины и Колобовы были обижены тем, что Гордей Евстратыч возгордился и не только не хотел посоветоваться с ними о таком важном деле, а даже за деньгами пошел к Пятову. Уж кому бы ближе, как не им, покучиться с деньгами, ведь не чужие, слава Богу…

– Ну, ежели он не хочет, так Бог с ним, – говорил старик Колобов, когда сидел у Пятовых. – Погордиться захотел перед роденькой-то.

Ссора брагинских невесток подлила масла в огонь: теперь Колобовы и Савины не только надулись на всю брагинскую семью, но разошлись и между собой. Брагинское золото достало и их… Даже потайная милостыня была выставлена в самом непривлекательном свете, как ловкая штука Татьяны Власьевны. Без сомнения, Гордей Евстратыч действовал по ее наущению во всем: вот тебе и спасенная душа!.. Против Брагиных из прежних знакомых не были восстановлены только Пятовы и Пазухины, но, может быть, это была простая случайность, как многое другое на свете: стоило бросить малейший повод – и Пазухины и Пятовы точно так же восстали бы против Брагиных.

А золото шло все богаче и богаче… Жилка дала побочную веточку, на которой заложили другую шахту. Особенно богато золото шло в тех местах, где «жилка выклинивалась», то есть сходилось в один узел несколько ветвей. Теперь на Смородинке работало больше ста человек. Гордей Евстратыч во второй раз свез добытое золото и привез с собой больше десяти тысяч. Работы были приостановлены только наступившими праздниками, а затем снова были открыты на третий день Рождества. Несмотря на самое блестящее положение дел, Святки в брагинском доме прошли скучнее обыкновенного, потому что Савины и Колобовы даже не заглянули к Брагиным. Невестки ходили с опухшими красными глазами. Татьяна Власьевна тяжело вздохнула, и даже беззаботная Нюша приуныла; один Гордей Евстратыч точно ничего не видел и не слышал, что делалось кругом: он точно прирос к своему прииску и ни о чем больше не мог думать.

– Ну и пусть дуются, – говорил он матери, – я им ничего не сделал…

– Я тебе говорила тогда, милушка… – пробовала уговаривать Татьяна Власьевна. – Вон они и обиделись!

– Мне наплевать на них!.. И без них проживем.

– Ох, не гордись, не гордись, милушка. Гордым Господь противится…

– Что же, по-твоему, мне самому идти да кланяться им?.. Жирно будет, – пожалуй, подавятся.

Дело было дрянь, как его ни поверни, и Татьяна Власьевна напрасно ломала свою голову, чтобы выйти из затруднения, то есть помириться с родней, не умаляя своей чести. «Ведь вины-то нет никакой, – раздумывала она про себя. – Гордей-то и прав выходит: на духу покаяться не в чем. Что мы им сделали? Взять хоть Савиных, хоть Колобовых…» Нужно в этом отдать полную справедливость гению Марфы Петровны, которая с необыкновенным искусством умела «подпустить беска» везде и теперь «переплескивала» самые невероятные известия от Брагиных к Колобовым и Савиным и наоборот. Ослепление сторон дошло до того, что они, зная много лет Марфу Петровну как завзятую сплетницу, сделали ее теперь своей поверенной. В результате получилось такое положение дел, что о примирении не могло быть и речи. Марфа Петровна торжествовала, сама не отдавая себе отчета в своих поступках. Особенно ловко она сумела поссорить между собой старуху Савиху с безобидной Агнеей Герасимовной Колобовой. Старухи жили душа в душу целый век, а тут чуть не разодрались из-за пустяков, – это было настоящее похмелье в чужом пиру. Даже Татьяна Власьевна поддалась хитросплетенным наветам Марфы Петровны и наконец убедилась, что Савины и Колобовы виноваты во всем.

– А старухи-то, старухи – настоящие злыдни, так и шипят! – подсказывала Марфа Петровна. – Вишь, им поперек горла стало ваше-то золото… Зависть одолела!

– Чтой-то, Марфушка, и люди за такие ноне пошли? – с тоской спрашивала Татьяна Власьевна.

– Ох, и не говори, Татьяна Власьевна… Не кормя, не поя, ворога не наживешь, голубушка!..

– А ведь ты верно сказала, Марфуша. Жили мы, никому не мешали и теперь не мешаем, а тут на-кася, какая притча стряслась! С чужими-то завсегда легче жить, чем со своими.

– Так, Татьяна Власьевна… С чужими делить нечего – вот и мир да гладь да Божья благодать.

Всех чаще теперь бывали в брагинском доме Пятовы, то есть Нил Поликарпыч и Феня. Сам Пятов, высокий, тощий брюнет с лысой головой, отличался своей молчаливостью и необыкновенным пристрастием к разным домашним средствам: он всегда считал себя чем-нибудь больным и вечно лечился разными настоями и необыкновенно мудреными мазями. Все это составлялось по самым таинственным рецептам, и каждое средство помогало по крайней мере сотне людей, хотя Нилу Поликарповичу не делалось легче, и он с новым терпением изыскивал что-нибудь неиспробованное. Овдовев в молодых годах, он теперь находился на полном попечении дочери, которая не чувствовала никакого расположения к лекарствам и лечению. Единственная дочь, избалованная с детства, Феня не знала запрета ни в чем и делала все, что хотела. Бойкая и красивая, с светло-русой головкой и могучей грудью, эта девушка изнывала под напором жизненных сил, она дурачилась и бесилась, как говорила Татьяна Власьевна, не зная устали, хотя сердце у ней было доброе и отходчивое. У Пятова был еще сын Володька, но тот сбился давно с панталыку и теперь жил где-то на приисках, подальше от родительских глаз. Феня и Нюша росли вместе и были почти погодки; они подходили и по характеру друг к другу, и по тому, что выросли без матери. Феня рассказывала бесконечную историю о своих женихах, которые являлись с самыми фантастическими достоинствами, как мифологические божества.

– Уж не стала бы я по-твоему возиться с каким-нибудь Алешкой Пазухиным! – не раз говорила Феня, встряхивая своей желтой косой. – Нечего сказать, не нашла хуже-то!..

– Он славный, Феня…

– Славный, славный… Нечего сказать, нашла славного, шагу не умеет ступить.

– Да мне с ним не танцевать.

– Танцевать не танцевать, а в люди показаться совестно. Такие у попов страшные бывают… Славный!.. Я ему вот когда-нибудь так в шею накладу, – вот тебе и славный!

– Я и сама так думала, только мне его жаль, Феня, так жаль… Я тебе не умею сказать, как жаль! Недавно они у нас все в гостях были… Ну, сидели, чай пили, а когда пошли домой, Алешка и говорит мне: «Прощайте, Анна Гордеевна…» А сам так на меня смотрит, жалостливо смотрит. «Что, – говорю я ему, – умирать, что ли, собрался?» – «Нет, – говорит, – а около того… Теперь, – говорит, – вы стали богатые; а пеший конному не товарищ». Вот этим он меня и зарезал… Стою я да смотрю на него, как дура какая, а потом как поцелую его… Так и сказала прямо, что либо за него, либо ни за кого!

– Ого!.. Так вы вот как?!. Ну, это все пустяки. Я первая тебя не отдам за Алешку – и все тут… Выдумала! Мало ли этаких пестерей на белом свете найдется, всех не пережалеешь… Погоди, вот ужо налетит ясный сокол и прогонит твою мокрую ворону.

– Нет, Феня… я уже сказала и от своего слова не отопрусь.

– Ну-ну… Девичья память короткая: до порога!

Эти речи сильно смущали Нюшу, но она скоро одумывалась, когда Феня уходила. Именно теперь, когда возможность разлуки с Алешкой являлась более чем вероятной, она почувствовала со всей силой, как любила этого простого, хорошего парня, который в ней души не чаял. Она ничего лучшего не желала и была счастлива своим решением.

В общей сумятице, поднятой брагинской жилкой, чистой от всяких расчетов и соображений корыстного характера оставалась пока одна Нюша, что и проявлялось в ее отношениях к Алеше. Девушка любила нетронутым молодым чувством, без всякой задней мысли, и новая обстановка, ломавшая старые батюшкины устои, еще не коснулась ее. Пелагея Миневна наблюдала Нюшу и с радостью замечала, что эта девушка остается прежней Нюшей, только бы Господь пособил пристроить ее за Алешку. Расчетливая старушка хорошо понимала, что такого важного дела отнюдь не следует откладывать в долгий ящик: обстоятельства быстро менялись, а с ними могли измениться и намерения большаков Брагиных относительно судьбы Нюши. Пелагея Миневна и Марфа Петровна были уверены, что Брагины отдадут Нюшу за Алешу, потому что она одна у них, пожалеют отдать куда-нибудь далеко, а тут рукой подать, всего через дорогу перейти. Притом Алеша парень смиренный, работящий, и семья у них маленькая; ну и достатков хватит на их-то век. Сама Татьяна Власьевна давала понять несколько раз, что она с удовольствием отдаст Нюшу за Алешу; а если Татьяна Власьевна этого хотела, то Гордей Евстратыч и подавно.

Пелагея Миневна целые Святки все выбирала удобный случай, чтобы еще поговорить по душе с Татьяной Власьевной; а там, заведенным порядком, и сватов можно было заслать. Но время для такого разговора все как-то не выдавалось: то гости у Брагиных, то что. Только этак накануне Нового года Пелагея Миневна собралась-таки к Брагиным. Надела старинный шелковый сарафан, по зеленому полю с алой травкой, подпоясалась старинным плетеным шелковым поясом, на голову надела расшитую золотом сороку и в таком виде, положив установленный начал перед дедовским образом, отправилась в брагинский дом.

– У них теперь никого и дома-то нет, кроме старухи, – говорила провожавшая ее Марфа Петровна. – Мужики на Смородинке, Дуня в лавке, Нюша у Пятовых, надо полагать… В добрый час, Пелагея Миневна!.. Господи благослови!..

Торжественный вид, с которым вошла Пелагея Миневна на половину Татьяны Власьевны, даже немного испугал последнюю: она по глазам видела, зачем пришла Пелагея Миневна. Усадив гостью и заказав Маланье самовар, Татьяна Власьевна принялась беседовать о том и о сем, точно не понимала, зачем явилась гостья. Покалякали бабьим делом, посудачили, поперемывали косточки, кто подвернулся под руку, а сами все ни с места. Пелагея Миневна выпила две чашки чаю, похвалила стряпню Маланьи и вообще довольно тонко польстила хозяйке.

– Какая наша стряпня, Пелагея Миневна, – скромничала довольная Татьяна Власьевна. – Маланья стара стала да упряма, все поперек хочет делать.

– Что вы это говорите, Татьяна Власьевна?.. У вас теперь и замениться есть кем: две снохи в доме… Мастерицы-бабочки, не откуда-нибудь взяты! Особенно Ариша-то… Ведь Агнея Герасимовна первая у нас затейница по всему Белоглинскому, ежели разобрать. Против нее разе только у вас состряпают, а в других прочих домах далеко не вплоть.

Татьяна Власьевна промолчала. Гостья задела неловко наболевшее место о недавней ссоре с Савиными и Колобовыми.

– Ах, голубушка Татьяна Власьевна, а вот мне так и замениться-то некем… – перешла в минорный тон Пелагея Миневна, делая то, что в периодах называется понижением. – Плохая стала, Татьяна Власьевна, здоровьем сильно скудаюсь, особливо к погоде… Поясницу так ломит другой раз – страсти!.. А дочерей не догадалась наростить, вот теперь и майся на старости лет…

Это в диалектическом отношении был очень ловкий приступ, и Татьяне Власьевне стоило только сказать, что, мол, «Пелагея Миневна, вашему горю и помочь можно: сын на возрасте, жените – и заменушку в дом приведете…». Но важеватая старуха, конечно, ничего подобного не высказала, потому что это было неприлично, – с какой стати она сама стала бы навязываться Пазухиным?..

– А Марфа Петровна? – уклончиво спросила Татьяна Власьевна. – Кабы у меня были такие золотые руки, да я бы, кажется, еще сто лет прожила…

– Это вы справедливо, Татьяна Власьевна… Точно, что наша Марфа Петровна целый дом ведет, только ведь все-таки она чужой человек, ежели разобрать. Уж ей не укажи ни в чем, а Боже упаси, ежели поперешное слово сказать. Склалась, только ее и видел. К тем же Шабалиным уйдет, ей везде дорога.

– Что говорить, что говорить!.. – покачивая головой, согласилась Татьяна Власьевна. – Тоже вот и язычок у Марфы-то Петровны…

– Ох, и не говорите, Татьяна Власьевна! Стыдно сказать, а грех утаить: плачу я от ее языка, слезно плачу… Конечно, про себя перенесешь – и молчок, не в люди же нести свою сухоту. Донимает она меня этим своим язычком, так донимает… А я сама-то стара становлюсь, ну и терпишь.

Гостья так расчувствовалась, что даже вытерла глаза уголком своего кисейного передника, подвязанного, конечно, под самые мышки. Старушки еще побеседовали, а потом Пелагея Миневна начала прощаться.

– Заболталась я у вас, Татьяна Власьевна… Извините уж на нашей простоте! К нам-то когда вы пожалуете?

– А вот соберемся как-нибудь… Спасибо, что нас грешных не забываете, Пелагея Миневна. Нынче как-то и не применишься к людям… Гордость всех одолела…

Пелагея Миневна, накидывая в передней платок на голову, с соболезнованием покачала только головой: очевидно, Татьяна Власьевна намекала на недоразумения с Савиными и Колобовыми. Накидывая на плечи свою беличью шубейку, Пелагея Миневна чувствовала, как все у нее внутри точно похолодело, – наступил самый критический момент… Скажет что-нибудь Татьяна Власьевна или не скажет? Когда гостья уже направилась к порогу, Татьяна Власьевна остановила ее вопросом:

– А где у вас Алексей-то Силыч? Что-то ровно его не видать…

– Да при лавке больше, Татьяна Власьевна. Он ведь домосед у нас, сами знаете, не любит больно-то расхаживать.

– Смиренный парень, что говорить… Надо вам за него Бога молить, Пелагея Миневна. Этаких-то кротких да послушных по нынешним временам надо с огнем поискать!..

Этого было совершенно достаточно… Татьяна Власьевна сама вызывала на сватовство последним отзывом, и Пелагея Миневна вышла в сени в радостном волнении, от которого у ней кружилась голова. «Устрой, Господи, все на пользу!» – шептала она про себя, спускаясь по лесенке во двор. Пелагея Миневна в своем радужном настроении дошла до самых ворот и только хотела взяться за кольцо калитки, как она растворилась сама, а в калитке показалась женская высокая фигура в двух шубах с наглухо завернутой головой в несколько шалей.

– Алена Евстратьевна!.. – проговорила Пелагея Миневна, пристально вглядываясь в стоявшую неподвижно женскую фигуру. – Откуда Бог несет?

– Из Верхотурья приехала, – как-то нехотя ответила Алена Евстратьевна, оглядывая Пелагею Миневну с ног до головы.

– Аль не узнали меня-то?

– Что-то как будто запамятовала…

– Пазухиных-то, может, еще не забыла, Алена Евстратьевна? Суседи в прежнее время были с вами…

– Да-да… помню.

Алена Евстратьевна даже не подала руки Пелагее Миневне, а только сухо ей поклонилась, как настоящая заправская барыня. Эта встреча разом разбила розовое настроение Пелагеи Миневны, у которой точно что оборвалось внутри… Гордячка была эта Алена Евстратьевна, и никто ее не любил, даже Татьяна Власьевна. Теперь Пелагея Миневна постояла-постояла, посмотрела, как въезжали во двор лошади, на которых приехала Алена Евстратьевна, а потом уныло поплелась домой.

«И принесло же ее ни раньше ни после… – сердито думала Пазухина, подходя к своему дому. – Пожалуй, все наше дело испортит. Придется погодить, видно, как она в свое Верхотурье уберется…»

Марфа Петровна видела, как приехала Алена Евстратьевна, и все поняла без объяснений: случай вышел не в руку; ну да все под Богом ходим, не век же будет жить в Белоглинском эта гордячка.

Появление Алены Евстратьевны произвело в брагинском доме настоящий переворот, хотя там ее никто особенно не жаловал. Раньше она редко приезжала в гости и оставалась всего дня на два, на три; но на этот раз по всем признакам готовилась прогостить вплоть до последнего санного пути.

– На наше золото прилетели, Алена Евстратьевна? – язвительно спрашивал Зотушка, кутивший все праздники.

– Какое золото? – удивилась Алена Евстратьевна.

– Отец-то разве не описывал тебе ничего? – спрашивала Татьяна Власьевна: она называла Гордея отцом, как большака в семье.

– Ничего мы не получали. А я прихворнула перед Рождеством-то, а то бы раньше приехала…

«Врет, все врет наша Аленушка… – думал пьяный Зотушка, улыбаясь хитрой улыбкой. – На

жилку ворона прилетела, только не даром ли крыльями, милая, махала?..»

Алене Евстратьевне было за сорок; это была полная, высокая женщина, с красивым лицом, на котором тенью лежало что-то фальшивое и хитрое. Серые большие глаза Алены Евстратьевны смотрели прямо и нахально, особенно когда она улыбалась. Одевалась она всегда по моде, то есть носила платья, шляпки, воротнички, корсет и т. д. Муж Алены Евстратьевны хотя и занимался подрядами и числился во второй гильдии, но, попав в земские гласные, перевел себя совсем на господскую руку, то есть он в этом случае, как миллионы других мужей, только плясал под дудку своей жены, которая всегда была записной модницей.

Алена Евстратьевна до страсти любила распоряжаться и совать свой нос решительно везде; потому, едва успев переодеться с дороги, она начала производить строгую ревизию по всему дому, причем находила все не так, как тому следовало бы быть. Особенно досталось от нее невесткам; Алена Евстратьевна умела подносить самые горькие пилюли с ласковой улыбкой. Нюша попробовала было вступить с тетушкой зуб за зуб, но была разбита и уничтожена. В каких-нибудь три дня гостья овладела всем домом и распоряжалась в нем, как победитель в завоеванной провинции. Даже сам Гордей Евстратыч, недолюбливавший сестричку за ее характер, теперь как-то совсем поддался ей и даже заметно ухаживал за ней. Татьяна Власьевна удивлялась такой перемене и в то же время сама начала относиться к нелюбимой дочери с бóльшим уважением и даже раза два советовалась с ней.

– Как это вы живете, Гордей Евстратыч? – говорила Алена Евстратьевна. – Разве это порядок в доме? Точно какие-нибудь прасолы… Всякий, как в комнаты зашел, сейчас и видит вашу необразованность!

– Ладно нам, Алена Евстратьевна… Куда уж нам за богатыми гоняться! – ответил Гордей Евстратыч. – Век прожили не хуже других…

– Вам-то хорошо так говорить, а дети как? Тоже в необразованности хотите оставить, на посмеяние всем?.. Или взять Нюшу теперь… Девушка невеста, а порядочному жениху стыдно в дом приехать… Это какая-то лачуга, а не дом. Вон Вукол Логиныч устроил себе домик, так хоть кого не стыдно в нем принять. Взять эти ваши сарафаны… Кроме Белоглинского завода, во всем свете больше не увидишь, чтобы девушки или молодые женщины в сарафанах ходили… Взять хоть наше Верхотурье… Нет, братец, по вашим теперешним достаткам так жить невозможно! Уж вы как там хотите с маменькой, а только это не порядок в доме… Спросите у кого угодно, как по другим-прочим местам богатые люди живут.

Гордей Евстратыч для видимости противоречил, но внутренно был совершенно согласен с сестрой: так жить дальше было невозможно, совестно, взять хоть супротив того же Вукола Логиныча. У того вон как все устроено в дому, вроде как в церкви.

– Вон у нас какая печка безобразная стоит, Гордей Евстратыч, – не унималась Алена Евстратьевна. – Весь дом портит…

– Ну уж это ты напрасно… Печку не уберу! Лучше другой дом выстрою. Дай срок, вот золота летом намоем, тогда такую музыку заведем…

– В том-то и дело, Гордей Евстратыч, чтобы от других не отстать… А то совестно к вам приехать!.. И компания у вас тоже самая неподходящая: какие-то Пазухины… Вы должны себя теперь очень соблюдать, чтобы перед другими было не совестно. Хорошему человеку к вам и в гости прийти неловко… Изволь тут разговаривать с какой-то Пелагеей Миневной да Марфой Петровной. Это непорядок в доме…

– А я печку не буду ломать, – продолжал Гордей Евстратыч, отвечая самому себе, – вот полы перестлать или потолки раскрасить – это можно. Там из мебели что поправить, насчет ковров – это все сделаем не хуже других… А по осени можно будет и дом заложить по всей форме.

Одним словом, Алена Евстратьевна пошла кутить и мутить, точно ее бес подмывал. Большаки слушали ее потому, что боялись, как бы не отстать от других; молодые хоть и недолюбливали ее, но тоже слушали, потому что Алена Евстратьевна была записная модница и всегда ходила в платьях и шляпках.

А на Смородинке золото так и лезло из земли – что неделя, то и два да три фунта. После Крещенья Гордей Евстратыч еще сгонял в город и еще сдал золота. А Алена Евстратьевна живет себе да поживает у милого братца и, видимо, желания никакого не имеет убраться в свое Верхотурье. Двенадцатого января Татьяна Власьевна была именинница. Этот день праздновался в брагинском доме очень скромно и по-старинному: накануне о. Крискент служил всенощную, утром женщины шли в церковь к обедне, потом к чаю собирались кой-кто из знакомых старушек, съедали именинный пирог, и тем все дело кончалось. И на этот раз все устроилось так же. Только после обедни не пришли ни от Савиных, ни от Колобовых, что очень огорчило Татьяну Власьевну; из посторонних были только Пелагея Миневна с Марфой Петровной да еще стрекоза Феня. Мужчины хотели приехать с прииска только к вечеру, потому работа не ждала. Прибрел еще о. Крискент в своей фиолетовой ряске. За чаем сидели и калякали о разных разностях, главным образом за всех говорила модная Алена Евстратьевна, которая распространялась все насчет настоящих порядков в доме. Отец Крискент благочестиво соглашался, склонял головку набок и шептал: «Да, да!»

– Баушка, ведь это к нам! – крикнула Нюша, бросаясь к окну.

К воротам брагинского дома лихо подкатили лакированные сани станового, заложенные парой наотлет; в них с Плинтусовым сидел мировой Липачек.

– Видно, к Гордею Евстратычу, – сообразила Татьяна Власьевна.

Все женщины поспешили перебраться из парадных комнат на половину Татьяны Власьевны; остались на своих местах только о. Крискент да Алена Евстратьевна.

– Милости просим, милости просим. Только вот Гордея Евстратыча нет дома: еще не приехал с прииска…

– А мы не к нему, а к вам, Татьяна Власьевна, – говорил Плинтусов, щелкая каблуками. – Нарочно приехали поздравить вас с днем вашего тезоименитства.

Плинтусов фатовато прищурил свои сорочьи глаза и еще раз щелкнул каблуками; Липачек повторил то же самое. Татьяна Власьевна была приятно изумлена этой неожиданностью и не знала, как и чем ей принять дорогих гостей. На этот раз Алена Евстратьевна выручила ее, потому что сумела занять гостей образованным разговором, пока готовилась закуска и раскупоривались бутылки.

«И меня, старуху, вспомнили», – думала Татьяна Власьевна, польщенная этим вниманием.

– Мы еще третьего дня сговорились ехать к вам вместе, – докладывал Плинтусов, выплескивая в свою пасть первую рюмку.

– Как же это вы так надумали?.. Напрасно только себя беспокоили, – точно оправдывалась Татьяна Власьевна. – Мы маленькие люди…

– Ах, маменька, какие вы, право, – жеманно возражала Алена Евстратьевна, совсем сконфуженная незнанием Татьяны Власьевны светских приличий. – Это везде так принято в порядочном обществе…

Плинтусов и Липачек не успели выпить по второй рюмке, как подкатил на своем сером Шабалин, а вслед за ним Пятов. Словом, гостей набрался полон дом.

– Вот мы и поздравим старушку соборне, – кричал Вукол Логиныч, хлопая Татьяну Власьевну по плечу. – Так ведь, отец Крискент?.. Я хоть и не вашей веры, а выпить вместе не прочь…

Все наперерыв старались выразить свое уважение не только Татьяне Власьевне, но и Алене Евстратьевне. Даже неразговорчивый Липачек и тот повторял каждое слово Плинтусова.

– Ведь их надо будет оставить обедать, – соображала Татьяна Власьевна, считая гостей по пальцам. – Ох, горе мое, а у нас и стряпни никакой не заведено!..

Но Алена Евстратьевна успокоила маменьку, объяснив, что принято только поздравить за закуской и убираться восвояси. Пирог будет – и довольно. Так и сделали. Когда приехал с прииска Гордей Евстратыч с сыновьями, все уже были навеселе порядком, даже Нил Поликарпыч Пятов, беседовавший с о. Крискентом о спасении души. Одним словом, именины Татьяны Власьевны отпраздновались самым торжественным образом, и только конец этого пиршества был омрачен ссорой Нила Поликарпыча с о. Крискентом.

Дело вышло из-за церковного старостваа. Отец Крискент политично завел разговор на тему, что Нил Поликарпыч уже поработал в свою долю на дом Божий и имеет полное право теперь отдохнуть.

– Надо и другим в свою долю поработать, Нил Поликарпыч, – пояснил свою мысль о. Крискент с вкрадчивой улыбкой.

– Не пойму я вас что-то, отец Крискент.

– А очень просто… Мы выберем в старосты Гордея Евстратыча – пусть его постарается для Бога.

– А… так вы вот как, отец Крискент!.. Значит, вам не служба дорога, а деньги.

И пошел, и пошел. Старик не на шутку разгорячился и даже покраснел. Бедный о. Крискент весь съежился и лепетал что-то такое несообразное в свое оправдание. Даже Липачек и Плинтусов не могли унять расходившегося старика…

– Правду, видно, старинные люди сказывали, – кричал Нил Поликарпыч, горячась и размахивая руками, – что, мол, прежде сосуды по церквам были деревянные, да попы золотые, а нынче сосуды стали золотые, так попы деревянные.

Отец Крискент обиделся в свою очередь на такое оскорбление. Гордей Евстратыч хотел помирить своих гостей; но это вмешательство окончательно взбесило Нила Поликарпыча.

– Нет, Гордей Евстратыч, видно, нам не приходится водить с вами компанию… – заявил Пятов, хватаясь за шапку. – Вы богатые стали, лучше нас найдете.

– Что вы, Нил Поликарпыч, батюшка… – заголосила Татьяна Власьевна, удерживая Нила Поликарпыча за руку. – Отец Крискент!.. Нил Поликарпыч!..

– Мамынька, оставь!.. – грозно приказал Гордей Евстратыч.

Из старых друзей остались только о. Крискент да Пазухины… Вот тебе и бабушкины именины, – нечего сказать, отпраздновали!..

XI

Наступала весна. Дорога почернела; с крыш капала вода, а по ночам стоки и капельники обрастали ледяными сталактитами. Солнце разъедало снег, который чернел от пропитывавшей его воды и садился все ниже и ниже, покрываясь сверху мусорным налетом. Горные речонки начали набухать и пожелтели от выступивших наледей; сочившаяся из почвы весенняя вода точила дряблый лед, образуя черневшие промоины и широкие полыньи. По взлобочкам и прикрутостям, по увалам и горовым местам выглянули первые проталинки с всклоченной, бурой прошлогодней травой; рыжие пятна таких проталин покрывали белый саван точно грязными заплатами, которые все увеличивались и росли с каждым днем, превращаясь в громадные прорехи, каких не в состоянии были починить самые холодные весенние утренники, коробившие лед и заставлявшие трещать бревна. В воздухе наливалась и росла та сила, которая, точно сознательно, уничтожала шаг за шагом остатки суровой северной зимы. Даже холод, достигавший по ночам значительной силы, не имел уже прежней всесокрушающей власти: земля сама давала ему отпор накопившимся за день теплом, и солнечные лучи смывали последние следы этой борьбы. Несколько раз принимался идти мягкий пушистый снег, и народ называет его «сыном, который пришел за матерью», то есть за зимой.

Только в лесу еще лежал глубокий снег, особенно по логам и дремучим лесным гущам. Здесь солнце не в силах его достать и может только растопить лежавший на ветвях белый пушистый слой, превратив его в ледяные сосульки, которыми мохнатые зеленые лапы елей и сосен были изувешаны, как брильянтовыми подвесками и поднизями. Стройные ели и пихты, опушенные утренним инеем, стояли осыпанные брильянтами, как невесты; этот подвенечный наряд таял и снова нарастал каждую ночь, как постоянно возобновлявшаяся красота. Темная зелень хвои сливалась в необыкновенную гармонию с искрившейся белизной снежных покровов, создавая неувядавшую гармонию красок и тонов, особенно рядом с мертвыми остовами осин, берез и черемух, которые так жалко таращили свои набухавшие голые ветви. Самые дикие лесные уголки дышали великой и могучей поэзией, разливавшейся в тысячах отдельных деталей, где все было оригинально, все полно силы и какой-то сказочной прелести, особенно по сравнению с жалкими усилиями человека создать красками или словом что-нибудь подобное. Вторжение человека в жизнь природы с целью воспроизвести ее красоты, тем или другим путем, каждый раз разбивается самым беспощадным образом, как галлюцинации сумасшедшего. Воровство, сшитое на живую нитку, трещит и рвется по всем швам, обнажая наше самоуверенное и самодовольное невежество. Достаточно указать на тот факт, что наш вкус находит дисгармонию в сочетаниях зеленого и голубого цветов, а природа опровергает наши художественные настроения на каждом шагу, сочетая синеву неба с зеленью леса и травы почти в музыкальную мелодию, особенно на севере, где природа так бедна красками.

С наступлением весны работа на Смородинке закипела. Заканчивали маленькую плотинку, которою речка Смородинка запруживалась; ставили паровую машину, били третью шахту и т. д. Картина нового прииска представляла самый оживленный лесной уголок: лесная гуща точно расступилась, образовав неправильную площадь, поднимавшуюся от Смородинки на увал; только что срубленные и сложенные в костры деревья образовали по краям что-то вроде той засеки, какая устраивалась в прежние времена на усторожливых местечках на случай нечаянного неприятельского нападения; новенькая контора точно грелась на самом угоре; рядом с ней выросли амбары и людская, где жили кучера и прислуга. Отвалы из промытых

песков и просто земли, добытой из шахты, образовали несколько отдельных гряд, точно валы какой-то земляной крепости. Деревянный сарай над жилкой, дробильная машина и главный корпус, где совершалась промывка золота, дополняли картину прииска, на котором теперь работало до трехсот человек.

Гордей Евстратыч живмя жил на прииске и выезжал домой очень редко. Михалко и Архип были неотлучно при нем, заменяя приисковых служащих. Михалко наблюдал за рабочими, рассчитывал их по субботам, а по праздникам ездил в Белоглинский завод производить необходимые покупки из харчей, одежды и всякого другого припаса, который требовался на прииске; Архип занимался больше письменной частью и старательно вел приисковые книги. Работы всем было по горло, и Гордей Евстратыч заметно похудел за это время, а на лбу у него появилось несколько морщин. По целым часам он высиживал в своей конторе со счетами в руках, делая сметы и необходимые соображения. Золото шло богатое, но чем больше получалась дневная выручка, тем задумчивее и суровее становился Гордей Евстратыч: ему все было мало, и на головы Михалка и Архипа сыпалось бесконечное ворчанье.

– Ничего вы не смотрите, дармоеды! – ругался Гордей Евстратыч, шагая по конторке. – Ну какой у нас порядок? По миру скоро все пойдем… Вот Шабалин не по-нашему поворачивается с приисками!..

Михалко и Архип больше отмалчивались в этих случаях и в душе проклинали жилку, которая душила их бесконечной работой. Ими еще не овладел тот бес наживы, который мучил Гордея Евстратыча, не давая ему покоя ни днем ни ночью. Брагину все было мало; его жадность росла вместе с приливавшим богатством. К Пасхе он положил в банк двадцать тысяч и не испытывал никакой радости, потому что можно было бы заработать в зиму в два раза двадцать. Ведь наживается же Шабалин и другие, а чем он, Брагин, грешнее этих других? Кроме этого, Гордей Евстратыч сделался крайне подозрительным и недоверчивым человеком, потому что везде видел обман и подвохи: даже родным детям он не доверял теперь и постоянно их поверял. Рабочие являлись в его глазах скопищем воров и разбойников, которые тащат на сторону его золото…

Даже те расходы, которые производились на больного Маркушку, заметно тяготили Гордея Евстратыча, и он в душе желал ему поскорее отправиться на тот свет. Собственно расходы были самые небольшие – рублей пятнадцать в месяц, но и пятнадцать рублей – деньги, на полу их не подымешь. Татьяне Власьевне приходилось выхлопатывать каждый грош для Маркушки или помогать из своих средств.

– Чтой-то, милушка, какой ты скупой стал! – мягко упрекала сына Татьяна Власьевна. – Ведь Маркушка не чужой нам, можно его успокоить… Да и недолго он натянет: доживет не доживет до полой воды!

– Ну, мамынька, он еще нас переживет, Маркушка-то… Чего ему не жить: харч готовый, все готовое. Ты к нему каждую неделю ездишь – это тоже денег стоит, потому лошади лишних полпуда овса могут стравить. Так я говорю, мамынька? На нашей шее немало дармоедов сидит… Хоть взять Зотея: ну что он за человек таков? Ест наш хлеб, и все тут, а пользы никакой. Теперь бы вот на прииски его поставить, а разве ему можно довериться? Только попади денежки в руки – и пошел чертить. Вот оно, мамынька, и подумаешь с подушечкой… Всем подай, обо всех позаботься, а карман один.

– Как же раньше-то, Гордей Евстратыч, ты ничего не говорил про Зотушку? – удивлялась Татьяна Власьевна. – Уж не объест же он нас… Чужим людям подаем, а своего не гнать же.

– Мало ли чего прежде-то было, мамынька… Дураками мы жили, вот что! Надо за ум взяться… Ты вот за снохами-то присматривай: товару в лавке много, пожалуй, между рук не ушел бы!

– Что ты, что ты, милушка! Христос с тобой… Да разве они воровки какие?

– Я не говорю, мамынька, что воровки, а говорю: «Мамынька, смотрите в оба…» После смерти не покаешься.

Сначала такие непутевые речи Гордея Евстратыча удивляли и огорчали Татьяну Власьевну, потом она как-то привыкла к ним, а в конце концов и сама стала соглашаться с сыном, потому что и в самом деле не век же жить дураками, как прежде. Всех не накормишь и не пригреешь. Этот старческий холодный эгоизм закрадывался к ней в душу так же незаметно, шаг за шагом, как одно время года сменяется другим. Это была медленная отрава, которая покрывала живого человека мертвящей ржавчиной.

– И в самом-то деле, что это мы больно раскошелились?.. – удивлялась Татьяна Власьевна, точно просыпаясь от какого-то долгого сна. – Ведь Шабалины не кормят всяких пропойцев, да не хуже других живут…

– Верно, мамынька, – подтверждал Гордей Евстратыч. – Ты рассуди только то, что открой Маркушка кому другому жилку, да разве ему какая бы польза от этого была?.. Ну а мы свое дело сделали…

– А клятва-то, милушка?

– Клятва – другое, мамынька… Мы за него вечно будем Богу молиться, это уж верно. А насчет харчу и всякого у нас и клятвы никакой не было… Так я говорю, мамынька?

– Так, милушка… Только как будто страшно: ведь ежели разобрать, так жилка-то все-таки от Маркушки нам досталась.

– Ах, мамынька, мамынька! Да разве Маркушка сам жилку нашел? Ведь он ее вроде как украл у Кутневых; ну а Господь его не допустил до золота… Вот и все!.. Ежели бы Маркушка сам отыскал жилку, ну, тогда еще другое дело. По-настоящему, ежели и помочь кому, так следовало помочь тем же Кутневым… Натурально, ежели бы они в живности были, мамынька.

– Все перемерли, все!.. – с какой-то радостью подхватила старуха и после короткого раздумья прибавила: – А ведь ты верно, милушка, насчет Маркушки-то все обсказал…

– Уж я тебе говорю, мамынька: вернее смерти.

А виновник этих забот и разговоров, кажется, не подозревал совсем той перемены, какая произошла в Брагиных по отношению к нему. В лихорадочно работавшем мозгу Маркушки назревала отчаянная идея, о которой он пока еще никому не говорил. Она обдумывалась в течение полугода, в бессонные зимние ночи, когда Маркушка оставался в своем балагане один-одинешенек. Тянулись бесконечные мучительные часы, дни, недели, месяцы, а Маркушка все обдумывал одно и то же, не имея сил сдвинуться в которую-нибудь сторону. Идея Маркушки росла и крепла в его душе так же, как вырастает растение из маленького зернышка, пуская корни и разветвления все глубже и глубже.

В конце этого психологического процесса Маркушка настолько сросся с своей идеей, что существовал только ею и для нее. Он это сам сознавал, хотя никому не говорил ни слова. Удивление окружавших, что Маркушка так долго тянет, иногда даже смешило и забавляло его,

и он смотрел на всех как на детей, которые не в состоянии никогда понять его.

– Вот вода тронется с гор, тогда и ты помрешь, – утешал кривой Потапыч больного. – Уж это завсегда так бывает…

Кайло и Пестерь были того же мнения и мрачно покуривали свои носогрейки. Эти благочестивые люди в последнее время находились особенно в мрачном настроении, потому что «язвы», то есть Окся, Лапуха и Домашка, окончательно бросили Полдневскую, переселившись на Смородинку, где нашли десятки новых обожателей. Полное одиночество нагоняло на Кайло и Пестеря философские мысли о суете сует этого грешного мира. Только когда они напивались, сейчас брели на Смородинку и затевали отчаянную драку с своими счастливыми соперниками, причем были биты много и очень долго. «Язвы» щеголяли напропалую в новых кумачных сарафанах и с новыми синяками по всему телу, точно последним путем им выделывали кожу для какого-то особенного употребления. Маркушка еще раз мог убедиться, что Окся и Лапуха никогда этим путем не достигнут селения праведных.

– Ну что, били? – иногда спрашивал он своих благоприятелей.

– Погоди, еще не уйдут от наших рук, – мрачно отвечал Кайло.

– Надо их хорошенько отлупить… – советовал Маркушка, вздыхая. – И Домашку и ту надо взлупить.

– И Домашку взлупим, Маркушка. Мы ей ноги выдергаем…

Маркушка от этих разговоров испытывал неприятное волнение и страшно завидовал Пестерю и Кайло, которые могли получить удовлетворение оскорбленной чести; а он должен был оставаться безучастным зрителем этой драмы. Курсы полдневских женщин действительно поднялись на небывалую высоту в силу того экономического закона, по которому превышение спроса увеличивает цену предметов потребления. Но Маркушка, как Пестерь и Кайло, совсем были незнакомы с основными аксиомами политической экономии и одинаково были далеки как от христианского смирения, так и от безропотного повиновения железным законам природы.

– Вы их заманите обманом… – советовал несколько раз Маркушка.

– Нейдут, шельмы!.. Пестерь обещал Домашке новый сарафан, да нейдет.

Маркушка опять волновался. Его воображение мучили самые ревнивые картины, перед которыми отступала на мгновение даже мысль о смерти. А смерть стояла за плечами… Маркушка чувствовал ее приближение своим немевшим разбитым телом. Наступление весны убеждало его в этом еще более. Когда и в его лачугу заползал солнечный луч, долго игравший на грязном полу, Маркушка чувствовал, что никакому солнцу уже не согреть его, как чувствовал то, что последний запас жизненной силы уйдет от него вместе с вешней водой. Эта вешняя вода и пугала и радовала его. Лежа с закрытыми глазами, Маркушка часто испытывал совершенно особенное чувство: его именно подхватывала эта вешняя вода и с увеличивающейся быстротой начинала нести вперед, как несет пловца быстрая река. Кругом Маркушки неслось все, и он просыпался с глухим стоном и, как утопающий, с радостью коснеющими руками хватался за впечатления действительности. С наступлением весны эти мучительные сны стали повторяться чаще, стоило только Маркушке закрыть глаза. Вода журчала на полу его лачуги, пенистые валы разбивались о стены, на улице бушевал бурный клокочущий потоп, и беспощадная стихийная сила подступала все ближе и ближе, подмывая существование Маркушки. Даже открыв глаза, он долго не мог освободиться от страшных звуков: вода продолжала у него журчать в ушах и точно переливалась в самом мозгу.

С другой стороны, Маркушка страстно желал, чтобы вода скорее тронулась с гор: дотянуть до этого момента было его заветной мечтой. Только бы стаял снег и высыпала первая травка по проталинкам. Маркушка чувствовал обновляющуюся природу, как чувствовал и то, что сам он не может принять участия в этом обновлении, и каждую минуту готов был отлететь в сторону, отвалившись мертвым куском от общей живой массы, совершившей установленный круговорот. Какая-то страшная сила выталкивала его за черту органического существования, в темное безграничное пространство, ужасавшее его своим бессознательным существованием.

«Только бы до травы…» – думал Маркушка, заглядывая в слепое окошко своей лачуги.

А там, за стенами Маркушкиной избушки, уже гудела в воздухе закипавшая жизнь. На прогнившей крыше этой избушки часто садились прилетевшие скворцы, и их свист заставлял Маркушку вздрагивать. Больной слышал трудовую возню воробьев, которые теребили мох из его избушки и радостно щебетали и чирикали словно сумасшедшие. Солнечные лучи все глубже и глубже заглядывали в избушку, точно они выщупывали в ней своими сверкавшими пальцами; они подолгу оставались на закоптелых стенах, делая их еще чернее. В отворенную дверь тянуло свежей струей воздуха, которая раздражала Маркушку; в воздухе пахло водой… Когда северная весна пошла вперед быстрыми шагами, Маркушка уже еле дышал. Кашель усилился. Его душила скоплявшаяся внутри мокрота, будто на его груди была положена тяжелая чугунная доска.

Раз в светлый теплый весенний денек Маркушка пригласил к себе своих приятелей, Пестеря и Кайло, и предложил им нечто от «воды веселия и забвения». Эта порция водки была им куплена давно и хранилась под кроватью. Пестерь и Кайло пили стакан за стаканом и удивлялись щедрой проницательности Маркушки: именно в этот день они умирали от жажды, и Маркушка их спас… Совсем расчувствовавшийся Пестерь долго смотрел в упор на Маркушку и наконец проговорил:

– Что ты, шайтан, долго не помираешь?.. И вода с гор прошла, а ты все еще кочетыржишься!

– Вот что, братцы… – заговорил Маркушка, собираясь с силами. – Не ходите вы завтра робить на Смородинку…

– И не пойдем, – согласился Кайло, чуявший какую-то новую поживу. – Ноне этот Гордей Евстратыч совсем изварначился…

– А что?

– Рабочих поедом съел… Все ему не ладно, все не так… Ругается… Намедни нас с Пестерем обыскивал… Ей-богу!..

Маркушка давно слышал о перемене в характере Брагина, на которого все рабочие начали громко жаловаться, но всегда отмалчивался.

– Да разве мы… ах, милосливый Господи!.. – ожесточенно выкрикивал Кайло, ударяя себя в грудь кулаком. – Маркушка… да ужли уж мы… Вот спроси Пестеря… а-ах!..

– Обнаковенно… ежели бы мы захотели украсть, так не попались бы, – согласился угрюмо Пестерь, мотая головой. – Комар носу бы не подточил… А то обыскивать!

– А, поди, крепко воруете? – спрашивал Маркушка, косвенно защищая Брагина.

– Маркушка… Да разве нам можно не воровать… а?.. Человек не камень, другой раз выпить

захочет, ну… А-ах, милосливый Господи! Точно, мы кое-что бирали, да только так, самую малость… ну, золотник али два… А он обыскивать… а?!. Ведь как он нас обидел тогда… неужли на нас уж креста нет?

– Вот что, братцы, вы завтра робить не ходите… – говорил Маркушка. – Я хочу беспременно поглядеть на Смородинку… так вы меня туда и снесите.

– Представим, Маркушка.

– Я вам заплачу, братцы…

– И так снесем. Все равно помрешь… Потапыча прихватим на всякий случай!..

Старатели пьянствовали в лачуге всю ночь напролет… Пестерь, умиленный выпитой водкой, долго горланил песню, которую когда-то в Полдневской пели «язвы»:

Я без пряничка не сяду,
Без орешка не ступлю;
Я без милого не лягу,
Без надежи не усну…

Песня была веселая, и Кайло грузно отплясывал под пение Пестеря, шлепая своими грязными лаптями. Маркушка хрипел и задыхался и слышал в этой дикой песне последний вал поднимавшейся воды, которая каждую минуту готова была захлестнуть его. В ужасе он хватался рукой за стену и бессмысленно смотрел на приседавшего Кайло. И Кайло, и Пестерь, и Окся с Лапухой, и Брагин – все это были пенившиеся валы бесконечной широкой реки…

Утром на другой день Кайло смастерил из двух палок и пихтовой хвои носилки. На этих носилках старатели и потащили Маркушку на Смородинку. День был солнечный, ясный; воздух был пропитан смолистыми испарениями. По голубому небу торопливо бежали гряды белоснежных облаков; где-то заливались безыменные лесные птички. Приисковая дорога, проведенная из Полдневской на Смородинку, походила на корыто, по которому сбегала красноватая вода. Пестерь и Кайло сосредоточенно шлепали своими лаптями по лужам и несколько раз садились отдыхать где-нибудь в сторонке. Ноша была нелегкая, особенно при такой дороге. Маркушка лежал неподвижно как труп; он был страшен на свежем воздухе, и только открытые глаза оставались еще живыми.

– Эй ты, шайтан, умер, что ли? – несколько раз окликал свою ношу Кайло.

Вместо ответа Маркушка только кашлял и глухо хрипел. Сколько тысяч раз он прошел по этим местам, а дорогу к Заразной горе он прошел бы с завязанными глазами: все горы в окрестностях на пятьдесят верст кругом были исхожены его лаптями, а теперь Маркушка, недвижимый и распростертый, как пласт, только мог повторять своим обессиленным телом каждый толчок от своих неуклюжих носильщиков. Иногда он стонал, когда Кайло и Пестерь перепрыгивали через рытвины; но больше крепился, закрывая глаза от слепившего его солнца. Носильщики все время пути жаловались на Брагина, притеснявшего старателей, ругались самыми живописными сравнениями, сквернословили и несколько раз принимались корить Маркушку, зачем он «просолил жилку» Брагину.

– Тебе хорошо, черту… Умрешь, и вся тут, а мы как? – соображал Кайло, раздражаясь все больше и больше. – Шайтан ты, я тебе скажу… Не нашел никого хуже-то, окаянная душа! Он тебя и отблагодарил, нечего сказать… От этакого богачества мог бы тебе хошь десять рублей в месяц давать, а то…

Молчание Маркушки еще сильнее раздражало его приятелей, которые теперь от души жалели, что Маркушка не может головы поднять; а то они здорово бы полудили ему бока… Особенно свирепствовал Пестерь, оглашая лес самой неистовой руганью.

Но вот и Заразная, до самого верха обросшая дремучим ельником; вот и последний увал, вот и знакомый гул, доносившийся от нового прииска. Где-то в лесу звонко рубил топор сырое смолевое дерево; пахну́ло дымом и смешанным гулом самых разнородных звуков, точно в лесу варился громадный котел. Кайло и Пестерь остановились наверху увала, откуда отлично можно было рассмотреть весь прииск. Маркушка приподнял голову и помутившимися глазами жадно смотрел под гору, где стояли конторка, дробилка, промывальная машина и десятки старательских вашгердов. Он не узнал своей жилки, хотя сердце у него забилось от радости при виде с детства знакомой картины.

– Ну, шайтан, гляди, это твоя работа… – корили Маркушку приятели. – Теперь Брагин будет раздуваться, как пузырь, нашим-то золотом.

– Пусть его… – прохрипел Маркушка. – На его душе грех…

Заветная идея Маркушки осуществилась наконец: он увидел свою жилку, которую хоронил и вынашивал в своей душе целых пятнадцать лет.

На другой день вечером Маркушка умер.

XII

Брагины загремели на целую «округу». Слава об их богатстве, окрыленная тысячью самых фантастических добавлений, облетела сотни верст, везде возбуждая зависть к этим счастливцам. Вместо старых знакомых нашлись десятки новых. В Белоглинский завод приезжали издалека разные проходимцы и искатели приключений, жаждавшие приклеиться всеми правдами и неправдами к брагинской жилке. Так, приезжал какой-то смышленый немец, предлагавший Гордею Евстратычу открыть в Белоглинском заводе заведение искусственных минеральных вод; потом пришел пешком изобретатель новых огнегасителей, суливший золотые горы; затем явилась некоторая дама заграничного типа с проектом открыть ссудную кассу и т. д., и т. д. В брагинской доме от новых знакомых отбоя не было: все спешили принести сюда посильную дань уважения добродетелям редкой семьи. Горные инженеры, техники, доктора, купцы, адвокаты – всех одинаково тянуло к всесильному магниту, не говоря уже о бедности, которая поползла к брагинскому дому со всех углов, снося сюда в одну кучу свои беды, напасти и огорчения… Горькая нужда в тысячах разновидностей точно тронулась и нарочно обнажила свои язвы. Вдовы, сироты, калеки, несчастные всех видов молили о помощи и готовы были по крохам разнести брагинские богатства. Почти каждый день приносили на имя Гордея Евстратыча десятки писем, в которых неизвестные лица, превзошедшие своими несчастиями даже Иова, просили, молили, требовали немедленной помощи. Все это делалось даже страшным, потому что для покрытия вопиющей нужды недостало бы золотых гор.

– Мамынька, да что же это такое? – спрашивал Гордей Евстратыч, отчаянно боровшийся с своей скупостью.

– Ничего, милушка, потерпи, – отвечала Татьяна Власьевна. – В самом-то деле, ведь у нас не золотые горы, – где взять-то для всех?.. По своей силе помогаем, а всех не ублаготворишь. Царь богаче нас, да и тот всем не поможет…

Брагины теперь походили на тех счастливцев, которые среди открытого океана спасались сами

на обломках разбитого корабля. Кругом них мелькали в воде утопающие, к ним тянулись руки с мольбой о помощи, их звал последний крик отчаяния; но они думали только о собственном спасении и отталкивали цеплявшиеся за них руки, чтобы не утонуть самим в бездонной глубине. Эта картина скоро притупила их нервы настолько, что они отнеслись даже к смерти благодетеля Маркушки совсем безучастно. Кайло и Пестерь похоронили «шайтана» на свои гроши, а Гордей Евстратыч прогнал их с работы как свидетелей собственной несправедливости, которые мозолили ему глаза.

– Деньги – вода, – объяснял Гордей Евстратыч сыновьям, – пришла – ушла, только ее и видел… А ты копейку недосмотрел, она у тебя рубль из карману долой.

Михалко и Архип были слишком оглушены всем происходившим на их глазах и плохо понимали отца. Они понимали богатство по-своему и потихоньку роптали на старика, который превратился в какого-то Кощея. Нет того чтобы устроить их, как живут другие… Эти другие, то есть сыновья богатых золотопромышленников, о которых молва рассказывала чудеса, очень беспокоили молодых людей.

Работы и заботы всем было по горло в брагинском доме: мужики колотились на прииске, снохи попеременно торговали в лавке, а «сама» с Нюшей с ног сбилась с гостями. А тут еще Дуня затяжелела, за ней глаз был нужен; у Ариши Степушка все прихварывал зимой; Зотушка чаще обыкновенного начал зашибаться водкой. Алена Евстратьевна толклась всю зиму-зимскую. Все нужно было досмотреть, везде поспеть. А тут еще Гордей Евстратыч затевал старый дом перестраивать: крыша деревянная ему помешала – загорелось налаживать непременно железную, потом палубить снаружи да красить внутри. Все это подбивала Гордея Евстратыча милая сестричка Алена Евстратьевна, которая совсем угорела от чужого золота. Татьяна Власьевна частенько про себя жалела о Колобовых и Савиных. Новые заботы иногда делались ей не под силу, и она нуждалась в постороннем совете, а к кому теперь пойдешь, кроме о. Крискента. Особенно ее беспокоила судьба Нюши. Пазухины пропустили рождественский мясоед и не заслали сватов, потому что Пелагея Миневна боялась модницы Алены Евстратьевны; а после Пасхи уже наверно подошлет кого-нибудь. Дело нешуточное, и посудить да порядить об нем не с кем, кроме о. Крискента, который со всеми всегда соглашается. Тоже вот и невестки кручинятся по своим-то, сильно кручинятся, а чем им поможешь? Марфа Петровна прямо говорит, что эти Колобовы да Савины все ногти себе обгрызли от зависти и постоянно судачат на них, то есть на Брагиных.

– Старухи-то еще что говорят, – прибавляла уж от себя словоохотливая Марфа Петровна, – легкое-то богатство, говорят, по воде уплывет… Ей-богу, Татьяна Власьевна, не вру! Дивушку я далась, с чего это старухи такую оказию придумали!..

Татьяна Власьевна строго подбирала губы и ничего не отвечала. Этот отзыв кровно ее обижал, потому что попадал в самое больное место: она сама иногда боялась своего легкого богатства. А тут еще эти старухи принялись каркать… Именно, зависть их одолела, точно от брагинского несчастья им легче будет. Снохи Татьяны Власьевны по-прежнему дулись одна на другую, и Татьяна Власьевна подозревала, что и это недаром делается, а родимые матушки надувают в уши дочкам. Уж это верно, потому где бы молоденьким бабенкам сердце выдержать на целых полгода: не вытерпели бы и помирились. Это все старухи расстраивают бабенок: хотят не мытьем, так катаньем взять. Этот ряд мыслей окончательно утвердился в голове Татьяны Власьевны, и она с особенным вниманием выслушивала сплетни Марфы Петровны.

Только одна Нюша оставалась прежней Нюшей – развей горе веревочкой, – хотя и приставала к бабушке с разговорами о платьях. Несмотря на размолвки отцов, Нюша и Феня остались неразлучны по-прежнему и частили одна к другой, благо свободного времени не занимать

стать. Эти молодые особы смотрели на совершившееся около них с своей точки зрения и решительно не понимали поведения стариков, которые расползлись в разные стороны, как окормленные бурой тараканы.

– Просто спятили с ума на старости лет, – говорила откровенная Феня. – Нашли чего делить… Жили-жили, дружили-дружили, а тут вдруг тесно показалось. И мой-то тятенька тоже хорош: все стонал да жаловался на свое староство, а тут поди ты как поднялся. С ними и сама с ума сойдешь, Нюша, только послушай.

– А баушку так и узнать нельзя стало, – жаловалась Нюша. – Все считает что-то да бормочет про себя… Мне даже страшно иногда делается, особенно ночью. Либо молится, либо считает… И скупая какая стала – страсть! Прежде из последнего старух во флигеле кормила, а теперь не знает, как их скачать с рук.

– А Гордей Евстратыч?

– И не говори… К нему и подойти теперь боязно. На снох дуется, Михалку с Архипом заморил на прииске, на Зотушку ворчит, со мной тоже не много разговаривает. Скучища у нас теперь…

– Гостей зато много бывает.

– Да и гости такие, что нам носу нельзя показать, и баушка запирает нас всех на ключ в свою комнату. Вот тебе и гости… Недавно Порфир Порфирыч был с каким-то горным инженером, ну, пили, конечно, а потом как инженер-то принялся по всем комнатам на руках ходить!.. Чистой театр… Ей-богу! Потом какого-то адвоката привозили из городу, тоже Порфир Порфирыч, так тово уж прямо на руках вынесли из повозки, да и после добудиться не могли: так сонного и уволокли опять в повозку.

Все подобные рассуждения доказывали только полную непрактичность болтавших девушек, которые не в состоянии были понять многого, что творилось на их глазах. Они еще не покрылись той житейской ржавчиной, которая живых людей превращает в ходячие трупы. Зеленая юность тем и счастлива, что не знает, не хочет знать этих разъедающих ум и душу расчетов, которые опутывают остальных людей непроницаемой сетью. Произведенные Маркушкиной жилкой превращения для Нюши и Фени были глупой и смешной загадкой; скрывавшийся под ними старческий эгоизм, корыстные расчеты и расшевеленное самолюбие были далеки от этих юных душ, еще не тронутых житейской горечью.

Ожидаемое сватовство Нюши наконец состоялось. Сватами явились купец Сорокин, дядя Алеши Пазухина по матери, и заводский надзиратель Потемкин. Люди были почтенные, обычливые и заявились в брагинский дом по всем правилам сватовского искусства, памятуя золотое правило, что свату первая чарка и первая палка. Конечно, завели они речь издалека, что послал их князь поискать жар-птицы, что ходили они, гуляли по зеленым садам, напали на след и след привел их прямо к брагинскому двору и т. д. Сваты были опытные и наговаривали в голос, только слушай. Даже Татьяна Власьевна осталась довольна их разговором и ответила им в том же тоне.

– Какой же вы след видели, добрые люди? – спрашивала Татьяна Власьевна.

– А тот след, Татьяна Власьевна, – отвечал осанистый старик Сорокин, разглаживая свою русую бороду, – летела жар-птица из зеленого сада да ронила золотое перо около вашего двора – вот тебе и первый след…

Гордей Евстратыч был дома и принял сватов довольно сухо, предоставив Татьяне Власьевне

вести все дело. Сваты посидели, поболтали и пошли ни с чем, потому что первых сватов засылают только на разведки, почему их и называют пустосватами. В случае отказа сватам на юге кладут в экипаж тыкву, а на севере привязывают к экипажу шест. Приехать с шестом для свата, конечно, большое бесчестье. Татьяна Власьевна не сказала своим сватам ни да ни нет, потому что нужно было еще посоветоваться с отцом. Такой совет состоялся, как и по поводу Маркушкиной жилки, из Гордея Евстратыча, Татьяны Власьевны и Зотушки.

– Ну, так как ты думаешь, Гордей Евстратыч? – спрашивала Татьяна Власьевна, когда они чинно уселись по местам.

– Что тут думать-то, мамынька? Конечно, худой жених доброму путь кажет. Спасибо за честь, а только родниться нам с Пазухиными не рука.

– Пошто же не рука, Гордей Евстратыч? Люди хорошие, обстоятельные, и семья – один сын на руках. Да и то сказать, какие женихи по нашим местам; а отдать девку на чужую-то сторону жаль будет. Не ошибиться бы, Гордей Евстратыч. Я давно уже об этом думала…

– А я, мамынька, другое на уме держу! Пазухиных хаять не хочу; а для Нюши почище жениха сыщем. Не оборыши, слава Богу, какие и не браковку замуж отдаем… Не по себе дерево Пазухины выбрали, мамынька, прямо сказать.

– Ох, Гордей Евстратыч, Гордей Евстратыч… Всякий лучше выбирает, да только не всякому счастки выпадают. Может, и мы не по себе дерево ищем…

Последняя фраза задела Гордея Евстратыча за живое, и он сердито замолчал. Зотушка, сгорбившись, сидел в уголке и смиренно ждал, когда его спросят. Глазки у него так и светились; очевидно, ему что-то хотелось сказать.

– Ну, а ты, Зотушка, как думаешь? – спросила Татьяна Власьевна, чтобы перевести разговор.

– Я, мамынька, думаю заодно с тобой… За большим погонишься, пожалуй, и малого не увидишь.

– Опять дурак!.. – загремел Гордей Евстратыч, накидываясь на брата; он рад был хоть на нем сорвать сердце. – Ни уха ни рыла не понимаешь, а туда же…

– Вы, братец, напрасно такие слова выговариваете, – со смирением возражал Зотушка. – Я дурак про себя, а не про других. Вы вот себя умным считаете, а такую ошибочку делаете…

– Ты меня учить… а?!. Вон, пьяница и дурак!.. Из дома моего вон!.. И чтобы духу твоего не было!.. Слышал?..

– Гордей Евстратыч… – пробовала было заступиться Татьяна Власьевна за своего любимца. – Милушка, что это ты говоришь?

– Мамынька, оставь нас… Я долго терпел, а больше не могу. Он живет дармоедом, да еще мне же поперечные слова говорит… Я спустил в прошлый раз, а больше не могу.

– И я, братец, тоже больше не могу… – с прежним смирением заявил Зотушка, поднимаясь с места. – Вы думаете, братец, что стали богаты, так вас и лучше нет… Эх, братец, братец! Жили вы раньше, а не корили меня такими словами. Ну, Господь вам судья… Я и так уйду, сам… А только одно еще скажу вам, братец! Не губите вы себя и других через это самое золото!.. Поглядите-ка кругом-то: всех разогнали, ни одного старого знакомого не осталось. Теперь

последних Пазухиных лишитесь.

– Ладно, ладно, разговаривай… Лучше найдем.

– Я ведь не о себе, братец… Польстились вы на золото, – как бы старых пожитков не растерять. И вы, мамынька, тоже… Послушайте меня, дурака.

– Зотушка… Гордей Евстратыч… – плакалась Татьяна Власьевна, бросаясь между братьями. – Побойтесь вы Бога-то!

– Я грешный человек, мамынька, да про себя… – смиренно продолжал Зотушка, помаленьку отступая к дверям. – Других не обижаю; а братец разогнал всех старых знакомых, теперь меня гонит, а будет время – и вас, мамынька, выгонит… Я-то не пропаду: нам доброго не изжить еще, а вот вы-то как?..

Гордей Евстратыч ринулся было на брата с кулаками, но Татьяна Власьевна опять удержала его, и он заскрежетал зубами от бессильного гнева. Когда Зотушка вышел, Татьяна Власьевна тихо заплакала, а Гордей Евстратыч долго бегал по своей горнице и кричал на мать:

– Это все от тебя, мамынька! Да… Разве это порядок в дому… а? Правду сестра-то Алена говорит, что мы дураками живем… Кто здесь хозяин?

– Гордей Евстратыч… да ведь Зотей-то тебе не чужой. Чего с него взять-то, ежели его Господь обидел?..

– Он мне хуже в десять раз чужого, мамынька… Я десять человек чужих буду кормить, так по край мере от них доброе слово услышу. Зотей твой потвор всегда был, ну, ты ему и потачишь…

Эти слова точно укололи старуху. Она поднялась с своего места, выпрямилась во весь рост и грозно проговорила:

– Гордей Евстратыч!.. ты и в самом деле, видно, хочешь меня из родительского гнезда выжить?..

– Ах, мамынька, мамынька!.. – застонал Гордей Евстратыч, хватаясь в отчаянии за голову. – Ведь это что же такое будет… а? Мамынька, прости на скором слове!..

Гордей Евстратыч повалился в ноги к мамыньке, а та рукой наклоняла его голову к самому полу и приговаривала:

– Ниже, ниже, милушка, кланяйся матери-то… Кабы покойник-отец был жив, да он бы тебя за такие скорые речи в живых не оставил. Ну, ин, Бог простит…

Поднявшись с земли, Гордей Евстратыч какими-то дикими глазами посмотрел на мать, а потом, махнув рукой, ничего не сказав, вышел из комнаты. Татьяна Власьевна долго смотрела кругом, точно припоминая, где она; а потом, пошатываясь, побрела на свою половину. В ее ушах еще стояли пророческие слова Зотушки, и она теперь боялась их, припоминая страшное лицо Гордея Евстратыча, когда он поднялся с земли. Маркушкино золото точно распаяло те швы, которыми так крепко была связана брагинская семья: все поползли врозь, то есть пока большаки, а за ними, конечно, поползут и остальные. Сознание происходившего ошеломило Татьяну Власьевну, как человека, который, неожиданно взглянув вниз, увидал под ногами бездонную пропасть. Еще один шаг – и общая гибель неизбежна.

– Господи помилуй! – крестилась старуха, хватаясь за косяк двери: ее даже качнуло в сторону, как пьяную. – Зотушка… милушка…

Это была тяжелая минута. Татьяна Власьевна на мгновение увидела разверзавшуюся бездну в собственной душе, потому что там происходило такое же разделение и смута, как и между ее детьми. «Аще разделится дом на ся – погибнуть дому сему», – вот те роковые слова, которые жгли ее возбужденный мозг, как ударившая в сухое дерево молния. Она уже не была прежней богомолкой и спасенной душой, а вся преисполнилась земными мыслями, которые теперь начинали давить ее мертвым гнетом. Именно теперь припоминала Татьяна Власьевна и свою скупость, и то, как ей было всего мало, и смерть брошенного на произвол судьбы Маркушки, и ссору с Колобовыми, Савиными и Пятовым. Последним звеном в этой роковой цепи являлся выгнанный на улицу Зотушка, а затем естественный разрыв с Пазухиными, которые, конечно, будут обижены неудачным своим сватовством. Чем дальше думала Татьяна Власьевна, тем делалось ей тяжелее, точно ее душу охватывала какая-то кромешная тьма. Она прибегла к своему единственному средству утешения, то есть к молитве, и простояла на поклонах до третьих петухов. Нюше тоже не спалось. Она знала, зачем приезжали Сорокин с Потемкиным, но боялась спросить бабушку о результатах их совещания. Зачем выгнал отец Зотушку? зачем он кричал на бабушку? зачем бабушка так усердно откладывает поклоны перед своим иконостасом? Нюшино сердце чуяло что-то недоброе, и она потихоньку всплакнула в свою подушку.

– Баушка… а баушка, – нерешительно спросила она молившуюся старуху.

– Ты разве не спишь, милушка? – удивилась Татьяна Власьевна.

– Нет, баушка…

Старуха подошла к Нюше, села на ее постель и долго гладила своей морщинистой рукой, с тонкой старой кожей, ее темноволосую красивую голову, пытливо глядевшую на нее темными блестевшими глазами. Эта немая сцена сказала обеим женщинам больше слов; они на время слились в одну мысль, в одно желание и так же молча встали на молитву. Татьяна Власьевна раскрыла книгу, зажгла несколько новых свеч пред образами и мерным ровным голосом начала говорить канун. Нюша стояла рядом с ней и со слезами молилась, отбивая по лестовке бесконечные поклоны. Минуту назад им было так тяжело, а теперь они, умиленные, растроганные, далеко оставили там, где-то внизу, все беды-напасти, точно их окрылила какая-то высшая сила.

– Баушка, как же… что давеча-то тятенька сказал? – спрашивала Нюша, когда молитва была кончена.

– Ох, милушка, милушка… Не судьба тебе, милушка, видно, за Алешей Пазухиным быть. Отец и слышать не хочет… Молись Богу, голубушка.

Нюша уткнулась головой в подушку и горько зарыдала. Это было первое горе, которое разразилось над ее головой.

Зотушка, когда вышел из братцевой горницы, побрел к себе в флигелек, собрал маленькую котомочку, положил в нее медный складень – матушкино благословение – и с этой ношей, помолившись в последний раз в батюшкином дому, вышел на улицу. Дело было под вечер. Навстречу Зотушке попалось несколько знакомых мастеровых, потом о. Крискент, отправлявшийся на своей пегой лошадке давать молитву младенцу.

– Куда, Зотей Евстратыч? – окликнул его о. Крискент. – Садись, подвезу.

– Спасибо на добром слове, отец Крискент… А я иду куда глаза глядят. Братец меня выгнал из дому.

Отец Крискент так был поражен этим, что даже не мог сразу подыскать подходящего к случаю словоназидания.

– Как же ты думаешь, Зотей Евстратыч, устроиться?

– А что мне думать, отец Крискент? Свет не клином сошелся… Нам добра не изжить, а уголок-то и мне найдется. Мы, как соловецкие угодники, в немощах силу обретаем…

– А ведь это точно… да! – согласился о. Крискент и, приподняв брови, глубокомысленно прибавил: – Может, это даже тебе на пользу Господь посылает испытание, Зотей Евстратыч… Судьбы Божии неисповедимы.

Сидя в своем теплом домике, о. Крискент всегда любил распространяться на тему о благости Провидения и о промысле Божием, тем более что ему, то есть о. Крискенту, было всегда так тепло и уютно и он глубоко верил в благость и Промысел. И теперь, глядя на смиренную фигуру Зотушки, он испытывал настоящее умиление и даже прослезился, благословляя Зотушку как «взыскующаго града». Простившись с о. Крискентом, Зотушка тихонько побрел вперед, не зная хорошенько, к кому ему сначала зайти – к Колобовым или к Савиным. У Пятовых, Шабалиных ему тоже были бы рады, потому что Зотушка был великий «источник на всякие художества»: он и пряники стряпать, и шубы шить, и птах ребятишкам ловить в тайники да в западни, и по упокойничке канун говорить, и сказку сказать… А главное, что носил с собою Зотушка, как величайшее сокровище, – это была полная незлобивость и какое-то просветленное смирение, которым он так резко отличался от всех других мирских людей. Именно эта душевная особенность Зотушки делала его своим человеком везде, точно он вносил с собой струю «мирови мира», которая заразительно действовала на всех, облегчая одолевавшие их злобы.

– Ежели пойти к Савиным или к Колобовым – нехорошо будет, – рассуждал про себя Зотушка. – Сейчас подумают, что я пришел к ним жаловаться на братца Гордея Евстратыча, чтобы ему досадить. У Шабалиных, ежели наткнусь на Вукола Логиныча, – от винного беса не уйти… Пойду-ка я к Нилу Поликарпычу, у него и работишка для меня найдется.

Зотушка так и сделал. Прошел рынок, обошел фабрику и тихим незлобивым шагом направился к высокому господскому дому, откуда ему навстречу, виляя хвостом, выбежал мохнатый пестрый Султан, совсем зажиревший на господских хлебах, так что из пяти чувств сохранил только зрение и вкус. Обойдя «паратьнее крыльцо», Зотушка через кухню пробрался на половину к барышне Фене и предстал перед ней, как лист перед травой.

– А я к вам, Федосья Ниловна, – заговорил Зотушка. – Нил-то Поликарпыч дома? Нету?.. Ну, еще успеем увидаться, моя касаточка. Ах, я и не успел тебе захватить поклончика от Нюши…

Через четверть часа Феня уже знала всю подноготную и в порыве чувства даже расцеловала Божьего человека. «Источник» переминался с ноги на ногу, моргал своими глазами и с блаженной улыбкой говорил:

– Касаточка ты моя… Сейчас говорил отцу Крискенту: «Нам, отец Крискент, доброго не изжить». Ты что это орудуешь, Федосья Ниловна?

– Да так… Крою белье разное.

В комнате Фени действительно весь пол был обложен полосами разного полотна, а она сама ползала по нему на коленях с выкройкой в одной руке и с ножницами в другой. Зотушка полюбовался на молодую хозяйку, положил свою котомку в уголок, снял сапоги и тоже примостился к разложенному полотну.

– А ты меня, касаточка, спроси, как все это дело устроить… Когда Савины дочь выдавали, так я все приданое своими руками кроил невесте. Уж извини, касаточка: и рубашки, и кофточки – все кроил… И шить я прежде источник был; не знаю, как нынче.

– Я тебя на машинке научу шить, Зотушка, – обрадовалась Феня. – Сначала только чаю напьешься…

Через час, когда чаи были кончены и Зотушка далее пропустил для храбрости маленькую, он ползал по полотну вместе с барышней Феней, с мотком ниток на шее и с выкройкой в зубах. Когда засветили огонь, Зотушка сидел посреди пола с работой в руках и тихо мурлыкал свой «стих».

И-идет ста-арец по-о-о доро-оге-е…

XIII

Лето для брагинской семьи промелькнуло как золотой сон. Смородинка работала превосходно; в неделю иногда намывали до шести фунтов. Паровая машина была поставлена, но одной было мало: вода одолевала, нужно было к осени вторую. В конце каждого месяца Гордей Евстратыч исправно отправлялся в город Екатеринбург, где скоро сошелся с другими золотопромышленниками, с богатыми комиссионерами, скупавшими ассигновки у мелких золотопромышленников, и с разными другими дельцами и темными личностями, ютившимися около золотого козла. Народ был юркий, проворный, и Гордей Евстратыч окончательно убедился, что жил до сих пор в своем Белоглинском заводе дурак дураком.

– Надо, брат, эту темноту-то свою белоглинскую снимать с себя, – говорил Вукол Шабалин, хлопая Гордея Евстратыча по плечу. – По-настоящему надо жить, как прочие живут… Первое, одеться надо как следует. Я тебе порекомендую своего портного в Петербурге… Потом надо компанию водить настоящую, а не с какими-нибудь Пазухиными да Колпаковыми. Тут, брат, всему выучат.

– А я с белоглинскими-то тово, Вукол Логиныч…

– Знаю, знаю, Варя рассказывала… И хорошо делаешь, потому нам себя тоже надо строго соблюдать, чтобы не совестно было перед настоящими людьми.

Своего единоверческого платья Гордей Евстратыч не переменил, но компанию водить с настоящими людьми не отказался, а даже был очень доволен поближе сойтись с ними. У этой настоящей компании были облюбованы свои теплые местечки, где и катилось разливное море: в одном месте ели, в другом играли в карты, в третьем слушали арфисток и везде пили и пили без конца. В карты Гордей Евстратыч не играл, а пил вместе с другими, потому что нельзя же в самом-то деле такую компанию своим упрямством расстраивать… Ведь люди-то, люди-то какие: все на подбор, особенно адвокаты и разные инженеры. Наговорят с три короба, а в руки взять нечего… А впрочем, народ обходительный, и даже одетыми в единоверческое платье не гнушаются, что очень льстило Гордею Евстратычу, сильно стеснявшемуся на первых порах своим длиннополым кафтаном и русской рубашкой.

– Мы здесь живем как братья, Гордей Евстратыч, – говорил Брагину юркий адвокат из восточных человеков. – Все равно как одна семья.

Действительно, все эти невьянские, и кушвинские, и миасские, и троицкие золотопромышленники, попадая в Екатеринбург, сливались в одну золотую массу, которую адвокаты и другие дельцы обхаживали особенно усердно. Особняком держались от этой компании только самые крупные тузы, которые проживали по столицам, являясь на Урал только на несколько дней. Гордей Евстратыч присматривался, прислушивался и сам старался быть как все, а то один Шабалин засрамит. Это легкое привольное житье затягивало незаметно, и Гордей Евстратыч ездил в город с особенным удовольствием, хотя мог бы обойтись без таких поездок, – стоило только заручиться надежным комиссионером, как у других золотопромышленников. Брагину хотелось прежде всего самому немного отшлифоваться в настоящей компании.

Приезжая из города домой, Брагин всем привозил подарки, особенно Нюше, которая ходила все лето как в воду опущенная. Девушка тосковала об Алешке Пазухине; отец это видел и старался утешить ее по-своему.

– Ну, Нюша, будет дурить, – говорил ей Гордей Евстратыч под веселую руку. – Хочу тебя уважить: как поеду в город – заказывай себе шелковое платье с хвостом… Как дамы носят.

– Не надо, тятенька…

– Вздор мелешь!.. Какое хочешь: зеленое или красное?

– Не надо, тятенька…

– И выходишь дура, если перечишь отцу. Я к тебе с добром, а ты ко мне… Погоди, вот в Нижний с Вуколом поедем, такой тебе оттуда гостинец привезу, что глаза у всех разбегутся.

Эта замена Алешки Пазухина шелковым платьем не удалась, и Нюша по-прежнему тосковала и плакала. Она заметно похудела и сделалась еще краше, хотя прежнего смеха и болтовни не было и в помине. Впрочем, иногда, когда приезжала Феня, Нюша оживлялась и начинала дурачиться и хохотать, но под этим напускным весельем стояли те же слезы. Даже сорвиголовушка Феня не могла развеселить Нюши и часто принималась бранить:

– Дурища ты, Нютка… Ей-богу!.. Вот еще моду затеяла… Эка беда, подумаешь, не стало ихнего брата, женихов-то… И по любви замуж выходят, да горе мыкают… Ей-богу, я этому Алешке в затылок накладу.

Чтобы окончательно вылечить свою подругу, Феня однажды рассказала ей целую историю о том, как Алешка таращил глаза на дочь заводского бухгалтера, и ссылалась на десятки свидетелей. Но Нюша только улыбалась печальной улыбкой и недоверчиво покачивала головой. Теперь Феня была желанной гостьей в брагинском доме, и Татьяна Власьевна сильно ухаживала за ней, тем более что Зотушка все лето прожил в господском доме под крылышком у Федосьи Ниловны.

– Гляжу я на тебя и ума не могу приложить: в кого ты издалась такая удалая, – говорила иногда Татьяна Власьевна, любуясь красавицей Феней. – Уж можно сказать, что во всем не как наша Анна Гордеевна.

– А я так ума не приложу, что с вами со всеми делается, – отвечала бойкая на язык Феня. – Взять тебя, баушка Татьяна, так и сказать-то ровно неловко.

– А что, милушка?

– Да так… На себя не походишь, баушка. Скупая стала да привередливая.

– Ох, нельзя, милушка, нельзя, голубушка… Вон у нас какой отец-то строгий да расчетливый. С меня все взыскивает, чуть что.

– Вот тоже ребят на прииске заморили… Снохи скучают, поди, об них неделю-то…

– Ну, это опять другой разговор, Фенюшка. Нельзя по нашему делу на чужих людей полагаться, а на прииске глаз да глаз нужен.

– Ежели бы я вашей снохой была, я ушла бы на второй месяц…

– Пш-ш… Что ты, милушка, какие ты слова разговариваешь… Ежели все бабы от мужей побегут, тогда уж распоследнее дело… Мы невесток, слава Богу, не обижаем, как сыр в масле катаются.

– Масло-то ваше больно горькое, баушка Татьяна!.. Вон Нютка, лица на ней нет… Мы с Зотушкой все ее жалеем.

Татьяна Власьевна только тяжело вздыхала и с соболезнованием покачивала головой.

Сыновья Брагина выезжали домой только по воскресеньям и праздникам, когда работа на жилке останавливалась. Сначала они скучали своей новой обстановкой, а потом мало-помалу привыкли к ней и даже совсем в нее втянулись. Особенно летом на приисках было весело, потому что работа кипела на открытом воздухе и походила на какой-то праздник или помочь. Притом на Смородинку постоянно завертывали разные гости: то Порфир Порфирыч с Плинтусовым, то Шабалин с Липачком, то кто-нибудь из знакомых золотопромышленников. Конечно, пребывание таких гостей на прииске ознаменовывалось прежде всего кромешным пьянством, а затем чисто приисковыми удовольствиями. Для Порфира Порфирыча, например, постоянно устраивался около конторы хоровод из приисковых красавиц, недостатка в которых не было и в числе которых фигурировали Окся и Лапуха с Домашкой. Бабы «играли песни», а Порфир Порфирыч тешился тем, что бросал в хоровод платки и пряники. Это было его любимым удовольствием, и, нагрузившись, он любил даже поплясать с бабами, особенно когда был налицо мировой Липачек. Гордей Евстратыч смотрел на эти праздники сквозь пальцы, потому что, раз, – нельзя же перечить такому начальству, как Порфир Порфирыч, Плинтусов и Липачек, а затем – и потому, что как-то неловко было отставать от других.

– На всех приисках одна музыка-то… – хохотал пьяный Шабалин, поучая молодых Брагиных. – А вы смотрите на нас, стариков, да и набирайтесь уму-разуму. Нам у золота да не пожить – грех будет… Так, Архип? Чего красной девкой глядишь?.. Постой, вот я тебе покажу, где раки зимуют. А еще женатый человек… Ха-ха! Отец не пускает к Дуне, так мы десять их найдем. А ты, Михалко?.. Да вот что, братцы, что вы ко мне в Белоглинском не заглянете?.. С Варей вас познакомлю, так она вас арифметике выучит.

Эти уроки пошли молодым Брагиным «в наук». Михалко потихоньку начал попивать вино с разными приисковыми служащими, конечно в хорошей компании и потихоньку от тятеньки, а Архип начал пропадать по ночам. Братья знали художества друг друга и покрывали один другого перед грозным тятенькой, который ничего не подозревал, слишком занятый своими собственными соображениями. Правда, Татьяна Власьевна проведала стороной о похождениях внуков, но прямо все объяснить отцу побоялась.

– Ты бы присматривал за ребятами-то, – несколько раз говорила она Гордею Евстратычу, когда тот отправлялся на прииск. – У вас там на жилке всякого народу про́пасть; пожалуй, научат уму-разуму. Ребята еще молодые, долго ли свихнуться.

– На людях живем, мамынька, – успокаивал Гордей Евстратыч, – ежели бы что – слухом земля полнится. Хорошая слава лежит, а худая по дорожке бежит.

– А ты, милушка, все-таки посматривай…

– Ладно, ладно… Ты вот за Нюшей-то смотри, чего-то больно она у тебя хмурится, да и за невестками тоже. Мужик если и согрешит, так грех на улице оставит, а баба все домой принесет. На той неделе мне сказывали, что Володька Пятов повадился в нашу лавку ходить, когда Ариша торгует… Может, зря болтают только, – бабенки молоденькие. А я за ребятами в два глаза смотрю, они у меня и воды не замутят.

– Вот гости-то ваши меня беспокоят, милушка… Ведь вон какие статуи, один другого лучше. Сумлеваюсь я насчет их… Хоть кого на грех наведут.

Когда Гордей Евстратыч уезжал с золотом в город, брагинским ребятам на прииске была полная воля. Нашлись такие люди, которые научили, как нужно свою линию выводить, то есть откладывать там и сям денежки про черный день. Расчеты по прииску были большие, и достать деньги этим путем ничего не стоило, тем более что все дело велось семейным образом, с полным доверием, так что и подсчитать не было никакой возможности. Гордей Евстратыч боялся чужих людей как огня и все старался сделать своими руками. Володька Пятов, прокутившись до нитки где-то на приисках, явился с повинной к отцу и теперь проживал в Белоглинском. При Гордее Евстратыче он, конечно, не смел и носу показать на Смородинку, но без него он являлся сюда, как домой, и быстро просветил брагинских ребят, как следует жить по-настоящему.

– Чего вам смотреть на старика-то, – говорил Пятов своим новым приятелям, – он в город закатится – там твори чего хочешь, а вы здесь киснете на прииске, как старые девки… Я вам такую про него штуку скажу, что только ахнете: любовницу себе завел… Вот сейчас провалиться – правда!.. Мне Варька шабалинская сама сказывала. Я ведь к ней постоянно хожу, когда Вукола дома нет…

Ребята разинули рот от удивления и долго не могли поверить Володьке Пятову, который врал за четверых.

– Эх вы, телята!.. – хохотал Володька. – Да где у вас глаза-то? Что за беда, если старик и потешится немного… Человек еще в поре. Не такие старики грешат: седина в бороду, а бес в ребро.

– Да ты врешь, Володька… Смотри!..

– Чего смотри?.. Я знаю, как и зовут любовницу Гордея Евстратыча. Она из немок, из настоящих, а называется Сашей. В арфистках раньше была, потом с Шабалиным жила до Варьки. Шабалин ее и сосватал тятеньке-то вашему… Мне сама Варька сказывала – потому Шабалин пьяный все ей рассказывает.

Володька Пятов, коренастый кудрявый парень, несмотря на кутежи и запретные удовольствия, был кровь с молоком, недаром родным братцем Фени считался. Такой же русый волос, такой же румянец, такие же светлые ласковые глаза, только ума у Володьки Пятова не было ни на грош: весь промотан в городе. Щеголял он всегда в модных визитках и крахмальных рубашках,

носил пуховую черную шляпу и постоянно хвастался золотыми кольцами. У женщин известного разбора Володька Пятов пользовался большим успехом и от нечего делать приволакивался за Аришей Брагиной, о чем, конечно, не рассказывал Михалке.

– Погодите, батька смотрит-смотрит да еще жениться вздумает, – посмеивался Володька Пятов. – Что, испугались? То-то… Смотрите в оба, а то как раз наследников новых наживете.

Приисковые рабочие очень любили Володьку Пятова, потому что он последнюю копейку умел поставить ребром и обходился со всеми запанибрата. Только пьяный он начинал крепко безобразничать и успокаивался не иначе как связанный веревками по рукам и ногам. Михалко и Архип завидовали пиджакам Володьки, его прокрахмаленным сорочкам и особенно его свободному разговору и смелости, с какой он держал себя везде. Особенно Архип увлекался им и старался во всем копировать своего приятеля, даже в походке.

Слухи о баловстве брагинских ребят, конечно, скоро разошлись везде и разными досужими людьми были переданы, между прочим, Колобовым и Савиным, с приличными добавлениями и прикрасами. Конечно, обе семьи поднялись на ноги, особенно старухи, и пошла писать история. Общая беда теперь помирила их. Агнея Герасимовна разливалась рекой, оплакивая свою Аришу, как мертвую; Матрена Ильинична тоже крепко убивалась о своей Дуне, которая вдобавок уже давно ходила тяжелая и была совсем «на тех порах», так что ей и сказать ничего было нельзя. В лавке сидела теперь большею частью одна Ариша, которую иногда сменяла только Нюша; дело было летнее, тихое в торговле, и Ариша справлялась со всей торговлей. Она иногда брала с собой в лавку своего Степушку, и время летело незаметно, как за всякой работой. Волокитство Володьки Пятова сначала напугало Аришу, а когда он пропал из Белоглинского завода – молодая женщина совсем успокоилась. Вот именно в этот момент и зачастила в лавку сама Агнея Герасимовна, по своей доброте не умевшая даже прикрыться каким-нибудь задельем.

– Как у вас там, дома-то? – спрашивала старушка, жалостливо глядя на свою ненаглядную доченьку.

– Чтой-то, маменька, как ты и спрашиваешь… – удивлялась Ариша.

– Да я так, Ариша, к слову пришлось… Муж-то как у тебя?

– Муж… да чего ему сделается, маменька?.. Будто редко теперь дома бывает, а так ничего.

– Ну а Татьяна Власьевна?

– И Татьяна Власьевна ничего…

Эти разговоры с маменькой кончились тем, что ничего не подозревавшая Ариша наконец заплакала горькими слезами, почуя что-то недоброе. Агнея Герасимовна тоже досыта наревелась с ней, хотя и догадалась бóльшую половину утаить от дочери.

– Только, ради истинного Христа, Аришенька, ничего не говори Дуняше, – упрашивала Агнея Герасимовна, утирая лицо платочком, – бабочка на сносях, пожалуй, еще попритчится что… Мы с Матреной Ильиничной досыта наревелись об вас. Может, и зря люди болтают, а все страшно как-то… Ты, Аришенька, не сумлевайся очень-то: как-нибудь про себя износим. Главное – не доведи до поры до времени до большаков-то, тебе же и достанется.

Ариша ходила всю неделю с опухшими красными глазами, а когда в субботу вечером с прииска приехал Михалко – она лежала в своей каморке совсем больная. Татьяна Власьевна видела, что

что-то неладное творится в дому, пробовала спрашивать Аришу, но та ничего не сказала, а допытываться настрого Татьяна Власьевна не хотела. «Может, и в самом деле нездоровится», – решила про себя старуха и напоила Аришу на ночь мятой. Глядя на Аришу, закручинилась и Дуня. А ночью Татьяна Власьевна слышала в каморке какой-то подозрительный шум, а затем плач: это была первая семейная сцена между молодыми. Ариша сначала молчала, а потом начала упрекать мужа; Михалко оправдывался, ворчал и кончил тем, что поколотил жену. Ариша, в одной рубашке, простоволосая, с плачем ворвалась в комнату Татьяны Власьевны и подняла весь дом на ноги. Старухе стоило больших трудов успокоить невестку и уговорить, чтобы она не доводила дело до Гордея Евстратыча, который, на счастье, не был в эту ночь дома.

Утром завернула к Брагиным Марфа Петровна, и все дело объяснилось. Хотя Пазухины были и не в ладах с Брагиными из-за своего неудачного сватовства, но Марфа Петровна потихоньку забегала покалякать к Татьяне Власьевне. Через пять минут старуха узнала наконец, что такое сделалось с Аришей и откуда дул ветер. Марфа Петровна в таком виде рассказала все, что даже Татьяна Власьевна озлобилась на свою родню.

– И ведь что говорят-то, – задыхаясь, рассказывала Марфа Петровна. – Михалку пропойцом называют, а про Архипа… ну, одним словом, славят про него, что он путается с приисковыми девками. И шлюху-то его называют… Ах, дай Бог память… Домашкой ее зовут, из полдневских она. Так и девчонка-то бросовая, разговору не стоит, а старухи-то тростят страсть как… Будто Архип-то и ночей не спит в казарме, когда Гордея Евстратыча не бывает в казарме. Ведь чего только и наговорят, Татьяна Власьевна… Статошное ли дело, чтобы от такой молодой да красивой жены, как ваша Дуня, да муж побежал к какой-то шлюхе Домашке. Кто этому поверит? Тоже вот про Володьку Пятова разное болтают. Да уж я вам всего-то рассказывать не стану, Татьяна Власьевна; пустяки это все, я так думаю.

– Нет уж, Марфа Петровна, начала – так все выкладывай, – настаивала Татьяна Власьевна, почерневшая от горя. – Мы тут сидим в своих четырех стенах и ничем-ничего не знаем, что люди-то добрые про нас говорят. Тоже ведь не чужие нам будут – взять хоть Агнею Герасимовну… Немножко будто мы разошлись с ними, только это особь статья.

– Вот Агнея-то Герасимова все и ходила в лавку к Арише, да и надувала ей в уши… Да. Только всего она Арише не сказала, чего промежду себя дома-то разговаривают. О чем бишь я хотела вам рассказывать-то?..

– О Володьке Пятове…

– Да-да… так. Третьего дня вечерком завернула я к Савиным, а там Агнея Герасимовна сидит. Меня чай оставили пить. Ну, старухи-то и пошли костить про Володьку, как он ваших ребят сомущает на всякие художества: Михалку – насчет водки и к картам приучает, а Архипа – по женской части… А потом про Шабалина начали говорить да про Порфира Порфирыча, какие они поступки поступают на Смородинке: дым коромыслом… А ребята-то молодые – им это и повадно. Да еще Шабалин-то учит ваших ребят всяким пакостям… А Володька Пятов опять затащил Архипа как-то к Варьке шабалинской. Ей-богу, не вру… Ну а Варька-то заодно с Володькой обманывает Вукола-то Логиныча. А как вы думаете: на вино, да на карты, да на разные поступки с этими шлюхами ведь деньги надо?..

– Вот я это-то и думаю, Марфа Петровна: ведь у Михалки с Архипом и денег сроду своих не бывало, отец их не потачит деньгами-то. А что приисковые-то расчеты, так ведь сам отец их подсчитывает, через его руки всякая копеечка проходит.

– Позвольте, Татьяна Власьевна… Я то же старухам говорю, а они на Володьку на Пятова все валят: он и с ключом-то своим в чужой сундук сходит, и отца поучит обманывать в расчетах, и на всякие художества подымается из-за этих самых денег. Он отца родного сколько раз обкрадывал, а чужих людей подавно. Агнея-то Герасимовна как заговорит про Володьку, так у ней глаза и заходят, потому как его она и считает заводчиком всяких пакостей. Я про себя, Татьяна Власьевна, так думаю, голубушка… Чужие-то дела куды ловко судить: и то не так, и это не так, а к своим ума не приложишь… Теперь взять хоть Агнею Герасимовну или Матрену Ильиничну: старухи, кажется, степенные, умницами слывут, а тут давай-ка мутить на весь Белоглинский завод. По-моему, им бы молчать да молчать, а не то что самим рассказывать… Так ведь, Татьяна Власьевна?

– Истинная правда, Марфа Петровна. Вот этого и я в разум никак не возьму! Зачем чужим-то людям про свою беду рассказывать до время? А тут еще в своей-то семье расстраивают.

– Вот, вот, Татьяна Власьевна… Вместо того чтобы прийти к вам или вас к себе позвать да все и обсудить заодно, они все стороной ладят обойти, да еще невесток-то ваших расстраивают. А вы то подумайте, разве наши-то ребята бросовые какие? Ежели бы и в самом деле грех какой вышел, ну по глупости там или по малодушию, так Агнее-то Герасимовне с Матреной Ильиничной не кричать бы на весь Белоглинский завод, а покрыть бы слухи да с вами бы беду и поправить.

– Так, так, Марфа Петровна. Справедливые слова ты говоришь… Будь бы еще чужие – ну, на всякий роток не накинешь платок, а то ведь свои – вот что обидно.

– По-моему, Татьяна Власьевна, всему этому делу настоящие заводчики эти самые Савины и Колобовы и есть… Ей-богу!..

– Да ведь свои они нам, как ни поверни, Марфа Петровна… Что им за нужда на своих-то детей беду накликать?

– Ах, Татьяна Власьевна, Татьяна Власьевна… А если они все в ослеплении свои поступки поступают? Можно сказать, из зависти к вашему богатству все и дело-то вышло… Вот и рады случаю придраться к вам!

Результатом таких разговоров было то, что Татьяна Власьевна совсем отшатнулась от своей родни и стала даже защищать внуков, которых «обнесли напраслиной». Она теперь взглянула на дело именно с своей личной точки зрения, как обиженная сторона, и горой встала за фамильную честь. Так как скрывать долее было нельзя от Гордея Евстратыча, то Татьяна Власьевна и рассказала ему все дело, как понимала его сама. Против ожидания, Гордей Евстратыч не вспылил даже, а отнесся к рассказу жаловавшейся мамыньки почти безучастно и только прибавил:

– Ну, пусть их, мамынька… Почешут-почешут языки, да и отстанут. Всего не переслушаешь. Занялся бы я этими вашими сплетками, да, вишь, мне не до них: в Нижний собираться пора.

– А с кем ты поедешь-то, милушка?

– Не знаю еще… Может, Вукол поедет, так с ним угадаю.

– Ох, милушка, милушка… Вукол-то этот… сумлеваюсь я…

– Пустое, мамынька… Тоже, мамынька, и про Вукола много зря болтают, как и про нас с тобой. Человек как человек.

– Ну как знаешь, милушка… А только ты поговорил бы с Аришей-то, больно она убивается. Расстраивают ее, ну, она и скружилась…

– Хорошо, мамынька, поговорю…

Гордей Евстратыч всегда очень любил свою старшую невестку, для которой у него никогда и ни в чем не было отказа. Только в последний год он как будто переменился к ней, так по крайней мере думала сама Ариша, особенно после случая с серьгами и брошкой. Ей казалось, что Гордей Евстратыч все сердится за что-то на нее, не шутит, как бывало прежде, и часто придирается, особенно по торговле. Придет в лавку и начнет пропекать, то есть не то чтобы он бранился или кричал, а просто по всему было видно, что он недоволен. Ариша даже стала немного бояться своего свекра, особенно когда он был навеселе и делался такой румяный – даром что старик. И глаза у него как-то особенно блестели, и Арише казалось, что Гордей Евстратыч все смотрит на нее. Раза два в таком виде он заходил к ней в лавку и совсем ее напугал: смеется как-то так нехорошо и говорит что-то такое совсем несообразное. Потом Ариша заметила, что Гордей Евстратыч никогда не заходит в лавку, когда там сидит Дуня, и что вообще дома, при других, он держит себя с ней совсем иначе, чем с глазу на глаз. Поэтому, когда Татьяна Власьевна послала Аришу на другой день после разговора с сыном в его горницу, та из лица выступила: Гордей Евстратыч только что приехал от Шабалина и был особенно розовый сегодня. Дуня лежала больная в своей каморке, Нюша была в лавке, – вообще дом был почти совсем пустой.

– Ступай, ступай, с тобой поговорить хочет отец-то… – посылала Татьяна Власьевна невестку. – Да говори прямо, все, что сама знаешь, как родимому отцу.

Ариша набросила свой ситцевый сарафан, накинула шаль на голову и со страхом переступила порог горницы Гордея Евстратыча. В своем смущении, с тревожно смотревшими большими глазами, она особенно была хороша сегодня. Высокий рост и красивое здоровое сложение делали ее настоящей красавицей. Гордей Евстратыч ждал ее, ходя по комнате с заложенными за спину руками.

– Вы, тятенька, меня звали на что-то…

– Да, звал, Ариша. Садись вот сюда, потолкуем ладком… Что больно приунищилась?.. Не бойсь, не укушу. Для вас же стараюсь…

Гордей Евстратыч придвинул свой стул к стулу Ариши и совсем близко наклонился к ней, так что на нее пахнуло разившим от него вином; она хотела немного отодвинуться от свекра, но побоялась и только опустила вспыхнувшее лицо. Гордей Евстратыч тоже заметно покраснел, а глаза у него сегодня совсем были подернуты маслом.

– Ну, Ариша, так вот в чем дело-то, – заговорил Гордей Евстратыч, тяжело переводя дух. – Мамынька мне все рассказала, что у нас делается в дому. Ежели бы раньше не таили ничего, тогда бы ничего и не было… Так ведь? Вот я с тобой и хочу поговорить, потому как я тебя всегда любил… Да-а. Одно тебе скажу: никого ты не слушай, окромя меня, и все будет лучше писаного. А что там про мужа болтают – все это вздор… Напрасно только расстраивают.

– Я ведь, тятенька, ничего…

– Хорошо… Ну, что муж тебя опростоволосил, так это опять – на всякий чох не наздравствуешься… Ты бы мне обсказала все, так Михалко-то пикнуть бы не смел… Ты всегда мне говори все… Вот я в Нижний поеду и привезу тебе оттуда такой гостинец… Будешь меня слушаться?

– Я, тятенька, из вашей воли никогда не выходила…

– И отлично… А вперед еще больше старайся. На мужа-то не больно смотри: щенок еще он… Ну, ступай с Богом…

Ариша, по заведенному обычаю, в благодарность за науку, повалилась в ноги тятеньке, а Гордей Евстратыч сам поднял ее, обнял и как-то особенно крепко поцеловал прямо в губы, так что Ариша заалелась вся как маков цвет и даже закрыла лицо рукой.

– Видно, горько старого целовать? – спрашивал Гордей Евстратыч, отнимая руку Ариши. – Ты ведь у меня умница… Только ничего никому не рассказывай – поняла? Всем по гостинцу привезу, а тебе наособицу… А ежели муж будет обижать, ты мне скажи только слово…

– Нет, мне, как другим, тятенька… Я не хочу наособицу…

– Ах ты, глупая… А если я хочу? Понимаешь: я этого хочу!

«Видно, отец-то поначалил крепко…» – подумала Татьяна Власьевна, взглянув на красное лицо выходившей из горницы Ариши.

Через неделю Гордей Евстратыч укатил вместе с Шабалиным на ярмарку в Нижний.

XIV

Из Нижнего Гордей Евстратыч действительно привез всем по гостинцу: бабушке – парчи на сарафан и настоящего золотого позумента, сыновьям – разного платья и невесткам – тоже. Самые лучшие гостинцы достались Нюше и Арише; первой – бархатная шубка на собольем меху, а второй – весь золотой «прибор», то есть серьги, брошь и браслет. Такая щедрость удивила Татьяну Власьевну, так что она заметила Гордею Евстратычу:

– Как я погляжу, милушка, балуешь ты Аришу…

– А ежели я так хочу, мамынька? – упрямо заявил Гордей Евстратыч. – Может, она мне лучше всех угодила, ну и дарю…

– Дуне опять завидно, милушка…

– Ну, Дуня пусть еще постарается в свою долю, тогда и ее пожалуем.

– Ох, только бы не избаловать, милушка. Дело-то еще больно молодое, хоть и Аришу взять… Возмечтает, пожалуй, и старших не будет уважать. Нынче вон какой безголовый народ пошел, не к нам будь сказано! А ты, милушка, никак бороду-то себе подкорнал на ярмарке?

– Немножко, мамынька… Нельзя же супротив других чертом ходить. Лучше нас есть, мамынька, да тоже бороды себе подправляют, ну и я маненько подправил, так, самую малость…

Последнее обстоятельство очень конфузило Гордея Евстратыча перед домашними, хотя он и бодрился. Вообще Татьяна Власьевна скоро заметила, что милушка, кроме подстриженной бороды, привез из ярмарки много других новостей и точно сделался совсем другой человек, как она к нему ни приглядывалась. Больше всего старухе не нравилось в сыне то, что он начал «форсить» в том же роде, как форсил Вукол Шабалин. И платья себе навез из ярманки форсистого, и сапоги лаковые со скрипом, и маслом деревянным перестал мазаться – вообще

крепко начал молодиться, и даже точно лицо у него совсем другое сделалось. Впрочем, новое платье Гордей Евстратыч долго не решался надеть, даже очень сумлевался, пока по первопутку не съездил в город сдавать золото, откуда приехал уже совсем форсуном: в длинном сюртуке, в крахмальной сорочке, брюки навыпуск – одним словом, «оделся патретом», как говорил Зотушка. «Темноту-то нашу белоглинскую пора, мамынька, нам оставлять, – коротко объяснил Гордей Евстратыч собственное превращение, – а то в добрые люди нос показать совестно...» Но провести разными словами Татьяну Власьевну было довольно трудно, она видела, что тут что-то кроется, и притом кроется очень определенное: с женским инстинктом старуха почуяла чье-то невидимое женское влияние и не ошиблась. Завернувшая на секундочку Марфа Петровна очень подробно и красноречиво отрапортовала, зачем повадился Гордей Евстратыч по городам ездить: немку себе завел... Она с ним и в Нижний ездила, она и переодела его, и бороду подстричь заставила – одним словом, завертела мужика. А эту немку подсунула Гордею Евстратычу шабалинская Варя, – это уж ее рук дело.

– И денег он на эту немку травит, страсть... Квартиру ей завел в городу и всякое прочее, – объясняла Марфа Петровна. – У Колобовых да у Савиных в голос все кричат про нее.

– А я так думаю, Марфа Петровна, что пустое это болтают, – обрезала Татьяна Власьевна, – как тогда про ребят наших наврали тоже. Как Гордей-то Евстратыч был в Нижнем, я сама нарочно сгоняла на Смородинку, ночью туда приехала и все в исправности там нашла... Так и теперь, пустое плетут на Гордея Евстратыча...

Такой ответ и удивил, и обидел Марфу Петровну: значит, и она тоже плетет напраслину вместе с другими. Полное лицо Марфы Петровны покрылось багровыми пятнами, но она вовремя спохватилась, что Татьяна Власьевна просто глаза отводит и говорит только для одной видимости.

– Я ведь и сама то же самое думаю, – заговорила Марфа Петровна, переходя в другой тон. – И раньше я вам говорила... Все это Савины да Колобовы придумывают.

К зиме работа заметно убавилась, и половина старателей была рассчитана начисто, но Михалко и Архип по-прежнему оставались на прииске. Гордей Евстратыч и слышать ничего не хотел о том, чтобы дать ребятам отдохнуть. «Молоды еще отдыхать-то, – говорил он на все доводы Татьяны Власьевны, – пусть в свою долю поработают, а там увидим». Татьяна Власьевна решительно не знала, чем объяснить себе такое упрямство. А Гордей Евстратыч что-то держал на уме, потому что совсем забросил прииск, куда заглядывал какой-нибудь раз в неделю; он теперь редко бывал дома, а все водил компанию с разными приезжими господами, которым Татьяна Власьевна давно и счет потеряла. Какие-то, Господь их знает, шаромыжники не шаромыжники, а в том же роде, хотя Гордей Евстратыч и говорит, что это и есть самая настоящая компания и все эти господа всё нужный народ. Для чего они были нужны – Татьяна Власьевна не могла дать ума, потому что этаковой-то бросовый народ какие такие дела мог делать... А тут еще приехала из своего Верхотурья модница Алена Евстратьевна и опять пошла все крутить да мутить: так братцем и поворачивает, как хорошим болваном. Конечно, насчет моды Алена Евстратьевна, можно сказать, все произошла и могла поставить брагинский дом на настоящую точку, как в других богатых домах все делается, но, с другой стороны, Татьяна Власьевна не могла никак простить дочери, что по ее милости расстроилась свадьба Нюши и произошло изгнание Зотушки.

– Вот теперь и полюбуйся... – корила свою модницу Татьяна Власьевна, – на кого стала наша-то Нюша похожа? Бродит по дому, как омморошная... Отец-то шубку вон какую привез из Нижнего, а она и поглядеть-то на нее не хочет. Тоже вот Зотушка... Хорошо это нам глядеть на него, как он из милости по чужим людям проживается? Стыдобушка нашей головушке, а чья

это работа? Все твоя, Аленушка…

– Ничего, мамочка. Все дело поправим. Что за беда, что девка задумываться стала! Жениха просит, и только. Найдем, не беспокойся. Не чета Алешке-то Пазухину… У меня есть уж один на примете. А что относительно Зотушки, так это даже лучше, что он догадался уйти от вас. В прежней-то темноте будет жить, мамынька, а в богатом дому как показать этакое чучело?.. Вам, обнаковенно, Зотушка сын, а другим-то он дурак не дурак, а сроду так. Только один срам от него и выходит братцу Гордею Евстратычу.

– Нехорошие ты слова, Аленушка, выговариваешь, чтобы после не покаяться… Все под Богом ходим. Может, Зотушка-то еще лучше нас проживет за свою простоту да за кротость. Вот ужо Господь-то смирит вас с братцем-то Гордеем за вашу гордость.

– Ах, мамаша, ничего вы не понимаете!.. – заканчивала обыкновенно модница такие разговоры. – Нельзя же по-прежнему жить без всякого понятия…

Татьяна Власьевна заметила, что в последнее время между Гордеем Евстратычем и Аленой Евстратьевной завелись какие-то особенные дела. Они часто о чем-то разговаривали между собой потихоньку и сейчас умолкали, когда в комнату входила Татьяна Власьевна. Это задело старуху, потому что чего им было скрываться от родной матери. Не чужая ведь, не мачеха какая-нибудь. Несколько раз Татьяна Власьевна пробовала было попытать модницу, но та была догадлива и все увертывалась.

«Ох, недаром наша Алена Евстратьевна вертится, как береста на огне», – думала про себя старуха.

И Гордей Евстратыч все ходит как-то сам не свой, такой вдумчивый да пасмурный. Вообще после Нижегородской он сильно изменился и все делал как-то беспокойно и торопливо, точно чего боялся. И лицо у Гордея Евстратыча стало совсем другое: в нем не было прежнего спокойствия, а в глазах светилась какая-то недосказанная тревога. Часто в разговоре он даже заговаривался, то есть отвечал невпопад или спрашивал что-нибудь непутевое, совсем не к месту. «Ужо надо с отцом Крискентом посоветоваться, – решила Татьяна Власьевна, – больно неладно с отцом-то у нас… Может, это он от этих новых знакомых, а может, оттого, что водки начал принимать в себя даже очень предовольно». Отец Крискент с своей обычной благожелательностью и благовниманием выслушал все сомнения Татьяны Власьевны и глубокомысленно ответил:

– Да, да… Помните, я говорил вам тогда, Татьяна Власьевна: богатство – это испытание. Оно испытание и выходит…

– Уж я, право, отец Крискент, даже не рада этой нашей жилке; все у нас от нее навыворот пошло… Со всеми рассорились, не знаю за что; в дому сумление.

– Я вам говорил… да, говорил, – сочувственно повторял о. Крискент, покачивая своей головкой. – Нужно претерпевать, Татьяна Власьевна.

В вящее подтверждение своих слов о. Крискент с необыкновенной быстротой расстегнул и застегнул все пуговицы своего подрясника.

– Легкое место вымолвить, отец Крискент, как от нас все старые-то знакомые отшатились! Савины, Колобовы, Пятов, Пазухины… И чего, кажется, делить? Будто Гордей-то Евстратыч действительно немножко погордился перед сватовьями, ну, с этого и пошло… А теперь сваты-то слышать об нас не хотят.

– Да, да… – лепетал о. Крискент, разыгрывая мелодию на своих пуговицах. – А меня-то вы забыли, Татьяна Власьевна? Помните, как Нил-то Поликарпыч тогда восстал на меня… Ведь я ему духовный отец, а он как отвесит мне про деревянных попов. А ежели разобрать, так из-за кого я такое поношение должен был претерпеть? Да… Я говорю, что богатство – испытание. Ваше-то золото и меня достало, а я претерпел и вперед всегда готов претерпеть.

– Ох, верно, отец Крискент… Вам все это зачтется, все зачтется…

– А я о себе никогда не забочусь, Татьяна Власьевна, много ли мне нужно? А вот когда дело коснется о благопопечении над своими духовными чадами – я тогда неутомим, я… Теперь взять хотя ваше дело. Я часто думаю о вашей семье и сердечно сокрушаюсь вашими невзгодами. Теперь вот вас беспокоит душевное состояние вашего сына, который подпал под влияние некоторых несоответствующих людей и, между прочим, под влияние Алены Евстратьевны.

– Задумывается он все, отец Крискент… А о чем ему думать? Слава Богу, всего, кажется, вдоволь, и только жить да радоваться нужно… Конечно, обнесли напраслиной внучков моих, про Гордея Евстратыча болтают разное, совсем неподобное…

– Неподобное?

– Да… Даже рассказывать совестно.

– Ах да, слышал, слышал… Сие все отрыгнуто завистью и человеконенавистничеством, Татьяна Власьевна.

Руки о. Крискента усиленно забегали по пуговицам, и его маленькое лицо озарилось торжествующей улыбкой: ему пришла великолепная мысль.

– Знаете что, Татьяна Власьевна? – заговорил о. Крискент с подобающей торжественностью. – Не отчаивайтесь. У меня блеснула благая мысль. Ведь Гордея Евстратыча смущает теперь враг рода человеческого своими тайными внушениями. От этого и его беспокойство, и страх, и тревожное состояние души. Мы сделаем так, чтобы он отогнал от себя злого духа работой на Бога… Да? Помните, как я тогда предполагал сделать Гордея Евстратыча старостой? Вот мы сие и докончим… Нужно нам церковь достраивать, а делателя нет. Гордей Евстратыч достаточно высказал ревности к Божию домостроительству и не откажется продолжать начатое. А когда будет стараться для Бога, враг человеческий и отступится от него. Конечно, многие восстанут на меня, но я готов претерпеть всегда.

– Непременно восстанут, отец Крискент: и Савины, и Пазухины, и Колобовы…

– Я сие предвижу и не устрашаюсь, поелику этим самым устроим два благих дела: достроим церковь и спасем Гордея Евстратыча от злого духа… Первым делом я отправлюсь к Нилу Поликарпычу и объясню ему все. Трехлетие как раз кончается, и по уставу нам приходится выбирать нового старосту – вот и случай отменный. Конечно, Колобов у нас числится кандидатом в старосты, но он уже в преклонных летах и, вероятно, уступит.

Мысль была великолепная и совпадала с планами о. Крискента. Он очень подробно развил ее перед Татьяной Власьевной, стараясь показать, что им отнюдь не руководят какие-нибудь корыстные побуждения.

– Гордей Евстратыч собирается себе дом строить, – рассказывала Татьяна Власьевна, – да все еще ждет, как жилка пойдет. Сначала-то он старый-то, в котором теперь живем, хотел поправлять, только подумал-подумал и оставил. Не поправить его по-настоящему, отец

Крискент. Да и то сказать, ведь сыновья женатые, детки у них; того и гляди, тесно покажется – вот он и думает новый домик поставить.

– И отлично… Это даже превосходно, Татьяна Власьевна: одной рукой будет ревновать для Господа, другой для себя. А что у вас Нюша?

– Ох, и не спрашивайте… Высохла девка совсем: не знаем, что с ней и делать. И тоже Алена Евстратьевна все дело испортила…

– Гм… И нельзя поправить?

– Трудно, отец Крискент. Осердились Пазухины-то на нас, очень осердились. Конечно, Нюша еще молода, износит и не такую беду, только все-таки оно жаль, жаль смотреть-то на нее.

Отец Крискент крепко ухватился за свою благую мысль и принялся очень деятельно проводить кандидатуру Брагина в церковные старосты, причем не щадил себя, только бы прилепить Гордея Евстратыча к домостроительству Божию. Он прежде всего переговорил с влиятельными прихожанами и старичками, которые в единоверческих церквах имеют большую силу над всеми церковными делами. Впрочем, эти хлопоты значительно облегчались тем, что общий голос был за Гордея Евстратыча, как великого тысячника, которому будет в охотку поработать Господеви, да и сам по себе Гордей Евстратыч был такой обстоятельный человек, известный всему приходу. Не было забыто ничего: как ревностно посещает всегда Гордей Евстратыч храм Божий, как он умилительно поет на клиросе по дванадесятым праздникам, как истово знает все четьи минеи, и о. Крискент очень политично намекнул кое-кому о тех пожертвованиях от неизвестного, которые появляются в церковных кружках и которые принадлежат не кому другому, конечно, как тому же Гордею Евстратычу. Вообще дело быстро катилось вперед, к своему естественному концу, и о. Крискенту оставалось только переговорить с Колобовыми, Савиными, Пазухиными и самим Нилом Поликарпычем Пятовым. Это была самая щекотливая часть взятой на себя о. Крискентом миссии, хотя он и готов был претерпевать. Даже улегшись на своем жестком монашеском ложе, о. Крискент долго под одеялом то как будто расстегивал, то застегивал тысячи пуговиц, которыми было покрыто все его тело. Собственно, о. Крискент побаивался трех личностей: у Колобовых – самого Самойла Михеича, нравного и крутого на язык старика, у Савиных – самой, то есть Матрены Ильиничны, начетчицы и большой исправщицы, а у Пазухиных – злоязычной Марфы Петровны. Обойти эти дома без внимания не было возможности, потому что народ все был крепкий, кондовый, приверженный благочестию, хотя Колобовы потихоньку и прикержачивали.

Помолившись и еще раз вспомнив о великой «разделительной силе златого бисера», о. Крискент отправился прежде всего к Савиным, где Матрена Ильинична встретила его с гордой холодностью, – она уже наслышалась о подходцах, хотя и удивилась, когда о. Крискент после необходимых вступительных благоразмышлений приступил к самой сущности.

– Значит, Нила-то Поликарпыча по шеям? – обрезала Матрена Ильинична медоточивого оратора.

– Нет, я не говорю этого, Матрена Ильинична, а только делаю уповательное рассуждение…

– Ну а Самойла Михеича куда денешь? Он ведь кандидатом числится у нас в старосты…

– А может быть, Самойло Михеич сам откажется от прохождения службы в чине церковного старосты?

– А я тебе вот что скажу, отец Крискент… Все у нас было ладно, а ты заводишь смуту и свары…

Для брагинского-то золота ты всех нас разгонишь из новой церкви… Да! А помнишь, что апостол-то сказал: «Вся же благообразна и по чину вам да бывают». Значит, ежели есть староста и кандидат в старосты, так нечего свои-то узоры придумывать. Так и знай, отец Крискент.

Отец Крискент только склонил свою головку, ибо чувствовал себя в этом деле, то есть относительно Самойла Михеича, правым вдвойне: во-первых, он был только кандидат, а затем – Самойло Михеич прикержачивал. Конечно, этих мыслей о. Крискент не высказал Матрене Ильиничне, а, приняв на свою главу еще несколько ядовитых словес, с смирением потек к Колобовым. Там было не лучше. Самойло Михеич сначала прикинулся, что ничего не понимает, а потом наговорил о. Крискенту кучу мужицких грубостей вроде того, что нынче попы сидя обедни служат, а приход будет лежа Богу молиться. Это стоило «деревянных» попов Нила Поликарпыча. У Пазухина о. Крискента в свою долю отполировала Марфа Петровна. Вообще, испытание оказалось тяжелее, чем предполагал о. Крискент; он не ожидал проявления такого духа строптивости от своего словесного стада. Раньше он решил испить чашу до дна за один прием, то есть разом побывать у всех, но теперь он почувствовал себя слишком разбитым, чтобы идти еще к Нилу Поликарпычу, своему явному недоброжелателю. Удрученный самыми невеселыми мыслями, о. Крискент забрел в брагинский дом, чтобы подкрепить себя душеспасительной беседой с Татьяной Власьевной и поведать ей вынесенные сегодня поношения. У Брагиных дома были только одни женщины, и Татьяна Власьевна приняла о. Крискента с надлежащим почетом, как самого дорогого гостя.

– А я только хотела идти к вам, отец Крискент, – заговорила Татьяна Власьевна, когда они остались с глазу на глаз.

– Что такое случилось?

– Уж я вот все по порядку, отец Крискент, обскажу… Тогда я пришла от вас и к слову молвила Гордею Евстратычу про старосту-то. Думаю, как бы он чего еще не вздумал артачиться, тоже ведь как на это взглянет. Ну, сказала я это ему, а он ничего, стал расспрашивать, что и как, а потом сам и говорит: «Мамынька, надо будет помириться с Пятовым-то… Напрасно он обидел меня тогда, ну, да Господь с ним…» Я даже сперва-то ушам своим не поверила, а он опять: «Мы, – говорит, – мамынька, Алену Евстратьевну зашлем сперва к Нилу-то Поликарпычу, она насчет разговору-то у нас простовата. Пусть там поразведает».

Это известие приятно изумило о. Крискента, у которого точно гора свалилась с плеч от слов Татьяны Власьевны, хотя он, собственно, не мог сразу проникнуть всего значения такого неожиданного оборота дела.

– Это будет настоящий христианский подвиг, Татьяна Власьевна, – проговорил он, собираясь с мыслями. – Видите, только вы сказали еще одно слово, а дух разделения уже оставил Гордея Евстратыча.

– Верно, верно, отец Крискент… И ведь как это преотлично вышло! А я сначала-то даже не поверила… Только потом, когда раздумалась и вспомнила ваши-то слова о злом духе…

– Не любит он, Татьяна Власьевна, благочестивых подвигов…

– Да, да… А Гордея-то Евстратыча, может, и то еще смутило, что Зотушка-то теперь у Пятовых живет… Приютили они его, а Гордею-то Евстратычу совестно против них, вот он и хочет выправиться за один раз… Да и Алена-то Евстратьевна тут же подвернулась…

– Оно уж одно к одному… Бог даст, и совсем искореним разделительную силу злата. Довольно с

вас испытаний.

– Ох, довольно, отец Крискент! А мне, старухе, в другой раз так, пожалуй, и совсем не под силу приходится… Даже роптала сколько раз!

Действительно, модница Алена Евстратьевна на другой же день отправилась в пятовский дом и вернулась оттуда с самыми утешительными вестями. Нил Поликарпыч очень рад помириться и готовится испросить прощения у обиженного им напрасно о. Крискента. Татьяна Власьевна даже прослезилась от умиления и не знала, как ей благодарить о. Крискента за его благую мысль.

– Только бы с Пятовыми помириться, – соображала про себя Татьяна Власьевна, – а там помаленьку и с другими со всеми помиримся. Только бы отогнать злого-то духа, разделителя от милушки!.. Устрой, Господи, все на пользу.

Свидание недавних «противителей» было назначено в пятовском доме, почему хлопот Фене и Зотушке был полон рот. Нужно было все прибрать, да убрать, да приготовить. Ведь сама Татьяна Власьевна пожалует, а у ней глазок-смотрок, только взглянет и всякую неполадку насквозь увидит. Господский дом был старинной постройки, с низкими потолками, узкими окнами и толстыми кирпичными стенами, каких нынче уже не строят, за исключением, может быть, крепостей и монастырей. В комнатах все было устроено тоже по-старинному: пузатая мебель красного дерева, кисейные занавески на окнах, тюменские ковры на полу, орган «с ошибочкой в дудках», портреты генералов и архиереев на стенах, клетка с канарейками и т. д. Феня была большая охотница до цветов, и все окна были уставлены цветочными горшками, но и цветки были тоже все старинные: герани, кактусы (эти кактусы сильно походили на шишковатые зеленые косы, которые вылезали прямо из земли), петухи, жасмин, олеандры, гортензии и т. д. Модные цветы в Белоглинском заводе были только в шабалинском доме, но Феня не понимала экзотической декоративной зелени, которая всегда оставалась мертвой и не расцветала ни одним алым цветком. Все эти пальмы, филодендры, драцены, фикусы, агавы и папирусы наводили на нее тоску.

– Пошевеливайся, Зотушка! – покрикивала Феня на своего помощника. – Надо поспеть убраться до вечера, а то, пожалуй, скажут про нас с тобою неладно что-нибудь. Алена Евстратьевна бедовая у вас. Да что ты сегодня точно мертвый?

Зотушка действительно что-то крепко призадумался и все вопросительно поглядывал на барышню Фенюшку. Теперь он задумчиво почесал у себя в затылке и проговорил:

– Тяжело у меня на сердце, Федосья Ниловна.

– Что так?

– Да уж так: чует оно что-то неладное… Уж это завсегда у меня так. Чуть что – и засосет…

– Перестань врать-то… Чего тебе чуять-то? Слава Богу, что так все устроилось, будет старикам-то вздорить. Мне отца Крискента страсть как жалко тогда было, когда тятенька его обидел…

– Хорошо-то оно хорошо, это точно, а все-таки оно несовсем… Ох, недаром эта модница, наша Аленушка, прилетала! С добром она не ходит, не нам будь сказано.

– Да что она может сделать?

– Эх, барышня, барышня… Чужая душа потемки, барышня, а только неспроста сестричка

прилетала. Грешный человек – не люблю ее: вот тебя люблю, а ее нет. Душа не лежит к человеку, голубушка Фенюшка…

Феня серьезно побаивалась гостей, то есть, собственно, Татьяны Власьевны и Алены Евстратьевны, которые своим женским всевидящим взглядом увидят каждую соринку, каждый хозяйственный промах. Девушка целых два дня хлопотала по всему дому, чтобы все было как следует, как у других. Она перебрала посуду, столовое серебро, скатерти, двадцать раз сбегала вниз к кухарке Анисье, чтобы самой за всем досмотреть и все приготовить. В порыве усердия она даже подстригла и перемыла все цветы, точно зоркий глаз бабушки Татьяны мог заметить каждый засохший листочек. В назначенный день, когда вечером должны были собраться гости, Феня испытывала лихорадочное волнение и с четырех часов перебегала от окна к окну, выглядывая – не покажутся ли знакомые крашеные пошевни, в которых обыкновенно приезжала Нюша. В своем шерстяном платье цвета бордо, плотно охватывавшем ее статную фигуру, девушка была очень красива, а тревога и беспокойство придавали ее лицу такое хорошее выражение. Нил Поликарпович тоже чувствовал себя не совсем спокойно и все старался прикрыть свою лысину остатками волос, сохранившимися на висках. Для воодушевления он несколько раз пробовал было затянуть: «Твоя победительная десница», но ничего не выходило, и он неровно начинал шагать по зале, поправляя ногами ковры и пробуя произвести некоторую симметрию в цветочных горшках. Это был тихий и молчаливый человек с очень развитыми семейными наклонностями; Феню любил он до безумия, хотя и не умел проявить своего чувства громкими внешними формами, как делают другие отцы. Но Феня сердцем чувствовала эту любовь и ценила своего молчаливого, немножко странного отца.

Первыми приехали бабушка Татьяна с Аленой Евстратьевной.

– А где Нюша? – спрашивала Феня, выскакивая встречать гостей на крыльцо.

– Дома осталась, дома… Что-то головой скудается, – ответила бабушка Татьяна, целуясь с Феней. – Отец-то дома?

– Дома, дома… Здравствуйте, Алена Евстратьевна!..

– Гордей Евстратыч сейчас приедет, он заехал только за отцом Крискентом, – ответила бабушка Татьяна на немой вопрос Фени.

Нил Поликарпыч встретил гостей в передней и с молчаливой улыбкой провел их в гостиную, куда Анисья уже тащила большущий поднос с чашками. Модница Алена Евстратьевна разоделась в шелковое зеленое платье со шлейфом и в кружевную наколку; она была в зеленых перчатках и золотых серьгах с малиновыми шерлами. Женщины, конечно, зорко оглядели комнаты и, похвалив молодую хозяйку за образцовый порядок, уселись вокруг стола. В это время подкатили сани с Гордеем Евстратычем и о. Крискентом; Нил Поликарпыч выбежал встречать их на крыльцо, а затем провел в гостиную, где и состоялась трогательная сцена примирения. Гордей Евстратыч и Нил Поликарпыч облобызались и обнялись, а затем Нил Поликарпыч отвесил земной поклон о. Крискенту и со смирением проговорил:

– Прости и благослови, отче, меня, окаянного.

– Бог тебя простит, Нил Поликарпович, а я давно простил, поелику сие было только разделительное недоразумение отъинуда. Жили мы с тобой до старости, не ссорились, а теперь и подавно не следует нам ссориться. Мир дому сему, и паки мирови мир…

Чай прошел в самой непринужденной дружеской беседе, причем все старались только об одном: чтобы как можно угодить друг другу. Отец Крискент торжествовал и умиленно

поглядывал на Татьяну Власьевну, выглядывавшую в своем шелковом темно-синем сарафане настоящей боярыней. Гордей Евстратыч, в новом городском платье, старался держаться непринужденно и весело шутил. Когда подана была закуска, общее настроение достигло последних границ умиления, и Нил Поликарпович еще раз облобызался с Гордеем Евстратычем.

– Испытание, испытание… – лепетал о. Крискент, вознесенный даже до третьего блаженства. – Нужно все претерпевать. Да!

За закуской мужчины долго толковали о своих делах, то есть о постройке новой церкви, о должности церковного старосты и т. д. Гордей Евстратыч говорил, что он рад потрудиться для Божьего дела и чувствует себя еще в силах; потом начал рассказывать о доме, который затевал строить. Место уже было подсмотрено, только Гордей Евстратыч выжидал еще одного случая, а какого случая – он недосказал. Татьяна Власьевна вслушивалась в этот разговор, и ей не нравился тот тон, каким говорил Гордей Евстратыч о своем новом доме и о том, что он еще в силах, точно он хвастался перед Нилом Поликарпычем; потом старухе не понравилось, как себя держала модница Алена Евстратьевна с молодой хозяйкой, точно она делала ей какой экзамен. Феня краснела и смущалась, а Алена Евстратьевна с какой-то загадочной улыбкой величественно кивала головой и время от времени все взглядывала на братца Гордея Евстратыча, который почему-то смущался и начинал кусать свою подстриженную бороду.

В восемь часов был подан ужин, потому что в Белоглинском заводе все ложатся очень рано. Стряпня была своя домашняя, не заморская, но гости находили все отличным и говорили нехитрые комплименты молодой хозяйке, которая так мило конфузилась и вспыхивала ярким румянцем до самой шеи. Гордей Евстратыч особенно ласково поглядывал сегодня на Феню и несколько раз принимался расхваливать ее в глаза, что уж было совсем не в его характере.

– Я и не знал, что твоя Феня такая хозяйка, – говорил он Нилу Поликарпычу, поглаживая бороду. – Вон у меня их трое, молодых-то, в дому, а толку, пожалуй, супротив одной не будет.

Алена Евстратьевна подхватывала похвальные слова братца и еще сильнее заставляла краснеть смущенную Феню, которая в другой раз не полезла бы за словом в карман и отделала бы модницу на все корки; но общее внимание и непривычная роль настоящей хозяйки совсем спутывали ее. Отец Крискент хотел закончить этот знаменательный день примирением Гордея Евстратыча с Зотушкой, но когда хватились последнего – его и след простыл. Это маленькое обстоятельство одно и опечалило о. Крискента и Татьяну Власьевну.

– Ну, уважила ты нас всех, Феня, – говорил на прощанье Гордей Евстратыч. – Пожалуй, я этак часто поважусь к вам в гости ездить…

– Чтой-то, милушка, пристали вы сегодня к девке, – останавливала Татьяна Власьевна. – Проходу не даете…

– Да ведь я так… Мне, старику, можно поболтать пустяки с молоденькими. Ведь я старик, Феня? Уж дедушка давно!

– Какой вы старик, – наивно ответила Феня. – Вот тятенька действительно старик, а вы еще…

– Что еще-то?

Феня окончательно смутилась и не знала, что ей ответить.

– Я еще у тебя, Феня, в долгу, – говорил Гордей Евстратыч, удерживая на прощанье в своей

руке руку Фени. – Знаешь за что? Если ты не знаешь, так я знаю… Погоди, живы будем, в долгу у тебя не останемся. Добрая у тебя душа, вот за что я тебя и люблю. Заглядывай к нам-то чаще, а то моя Нюша совсем крылышки опустила.

XV

Примирение с Пятовыми точно внесло какую благодать в брагинскую семью; все члены ее теперь вздохнули как-то свободнее. Гордей Евстратыч «стишал» и начал походить на прежнего Гордея Евстратыча, за исключением своего нового костюма, с которым ни за что не хотел расстаться. Михалко и Архип выезжали теперь с прииска раза три в неделю, и невестки вздохнули свободнее. Точно к довершению общего благополучия, у Дуни родилась прехорошенькая девочка.

– Мне мальчишек больше не надо, – говорил счастливый Гордей Евстратыч. – Девочка не в пример лучше…

Татьяна Власьевна поняла последние слова как утешение Дуне, которой хотелось иметь первенцем сына; но Гордей Евстратыч говорил совершенно серьезно и пестовал маленькую Таню даже больше, чем своего внука Степушку. Когда Татьяна Власьевна предложила в кумовья Нила Поликарпыча, Гордей Евстратыч точно испугался и сказал, что у него уже есть кум, знакомый золотопромышленник, а кумой будет сестрица Алена Евстратьевна. Теперь Пятовы часто бывали у Брагиных и Брагины у Пятовых. Вообще все шло как по маслу, и только в общем довольстве не принимал никакого участия один Зотушка, который в самый момент примирения Гордея Евстратыча с Нилом Поликарпычем перебрался совсем из пятовского дома под крылышко Агнеи Герасимовны, где и проживал все время. Как ни старались залучить Зотушку, чтобы помирить с братцем Гордеем Евстратычем, – все было напрасно. Феня нарочно ездила к Колобовым, чтобы выпытать у Зотушки, почему он не хочет мириться, но ничего не могла добиться. Зотушка плакал от радости, когда видел свою барышню, но на все расспросы говорил самые непонятные слова: «Так уж лучше будет, моя барышня…», «Погоди, вот ужо соберусь…» и т. д.

– Ведь это грешно, наконец, Зотушка, – увещевала упрямого Божьего человека Феня. – Бабушка Татьяна много слез из-за тебя пролила…

– Я сам, барышня Фенюшка, плачу обо всех, часто плачу… А бабушке Татьяне скажи от меня, что ее слезы еще впереди, большие слезы.

– Что ты, Зотушка, Господь с тобой! Какие ты слова говоришь?..

– А ты думаешь, мне легко их говорить? И тебе, барышня моя распрекрасная, тоже слезы будут… Да.

– Ну, уж я-то не заплачу, ты это напрасно говоришь…

– Вот и заплачешь, вместе с бабушкой Татьяной заплачешь… Покудова сестрица Алена Евстратьевна будет гостить – Зотушка не придет. Так и бабушке Татьяне скажи, Феня.

– Ах, какой ты несговорный, Зотушка. Ну стоит на тетку Алену сердиться? Ты знаешь, какая она, значит, и толковать о ней нечего…

– Знаю, все знаю, чего и вы не знаете. Да… А мне тебя жаль, Феня, касаточка, вот как жаль.

Зотушка действительно несколько раз начинал плакать и со слезами целовал белые ручки барышни Фенюшки.

– Вздор мелет! – сердито отрезала Татьяна Власьевна, когда Феня передавала ей свои разговоры с Зотушкой. – Это его Колобовы да Савины настраивают… Что ему скажут, он то и мелет.

Перед самым Рождеством Зотушка жестоко закутил, и его оставили в покое.

Благодаря неутомимым хлопотам о. Крискента Гордей Евстратыч был наконец выбран церковным старостой. Когда Савины и Колобовы узнали об этом, они наотрез отказались ходить в единоверческую церковь и старались также смутить и Пазухиных. Такие проявления человеческой злобы сильно смущали о. Крискента, но он утешал себя мыслью, что поступал совершенно справедливо, радея не для себя, а для церковного благолепия.

– Савины и Колобовы не ко мне в церковь ходят, а к Богу, – говорил о. Крискент со смирением. – Всуе мятутся легковернии…

Но Савины и Колобовы думали несколько иначе и даже послали на о. Крискента два доноса – один преосвященному, а другой в консисторию, находя выборы нового старосты неправильными. Узнав об этом, о. Крискент не только не смутился, но выказал большую твердость духа и полную готовность претерпеть в борьбе с разделительными силами, волновавшими теперь его словесное стадо.

А Гордей Евстратыч уже вступил в отправление своих старостинских обязанностей, и все прихожане не могли им нахвалиться. Первым его подвигом в новой обязанности было то, что он пожертвовал в новую церковь весь иконостас, то есть заказал его на свой счет, а затем помогал везде, где только показывалась церковная нужда: сшил церковным каморникам новые кафтаны, купил новое паникадило, сделал новые праздничные ризы и т. д. Эти пожертвования, на худой конец, стоили тысяч пять, и все преклонялись пред благотворительностью нового тысячника Гордея Евстратыча. Истинным любителям церковного благолепия, какие встречаются только в единоверческих церквах, больше всего нравился сам Гордей Евстратыч, когда он стоял за старостинским прилавком в своем старостинском кафтане. Это был такой осанистый, красивый старик, точно на заказ. Все, что он делал, выходило у него так торжественно и благочестиво, что даже о. Крискент любовался из алтаря новым старостой, когда он с степенной важностью ставил свечи, откладывая широкие единоверческие кресты. Последняя бабенка, ставившая копеечную желтую свечку, и та чувствовала, что ее жертва точно будет приятнее Богу, если пройдет через руки Гордея Евстратыча… И Нил Поликарпыч, конечно, был отличный староста, но у него был один, очень неприятный недостаток: Нил Поликарпыч, по своей рассеянности, часто забывал, кому заказаны были свечи, и ставил их наугад. Впрочем, при особенной ревности единоверцев ставить свечи пред образами трудно было и не перемешать, когда, например, у старосты на руках зараз являлось свеч пятнадцать или двадцать. Но Гордей Евстратыч в этом случае обладал исключительно счастливой памятью и скоро совершенно затмил своего предшественника.

– Тебе и книги в руки, Гордей Евстратыч, – сознавался сам Пятов, когда они вечерком сидели в гостиной о. Крискента за стаканом чаю. – Экая у тебя память… А меня часто-таки браковали бабенки, особенно которая позубастее. Закажет Флору и Лавру, а я мученику Митрофану поставлю.

Вообще Гордей Евстратыч оказался как раз на своем месте и отнесся к своим новым обязанностям с особенною ревностью, так что удивлял даже о. Крискента.

Благодаря новому старосте праздничная служба на Рождестве отличалась особенной торжественностью. Единоверческая церковь, низенькая и тесная, переделанная из старинной раскольничьей молельни с полатями и перегородкой посредине, была вычищена до последнего уголка; множество свеч, новые ризы на священнике и дьяконе, наконец, сам новый староста в своем форменном кафтане – все дышало благолепием. Вся брагинская семья была в церкви. Впереди других, у левого клироса, стояла в белом кисейном платье Феня Пятова; она была необыкновенно хороша, как распустившаяся роза. Гордей Евстратыч часто поглядывал на нее и, когда ходил ставить свечи к местным образам, проходил мимо нее так близко, что задевал ее локтем. Девушка опускала глаза и едва заметно улыбалась; Гордей Евстратыч чувствовал эту тихую улыбку, которая мешала ему молиться, и даже сердился на Феню и других девок, которые выпятились вперед. Недаром прежде молельня была разделена глухой деревянной перегородкой на две половины, мужскую и женскую: соблазну никакого. Даже Татьяна Власьевна заметила, что Гордей Евстратыч молится как будто не совсем истово, и сделала ему строгий выговор.

Святки для Брагиных на этот раз прошли необыкновенно весело, хотя особенных гостей и не было, кроме Порфира Порфирыча, Шабалина, Липачка и Плинтусова. Молодежи набралось столько, что устраивали святочные игры, пели песни, гадали и т. д. Порфир Порфирыч оказался самым подходящим человеком, чтобы топить олово, ходить по улицам и спрашивать у встречных, как зовут жениха, играть в жмурки и вообще исполнять бесчисленные причуды развеселившейся молодежи. Феня и Нюша одевали Порфира Порфирыча в сарафан бабушки Татьяны и в ее праздничную сорочку и в таком виде возили его по всему Белоглинскому заводу, когда ездили наряженными по знакомым домам. Даже Нюша и та заметно «отошла» и, кажется, начинала помаленьку забывать своего Алешку. Зотушка устраивал костюмы, но сам не участвовал в общем веселье, ссылаясь на головные боли и какое-то «трясение» после недавнего пьянства. Вообще веселье лилось через край, всяк куролесил в свою долю. Ариша была мастерица заводить песни, Феня – плясать и т. д. Старики больше любовались на молодежь, прохаживались по закускам и калякали о своих собственных делах. Раз подгулявший Гордей Евстратыч сильно тряхнул стариной, то есть прошелся с Феней русскую.

– Только для тебя, Феня, и согрешил!.. – говорил расходившийся старик, вытирая вспотевшее лицо платком. – По крайности буду знать, в чем попу каяться в Великом посте… А у меня еще есть до тебя большое слово, Феня.

– Какое слово?

– А уж такое… Давно собираюсь переговорить, да все как-то время не выбирается. Не оставляй ты, Феня, моей-то Нюши…

– Что вы, Гордей Евстратыч! Да разве я… мы душа в душу с Нюшей живем. Сами знаете.

– Все вы, девки, так-то душа в душу живете, а чуть подвернулся жених – и поминай как звали. Так и твое дело, Феня: того гляди, выскочишь, а мы и остались с Нюшей-горюшкой.

– Я замуж не пойду…

– Ладно, ладно… У всех у вас одна вера-то!

Гордей Евстратыч дружелюбно похлопал Феню по плечу и подумал про себя: «Экая девка уродилась, подумаешь… а?»

Конечно, от бдительности Татьяны Власьевны и о. Крискента не ускользнуло особенное внимание, с каким Гордей Евстратыч относился к Фене. Они по-своему взглянули на дело. По

мнению Татьяны Власьевны, все обстоятельства так складывались, что теперь можно было бы помириться с Савиными и Колобовыми, – недоставало маленького толчка, каких-нибудь пустяков, из каких складываются большие дела в жизни. Именно она с этой точки зрения и взглянула на отношения Гордея Евстратыча к Фене.

– Он-то ее даже очень уважает, – говорила бабушка Татьяна о. Крискенту, – вот я и думаю: ежели бы Феня замолвила словечко, может, Гордей-то Евстратыч и совсем бы стишал…

– Глас девственницы имеет великую силу над мужским полом, – глубокомысленно изрек о. Крискент. – Сему есть много даже исторических примеров…

– А уж как бы хорошо-то было… Сначала бы насчет Савиных да Колобовых, а потом и насчет Пазухиных. То есть я на тот конец говорю, отец Крискент, что Нюшу-то мне больно жаль да и Алексея. Сказывают, парень-то сам не свой ходит… Может, Гордей-то Евстратыч и стишает.

Ободренные первым успехом борьбы с разделительной силой злого духа, когда они помирили Гордея Евстратыча с Пятовым, старики порешили теперь воспользоваться «гласом девственницы». Бабушка Татьяна сама переговорила с Феней, а та с жаром ухватилась за это предложение, только просила об одном, что сначала переговорит с Гордеем Евстратычем о Нюше, а потом уж о Савиных и Колобовых.

– Ну как знаешь, милушка, – говорила бабушка Татьяна, крестя девушку…

– Так лучше будет… Гордей-то Евстратыч сам мне намекнул маленько, да я мимо ушей пропустила тогда.

Феня рассказала, как Гордей Евстратыч говорил ей, что у него для нее есть «великое слово» и в чем оно заключается.

Бабушка Татьяна не совсем поняла объяснения Фени.

– Да ты, бабушка, не сумлевайся: он это и хотел сказать. Я теперь только поняла… Все выйдет как по писаному.

– Стара я стала, милушка, загадки-то разгадывать, а сдается мне, как будто оно и не совсем так…

– Нет, уж так, бабушка Татьяна.

Они вместе выбрали и время, когда переговорить Фене с Гордеем Евстратычем, – за день до крещенского сочельника, когда у Пятовых будут приглашены гости на вечер.

Действительно, к Пятовым съехалось много гостей, и в том числе был и Гордей Евстратыч. Феня выждала, когда гости подкрепятся закуской и Гордей Евстратыч совсем развеселится. Он уже закидывал к ней две-три свои жесткие шуточки и весело разглаживал свою подстриженную бороду.

– А мне с вами, Гордей Евстратыч, поговорить надо… – заговорила Феня, улучив удобную минутку.

– Вот как… Что такое случилось?

Феня немного смутилась и, ощипывая платок, который держала в руках, вопросительно

подняла свое лицо на Гордея Евстратыча. Это девичье лицо с ясными чистыми глазами было чудно хорошо теперь своим колеблющимся выражением: в нем точно переливалась какая-то сила. Гордей Евстратыч улыбнулся, и Фене показалось, что он нехорошо как-то улыбнулся… Но время было дорого, и, после минутного колебания, она проговорила:

– Здесь неловко разговаривать, Гордей Евстратыч. Я вас проведу в свою комнату.

До комнаты Фени было всего несколько шагов – перейти залу и гостиную. Хозяйка указала гостю на стул около туалета красного дерева, а сама поместилась по другую его сторону.

– Ну, в чем дело, Феня? – ласково спрашивал Гордей Евстратыч, мельком оглядывая закрытую пологом односпальную кровать.

– Помните, Гордей Евстратыч, как вы мне тогда сказали про великое слово о Нюше… Вот я хочу поговорить с вами о нем. Зачем вы ее губите, Гордей Евстратыч? Посмотрите, что из нее сталось в полгода: кукла какая-то, а не живой человек… Ежели еще так полгода пройдет, так, пожалуй, к весне и совсем она ноги протянет. Я это не к тому говорю, чтобы мне самой очень нравился Алексей… Я и раньше смеялась над Нюшей, ну, оно вышло вон как. Если он ей нравится, так…

– Так и отдать ее Алешке? – докончил Гордей Евстратыч и тихо так засмеялся. – Так вот зачем ты меня завела в свою горницу… Гм… Ежели бы это кто мне другой сказал, а не ты, так я… Ну, да что об этом говорить. Может, еще что на уме держишь, так уж говори разом, и я тебе разом ответ дам.

– А не рассердитесь на меня?

– Глядя по словам, какие говорить будешь… И муха не без сердца…

Феня посмотрела на своего собеседника. Лицо у него было такое доброе сегодня, хотя он смотрел на нее как-то странно… «Э, семь бед – один ответ!» – решила про себя девушка и храбро докончила все, что у ней лежало на душе…

– Есть и еще, Гордей Евстратыч… – заговорила она уже смелее. – Помните, как вы ссорились с тятенькой? Ну, кому от этого легче было, – никому. А помирились – и всем праздник. Вот как Святки-то отгуляли…

Феня весело засмеялась и даже тряхнула своей русой головой. Гордей Евстратыч тоже засмеялся и дрогнувшей рукой схватился за край резного туалета, точно смех Фени уколол его.

– Одним словом, я на вашем месте давно бы помирилась с Савиными и Колобовыми… Ей-богу!.. А то бог знает что у вас в семье делается; невесткам-то небось весело глядеть, как вы волками друг на дружку глядите, да и бабушке Татьяне тоже. Вы бы этак же и помирились, как с тятенькой… Лихо бы закутили!.. Уж если у вас самих язык не ворочается, так я сама бы все оборудовала: поехала бы к Савиным да к Колобовым и сказала, что вы сокрушаетесь очень, а самим приехать как-то неловко, а потом то же самое сказала бы вам… Ведь только бы и всего?.. Право… А то теперь те даже в церковь перестали ходить, отцу Крискенту делают неприятности… Ох уж эти мужчины: чистые петухи…

– Как ты сказала?

– Чистые петухи, сказала. Тесно вам, подумаешь, в Белоглинском-то заводе.

Гордей Евстратыч сначала улыбался, а потом, опустив голову, крепко о чем-то задумался. Феня с замиравшим сердцем ждала, что он ей ответит, и со страхом смотрела на эту красивую старческой сановитой красотой голову. Поправив спустившиеся на глаза волосы, Гордей Евстратыч вздохнул как-то всей своей могучей грудью и, не глядя на Феню, заговорил таким тихим голосом, точно он сам боялся теперь своей собеседницы. В первую минуту Фене показалось, что это говорит совсем не Гордей Евстратыч, а кто другой.

– Хорошее ты мне слово сказала, Феня… от сердца сказала. Чувствую я это, даже очень чувствую… И сам об этом, может, не одну сотню раз подумал. Да… Только вот ты-то как сказала мне, так я и вижу все, как на ладонке, что и где неладно… Эх, Феня, Феня!.. Сам вижу свои-то неполадки, ну, да оно уж одно к одному все пусть… Ты вот со стороны-то глядишь на нас да и думаешь про себя: дескать, с жиру старики-то бесятся. Так. А ты разбери-ка… Оно совсем другая статья выходит. Оно, видишь ли, и раньше в семье-то у нас сучки да задоринки выходили, тоже взять хоть этих Савиных да Колобовых. Гордо они держали себя против нас, в том роде, как благодетели какие… Ну, я это переносил, никому ни слова. А как подвернулась эта самая жилка, оно все и выплыло наверх, как масло на воде. Видишь, куда оно погнуло-то… Да!.. Это тебе раз. Об Алешке Пазухине вторая статья подошла… Тут уж, напрямки сказать, золото нас разделило, хоть Алешка парень и подходящий бы, и семья ихняя тоже. Пожалел я Нюшу отдать за него, думал жениха лучше ей найти… Так ведь? Не выродок ведь Нюшка-то моя, не недоносок какой, да и одна дочка у родимого батюшки… А из этого вон оно что выросло-то: девка на глазах моих чахнет.

После короткой паузы Гордей Евстратыч провел по лбу рукой, точно стирая какую-то постороннюю мысль, которая мешала ему вполне ясно высказаться, а потом продолжал:

– Я тебе начистоту все скажу, Феня… За то тебе скажу, что душа у тебя добрая. Люблю… Да… Так вот обзатылил я Пазухиных, Зотушку прогнал от себя. Это уж моя вина: с сердца сорвалось у меня. После-то сам гляжу я на себя и дивлюсь: зачем я это родного брата из родительского дома выгнал?.. А тут родная дочь на глазах зачала сохнуть. Легко мне это, по-твоему? Своя-то кровь всегда скажется… она проймет… Разве я ослеп? Нет, голубушка, все видел я и все на сердце держал, да только поделать ничего не мог… Не раз и не два думал я помириться со всеми, как вот с твоим тятенькой помирился, так поди же ты – руки не подымались! Даже слов таких у меня точно не было на языке, чтобы на мировую пойти… А тут еще новые дружки да приятели, им надо тоже большое спасибо сказать. Зачал я закруживаться совсем, и все мне тяжелее да тяжелее, потому старые-то дружки все отшатились, а новых не нажил. Ведь новые-то благоприятели к золоту нашему льнут – видим и это… Хорошо. Только и начал я думать, пошто, да как, да зачем. Жили беднее – было лучше в дому, а с богатством пошла какая-то разнота да сумятица. Может, слышала, как Михалко-то жену свою колотил? Вот оно куда пошло… вижу – дело дрянь, и чем дальше, тем оно хуже. С богатством-то соблазн везде, грех… Водкой я начал зашибать в хорошей компании и всякое прочее. Тебе, девушке, это негоже все знать… Так, к слову пришлось… Ну, я и надумал наконец… то есть не сам даже надумал, а вроде как осенило меня. Уж старостой я был… Стою я за своим прилавком, продаю свечи, а сам в уме держу свои-то неполадки, как и что. Даже так горько мне стало… А тут я сразу все до корня постиг.

Гордей Евстратыч тяжело перевел дух и еще раз обвел глазами комнату Фени, точно отыскивая в ее обстановке необходимое подкрепление. Девушка больше не боялась этого гордого старика, который так просто и душевно рассказывал ей все, что лежало у него на душе. Ее молодому самолюбию льстило особенно то, что этакий человек, настоящий большой человек, точно советуется с ней, как с бабушкой Татьяной.

– Ну, так я сразу всю причину и нашел, – продолжал Гордей Евстратыч, соображая что-то про

себя. – Я уж тебе все до конца доскажу…

– А я знаю, какая причина.

– Какая?

– Золото…

– Нет… Тут совсем особенная статья выходит: не хватает у нас в дому чего-то, от этого и все неполадки. Раньше-то я не замечал, а тут и заметил… Все как шальные бродим по дому и друг дружку не понимаем да добрых людей смешим. У меня раз пружина в часах лопнула: пошуршала-пошуршала и стала, значит, конец всему делу… Так и у нас… Не догадываешься?

– Нет…

– Ну, так я попрямее тебе скажу: жены Гордею Евстратычу недостает!.. Кабы была у него молодая жена, все шло бы как по маслу… Я и невесту себе присмотрел, только вот с тобой все хотел переговорить. Все сумлевался: может, думаю, стар для нее покажусь… А уж как она мне по сердцу пришлась!.. Эх, на руках бы ее носил… озолотил бы… В шелку да в бархате стал бы водить.

Феня инстинктивно поднялась с места; она совсем не ожидала такого оборота разговора и почуяла что-то недоброе. Гордей Евстратыч тоже поднялся. Лицо у него было бледное, а глаза так и горели.

– Феня, выходи за меня замуж… все будет по-твоему… – глухо прошептал он, делая шаг к ней.

– Гордей Евстратыч… Господь с вами… опомнитесь.

– Я?.. Нет, поздно немножко… Феня, все для тебя сделаю… и помирюсь со всеми, и Нюшу за Алешку отдам, только выходи за меня… Люба ты мне, к самому сердцу пришлась…

– Гордей Евстратыч… в уме ли вы?..

– Ласточка моя, в уме… Ты всех нас спасешь, всех до единого, а то весь дом врозь расползется. Старик я… не люб тебе, да ведь молодость да красота до время, а сердце навек.

– Не пригоже мне, Гордей Евстратыч, такие ваши речи выслушивать…

Вместо ответа, Брагин схватил девушку и поднял кверху как перышко, а потом припал к ней своей большой седевшей головой, которая вся горела как в огне.

– Я закричу… пустите… – шептала Феня, освобождаясь из давивших ее железных объятий. – Я сейчас все бабушке Татьяне расскажу… все…

Она рванулась к дверям, но Гордей Евстратыч, ухватившись за ее платье, на коленях пополз за ней. Лицо у него было даже страшно в настоящую минуту, столько в нем стояло безысходной муки, отчаяния и мольбы:

– Ради Бога… Феня… одну минуточку…

Девушка в нерешительности остановилась, хотя у самой глаза были полны слез: она еще чувствовала на себе прикосновение его головы.

– Феня… пожалей старика, который ползает перед тобой на коленях… – молил Гордей Евстратыч страстным задыхавшимся шепотом, хватая себя за горло, точно его что душило. – Погоди… не говори никому ни слова… Не хотел тебя обижать, Феня… прости старика!

Эта патетическая сцена была прервана шагами в соседней комнате: Алена Евстратьевна отыскивала хозяйку по всем комнатам. На правах женщины она прямо вошла в комнату Фени и застала как раз тот момент, когда Гордей Евстратыч поднимался с полу. Феня закрыла лицо руками и горько заплакала.

– Что с тобой, Феня? – с участием спрашивала Алена Евстратьевна, делая вид, что ничего не заметила.

– Ах, оставьте меня… все оставьте… – шептала девушка, глухо рыдая.

Между братом и сестрой произошла выразительная немая сцена: Гордей Евстратыч стоял с опущенной головой, а модница улыбалась двусмысленной улыбкой: дескать, что уши-то развесил, разве не видишь, что девка ломается просто для порядку.

– Не надо было больно круто наступать-то на нее для первого разу… – выговаривала Алена Евстратьевна, когда Феня убежала от них. – Этак все дело можно извести!

Гордей Евстратыч, вместо ответа, только бессильно махнул рукой: руки и ноги у него дрожали, а в голове точно работала целая кузница – так стучала в жилах расходившаяся стариковская кровь.

XVI

«Глас девственницы» привел к такому результату, какого ни о. Крискент, ни Татьяна Власьевна совсем уж не ожидали. Они только теперь сообразили всю нелепость своего предприятия, а также и то, что все это могли и даже должны были предвидеть.

– Нет, я-то как затмилась… – с тоской повторяла про себя Татьяна Власьевна, когда Феня рассказала ей все начисто, ничего не утаив. – Где у меня глаза-то раньше были? И хоть бы даже раз подумала про Гордея Евстратыча, чтобы он отколол такую штуку… Вот тебе и стишал!.. Он вон какие узоры придумал… Ах, грехи, грехи!.. У самого внучки давно, а он – жениться…

По лицу «мамыньки» Гордей Евстратыч видел, что ей известно решительно все, и даже потемнел от злости. Так он ходил дня три, а потом взял да и угнал с золотом в город. Между ним и бабушкой Татьяной не было сказано ни единого слова, точно их разделила раздавшаяся под ногами пропасть. С неожиданно налетевшего горя Татьяна Власьевна слегла в постель и крепко разнемоглась; крепка была старуха, точно сколоченная, а тут не выдержала. Она походила теперь на контуженого человека, который сгоряча не может хорошенько сообразить настоящую величину разразившейся грозы. Лечилась она, конечно, своими домашними средствами и слышать не хотела о докторе. На сцену появились разные мази, настои на травах, коренья, святая крещенская вода и т. д. Из домашних больная позволяла ухаживать за собой только одной Нюше; у невесток своей работы было довольно, а модницу Алену Евстратьевну старуха даже на глаза не пускала.

– Что это бабушка так огорчилась? – соображала про себя Нюша; она была не прочь иметь такую мачеху, как Феня.

Феня была в брагинском доме всего только раз, когда все рассказала Татьяне Власьевне, и больше не показывалась: ей было стыдно и Нюши, и невесток, точно она сама была виновата во всем. Зато Алена Евстратьевна не дремала, а повела правильную осаду по всем правилам искусства настоящих записных свах. Она редкий день пропускала, чтобы не побывать у Пятовых. Приедет и рассядется с своими бесконечными разговорами. Глядя на нее, Феня часто удивлялась, какие на свете «бесстыжие» люди бывают, а модница точно не замечала внушаемого своей особой отвращения и разливалась река рекой. Сначала она вела все посторонние речи, ни одним словом не обмолвившись о случившемся, потом принялась вздыхать и жалеть огорченную девушку, которую так напугал братец.

– Велика беда… – говорила модница в утешение Фене. – Ведь ты не связана! Силком тебя никто не выдает… Братец тогда навеселе были, ну и ты тоже завела его к себе в спальню с разговорами, а братец хоть и старик, а еще за молодого ответит. Вон в нем как кровь-то заходила… Молодому-то еще далеко до него!.. Эти мужчины пребедовые, им только чуточку позволь… Они всегда нашей женской слабостью пользуются. Ну, о чем же ты кручинишься-то? Было да сплыло, и весь сказ…

– Совестно, Алена Евстратьевна… Зачем он тогда схватил меня на руки?.. Разве я какая-нибудь, чтобы так меня обижать…

– Ах, какая ты, Феня, непонятная… Братец совсем ума решились, а ты – «зачем схватил?»… Может, он руки на себя теперь готов наложить. Тоже ведь не деревянный. А вот я тебе лучше расскажу про нашего верхотурского купца Чуктонова. Это недавно было. Видишь, был этот Чуктонов один сын у отца, богатый, молодой, красавец. Хорошо. А в Верхотурье жил один чиновник Коробкин, а у Коробкина была дочь Наталья. Одна всего дочь, как зеница в глазу. Только к этой Наташе и присватывался один богатый старик, то есть он еще не старик, человек еще в поре, ну а в годках. Хорошо. Известно, девичье дело, Наташа даже и обиделась, как это он посмел такие мысли к ней иметь, а отец-то Коробкин даже неприятность сделал старику. Так это дело и рассохлось, а к Наташе присватался Чуктонов, она за него и выскочила. Глупый девичий разум: радуется Наташа, что нашла мужа молодого, да красивого, да развертного. Только радость-то больно недолгая была… Наша бабья красота короче воробьиного носа: на первом же ребенке Чуктонов-то и разлюбил жену. Ну, обыкновенно, детки не красят матери. Сначала-то по любви все было, а потом пошло уж другое. Муж на других молодых стал заглядывать, а жена его ревновать. И пошло, и пошло… Мало-за-мало начал Чуктонов жену колотить да еще любовницу себе завел. Из синяков бабенка не выходит, а муж гуляет да ее же тиранит. И как он ее тиранил – истинно страсти Господни!.. Возьмет, разденет донага, привяжет назади руки к ногам, а сам нагайкой ее и полосует, пока руку не вымахает… А то заложит лошадь, привяжет жену к оглобле да на паре по всему городу и катается. Так до самой до смерти ее затиранил… А другая-то девушка, которая вышла за старика, живет себе да как сыр в масле катается.

– Не все же такие, Алена Евстратьевна, как этот ваш Чуктонов, – возражала Феня. – Это какой-то зверь, а не человек.

– Я и не говорю, что все такие, а только к слову пришлось: всякие бывают и молодые мужья… А муж постарше совсем уж другое: он уж не надышится на жену, на руках ее носит. Оно и спокойнее, и куда лучше, хоть ты как поверни. Вон мамынька тоже за старого мужа выходила, а разве хуже других прожила? Прежде совсем не спрашивали девок, за кого замуж отдают, да жили не хуже нашего-то…

Все эти доводы и увещания были слишком избиты, чтобы убедить кого-нибудь, и Алена Евстратьевна переходила в другой тон: она начинала расхваливать братца Гордея Евстратыча,

как только умела, а потом разливалась в жалобах на неполадки в брагинском дому – как рассорились снохи из-за подарков Гордея Евстратыча, как балуются ребята на прииске, хотя Татьяна Власьевна и стоит за них горой; как сохнет и тает Нюша; как все отступились от брагинской семьи. В общем, модница повторяла то же, что высказал Гордей Евстратыч, но она умела все это расцветить своей специально бабьей логикой и в этой форме сделала доступным неопытному уму Фени. Мало-помалу, против собственной воли, и девушка стала вникать в смысл этих предательских слов, и ей все дело начало казаться совсем в ином свете, а главное: Гордей Евстратыч являлся совсем не тем, чем она его представляла себе раньше. Это был еще полный сил и энергии старик, который желал спасти семью от грозившего ей разрушения и помощницей себе выбрал ее, Феню. Такой брак был почти богоугодным делом, потому что от него зависела участь и счастье стольких людей. Феня душой любила всю брагинскую семью; сердце у ней было действительно доброе, хорошее, жаждавшее привязанности, а теперь ей представлялась такая возможность осчастливить десятки людей. Алена Евстратьевна слишком хорошо поняла Феню и именно с этой слабой стороны вела свою атаку последовательно и неутомимо, как какой-нибудь стратег, осаждающий неприступную крепость. Как Феня ни крепилась, но заметно поддавалась на «прелестные речи» своего неотступного искусителя и даже плакала по ночам от сознания своего бессилия и неопытности. Ей не с кем было посоветоваться, кругом были все чужие люди, а бабушки Татьяны она как-то начинала бояться. Эта внутренняя работа смущалась особенно тем фактом, что в среде знакомых было несколько таких неравных браков и никто не находил в этом чего-нибудь нехорошего: про специально раскольничий мир, державшийся старозаветных уставов, и говорить нечего – там сплошь и рядом шестнадцатилетние девушки выходили за шестидесятилетних стариков.

– Бабушка Татьяна мне прямо тогда сказала, что она меня не благословляет… – пускала Феня в ход свой последний, самый сильный аргумент. – А я против ее воли не могу идти, потому что считаю бабушку Татьяну второй матерью. Она худу не научит, Алена Евстратьевна. Недаром она вон как разнемоглась с горя… Нет, нет, и не говорите лучше. Я и слышать ничего не хочу!

– Видишь, Феня, о бабушке Татьяне своя речь… Бабушке-то Татьяне на восьмой десяток перевалило, вот она и судит обо всех по-своему. Конечно, ей настоящую сноху в дом не расчет пускать. Она теперь в дому-то сама большая – сама маленькая: как хочет, так всеми и поворачивает. Внучатные-то снохи пикнуть не смеют, а женись Гордей Евстратыч, тогда другие бы порядки пошли… Уж это верно!.. Старуха просто боится, а ты ее слушаешь. Спроси-ка у снох да у Нюши, желают они тебя мачехой своей величать? То-то вот и есть!.. Совсем другой разговор выходит… То же и про ребят скажу, про Михалка да про Архипа… Да чего лучше, спроси их сама.

– С чего это вы взяли, Алена Евстратьевна, что я стану спрашивать их о таких глупостях? – обижалась Феня.

– В том-то и дело, что не глупости, Феня… Ты теперь только то посуди, что в брагинском доме в этот год делалось, а потом-то что будет? Дальше-то и подумать страшно… Легко тебе будет смотреть, как брагинская семья будет делиться: старики врозь, сыновья врозь, снохи врозь. Нюшу столкают с рук за первого прощелыгу. Не они первые, не они последние. Думаешь, даром Гордей-то Евстратыч за тобой на коленях ползал да слезами обливался? Я ведь все видела тогда… Не бери на свою душу греха!..

– Почему же непременно я, а не другая? Разве мало стало невест Гордею Евстратычу по другим заводам или в городу… Он теперь богатый, любая с радостью пойдет.

– Вот и проговорилась… Любая пойдет, да еще с радостью, а Гордей Евстратыч никого не возьмет, потому что все эти любые-то на его золото будут льститься. А тебя-то он сызмальства

знает, знает, что не за золото замуж будешь выходить… Добрая, говорит, Феня-то, как ангел, ей-богу…

В самый разгар этих переговоров приехал из города сам Гордей Евстратыч и круто повернул все дело. По совету Алены Евстратьевны он прежде всего завербовал на свою сторону податливого о. Крискента. Как он его обошел – трудно сказать, но только в одно прекрасное утро о. Крискент заявился в пятовский дом, когда не было самого Нила Поликарпыча, и повел душеспасительную речь о значении и святости брака вообще как таинства, потом о браке как неизбежной форме нескверного гражданского жития и, наконец, о браке как христианском подвиге, в котором человек меньше всего должен думать о себе, а только о своем ближнем. Против этого противника Феня защищалась еще слабее, чем против Алены Евстратьевны, потому что о. Крискент не такой был человек, чтобы болтать зря. Притом та Божественная форма, в которую он облекал свою беседу, уснащая ее текстами Священного Писания и примером из жития святых, совершенно обезоруживала Феню, так что она могла только плакать украдкой. Девушка получила религиозное воспитание, – увещание о. Крискента производило на нее подавляющее впечатление.

– Необходимо присовокупить еще следующее, – говорил о. Крискент, расстегивая и застегивая пуговицы своего подрясника. – Кто есть истинный раб Христов? Неусумнительно, тот, который несет крест… Все мы должны нести крест. А твой крест, дитя мое, заключается в том, чтобы спасти не только целую семью, но еще через сокровища своего будущего супруга преизбыточно делать добрые дела многим другим людям… Может быть, через тебя возрадуются десятки сирых, вдовиц и убогих. Умягчая сердце своего супруга, ты научишь его благодетельному расточению сокровищ… Это будет христианский подвиг, и он тебе зачтется там, на небеси, где – ни старых, ни молодых, ни богатых, ни убогих. Молодость быстротечна, как вся жизнь; нужно заботиться о будущем, прозирать в загробную жизнь.

– Батюшка, я боюсь… – откровенно признавалась Феня со слезами на глазах.

– Хороших дел не нужно бояться… Ты смотришь на брак с земными мыслями, забывая, что в этом мире мы временные гости, как путники в придорожной гостинице.

– А бабушка Татьяна, отец Крискент? Она меня проклянет…

– Татьяна Власьевна, конечно, весьма благомысленная и благоугодная женщина, но она все-таки человек, и каждый человек в состоянии заблуждаться, особенно когда дело слишком близко затрогивает нас… Она смотрит земными очами, как человек, который не думает о завтрашнем дне. Старушка уже в преклонном возрасте, не сегодня завтра призовется к суду Божию, тогда что будет? С своей стороны, я не осуждаю ее нисколько, даже согласен с ней, но нужно прозирать в самую глубину вещей.

Эти переговоры настолько утомили и расстроили Феню, что она побледнела и ходила с опухшими глазами от слез. В ее голове все мысли путались, как спущенные с клубка нитки; бессонные ночи и слезы привели ее в такое состояние, что она готова была согласиться на все, только оставили бы ее в покое. Даже Зотушки около нее не было; он пьянствовал опять, справляя «предпразднество», как перед Рождеством справлял предпразднество. Нил Поликарпыч точно не замечал ничего и появлялся в доме только к обеду и ужину; у него всегда было много дела и хлопот по заводу, чтобы еще замечать, что делается дома; притом он постоянно лечился и составлял какие-то мази и декокты. Да и вообще отцы, как обманутые мужья, последними замечают то, что уже видят все другие люди. Около Фени не было любящей женской руки, которая разделила бы с ней ее тревоги и огорчения. Если бы была жива мать Фени, тогда, конечно, совсем другое дело; но Феня выросла сиротой и никогда так

не чувствовала своего сиротства, как именно теперь, когда решала такой важный шаг.

Когда таким образом Феня оказалась достаточно подготовленной, Алена Евстратьевна приказала братцу Гордею Евстратычу объясниться с ней самому. Девушка ждала этого визита и со страхом думала о том, что она скажет Гордею Евстратычу. Он пришел к ней бледный, но спокойный и важный, как всегда. Извинившись за старое, он повел степенную и обстоятельную речь, хотя к сказанному уже Аленой Евстратьевной и о. Крискентом трудно было прибавить что-нибудь новое.

– Все для тебя сделаю, Феня, – повторял он несколько раз с особенной настойчивостью, – а без тебя пропасть мне только… Уж я знаю!.. Ты, может, думаешь, что вот, мол, у старика глаза разгорелись на твою молодость да на твою красу, – ведь думаешь? А разве бы я не нашел, окромя тебя, ежели бы захотел?.. Ты вот это и рассуди… А без тебя мне капут, как Бог свят. Потому какая жисть наша, ежели разобрать: пьянство, безобразие… В том роде, как у Вукола Шабалина. Разве это порядок? Лучше уж разом покончить с собой, чем этак-то наматывать на шею смертные грехи…

Феня слушала его с опущенными глазами, строгая и бледная, как мученица. Только ее соболиные брови вздрагивали да высоко поднималась белая лебяжья грудь. Гордей Евстратыч не видал ее краше и теперь впивался глазами в каждое движение, отдававшееся в нем режущей болью. Она владела всеми его чувствами, и в этой крепкой железной натуре ходенем ходила разгоравшаяся страсть.

– Может, ты сумлеваешься насчет тятеньки? – спрашивал Гордей Евстратыч, стараясь по-своему объяснить раздумье Фени. – Так он не пойдет супротив нас… Мы с ним старинные друзья-приятели… Эх, Феня, Феня!.. За одно твое словечко, всего за одно, да я бы, кажется, весь Белоглинский завод вверх ногами повернул… Ей-богу… Птичьего молока добуду, только скажи… а?.. А уж как бы я тебя баловал да миловал… Э-эх!..

– Гордей Евстратыч, ради Бога, повремените немного… Дайте мне с мыслями собраться, а то я ровно ничего не понимаю…

– Значит, можно надеяться? Да?.. Скажи-ка, Феня, как это ты выразила-то?

– Нет… я ничего… – испуганно залепетала девушка. – Я сказала только, что дайте мне с мыслями собраться…

– Ну-ну… Вот это самое!.. Ах ты, касаточка… голубушка!.. А я тебе гостинца из города на всякий случай захватил. Это за старое должок…

Брагин подал закрытую коробку, но Феня обеими руками отодвинула ее от себя, точно этот подарок мог обжечь ее.

– Да ты посмотри… а?.. А то сейчас за окошко выкину: никому не доставайся!.. Для тебя припасено – тебе и владеть.

Чтобы вывести девушку из затруднения, Брагин сам раскрыл коробку: внутри на бархатной подушечке жарко горели три изумруда, точно бобы, осыпанные настоящими брильянтами. Это был целый прибор из броши и серег. Подарок, однако, не произвел надлежащего действия, а только заставил Феню покраснеть, точно эта коробка была отнята для нее у кого-то другого.

– Дайте подумать, Гордей Евстратыч… – шептала она, не имея сил сопротивляться.

– Ну, думай, думай… Только по-хорошему думай! Да вот этот гостинец для начала прими, с ним легче, может, будет думать-то…

– Напрасно вы, Гордей Евстратыч, беспокоились…

– Напрасно?..

Брагин порывисто схватил коробку с гостинцем и побежал к форточке.

– Гордей Евстратыч… постойте!.. – остановила его Феня, когда он занес уже руку, чтобы выкинуть гостинец на улицу.

Татьяна Власьевна все еще была больна. По лицу модницы она замечала, что опять что-то затевается, но что – она не знала хорошенько. Нюша находилась неотлучно при больной и тоже не могла ничего знать; невестки отмалчивались, хотя, вероятно, и слышали что-нибудь из пятого в десятое. Ариша знала больше всех, но молчала про себя; в душе она желала, чтобы Гордей Евстратыч женился на Фене, потому что она как-то инстинктивно начинала бояться свекра, особенно когда он так ласково смотрел на нее. Она хорошо помнила, как он обнял и поцеловал ее перед своим отъездом в ярмарку.

– Что это Феня-то не идет проведать? – несколько раз спрашивала Татьяна Власьевна. – Тоже и отец Крискент глаз не кажет… Совсем забыли старуху!

– У Фени, бабушка, горло болит… – лгала Нюша, чтобы успокоить больную, которая делала вид, что верит этому…

– Долго ли простудиться?.. Ох-хо-хо…

Однажды под вечер, когда Татьяна Власьевна в постели пила чай, а Нюша сидела около нее на низенькой скамеечке, в комнату вошел Гордей Евстратыч. Взглянув на лицо сына, старуха выпустила из рук блюдечко и облилась горячим чаем; она почувствовала разом, что «милушка» не с добром к ней пришел. И вид у него был какой-то такой совсем особенный… Во время болезни Гордей Евстратыч заходил проведать больную мать раза два, и то на минуту. Нюша догадалась, что она здесь лишняя, и вышла.

– Ну как, мамынька, твое здоровье? – спросил неровным голосом Гордей Евстратыч, перебирая пальцами борт своего сюртука.

– Неможется все, милушка… залежалась я что-то.

– Вставать надо, мамынька…

Пауза. И сыну, и матери одинаково тяжело; они стараются не смотреть друг на друга.

– Мамынька, я пришел к тебе за благословеньем: жениться хочу… – с искусственной твердостью проговорил Гордей Евстратыч.

Эта фраза точно ужалила больную. Она поднялась с подушки и быстро села на постели: от этого движения платок на голове сбился в сторону и жидкие седые волосы рассыпались по плечам. Татьяна Власьевна была просто страшна в эту минуту: искаженное морщинистое лицо все тряслось, глаза блуждали, губы перекосились.

– Как… ты сказал, Гордей?

– Жениться хочу, мамынька…

– В добрый час… На ком же это, милушка?

– На Фене…

Старуха глухо застонала и упала в подушки; с ней сделалось дурно, и глаза закрылись, как у мертвой.

– Мамынька…

– Милушка… нельзя… не могу…

– Мамынька, все уж дело слажено… Мы с Нилом Поликарпычем и по рукам ударили.

– Не мм… нет тебе моего благословения… не мм…

– Я пошлю отца Крискента к тебе. Пусть он с тобой договорит…

– Зачем отца Крискента?

– Так… Ведь он уговаривал Феню, ну и тебя уговорит. Я не таюсь ни от кого, мамынька…

– Так ты вот как, милушка… не спросясь матери… Нет, это не ты придумал… нет… это та… змея подколодная устроила… Алена всех смутила… и отца Крискента она же подвела, змея…

– Это уж все равно, мамынька… Дело сделано. Я насчет твоего благословенья пришел…

– Не могу…

Гордей Евстратыч замолчал, подавляя душившую его злобу. Он боялся наговорить лишнего, надеясь уломать старуху более мирным путем. Начинать свадьбу ссорой с матерью все-таки было неудобно…

– Как знаешь, мамынька… – проговорил он, едва сдерживаясь. – Только ведь мы и так обвенчаемся, ежели ты будешь препятствовать. Так и знай… Я к тебе еще зайду.

– И на глаза лучше не показывайся…

Когда Нюша вошла в комнату, она даже вскрикнула от страха: Татьяна Власьевна лежала как пласт, и только страшно горевшие глаза говорили о тех страшных муках, какие она переживала.

– Бабушка!.. Господи, что же это такое? – заплакала девушка, бросаясь к постели. – Бабушка… милая…

– Нюша… О! змея, змея, змея…

– Бабушка… Христос с тобой!

– Тетка Алена змея… Нюша, голубушка… сейчас же беги к Пятовым… и чтобы непременно Феня была здесь… Слышишь?.. Да чтобы сейчас же… а если… если… она не захочет… я сама к ней приползу… Слышишь?.. Нюша, ради Христа, скорее!.. Ох, Аленка, змея подколодная!.. Нюша, скорее… в чем есть, в том и беги…

Накинув свою заячью шубейку, Нюша пешком побежала в пятовский дом. Через полчаса она вернулась вместе с Феней, которая шла за ней, пошатываясь, как после тяжелой болезни.

– Ну, теперь ты оставь нас одних, – проговорила Татьяна Власьевна Нюше, когда девушки вошли в ее комнату. – Феня, голубка моя, садись вот сюда… ближе… Плохо слышу… ох, смерть моя…

Девушка опустилась на низенькую деревянную скамеечку-подножку, на которой обыкновенно сидела Нюша, и, закрыв лицо руками, тихо плакала.

– Рассказывай все… все, как было… – глухо шептала Татьяна Власьевна, делая усилие подняться на своей подушке и опять падая на нее. – Нет… не надо… я знаю все… змея Аленка… она, она, она… Ох, Господи Исусе Христе! Феня, голубка, лучше я… сама тебе все расскажу… все… как на духу…

Не утаивая ничего, с рыданиями, бабушка Татьяна рассказала Фене про свой страшный грех с дедушкой Поликарпом Семенычем, а также и про Зотушку, который приходится Фене родным дядей.

– Мой грех, мой ответ… – хрипела Татьяна Власьевна, страшная в своем отчаянии. – Всю жисть его не могу замолить… нет спокою моей душеньке нигде… Уж лучше мне одной в аду мучиться, а ты-то не губи себя… Феня, голубка, прости меня многогрешную… Нет, пред образом мне поклянись… пред образом… затепли свечку… а то собьют тебя… Аленка собьет с пути… она и отца Крискента сбила, и всех…

Через минуту перед старинным образом Нерукотворного Спаса теплилась свеча, и Феня тряслась всем телом и повторяла за бабушкой Татьяной слова клятвы, что никогда, даже после смерти рабы Божией Татьяны, она, девица Федосья, не выйдет за раба Божия Гордея.

XVII

Отказ Фени привел Гордея Евстратыча в настоящее бешенство. Хотя девушка ничего не высказала, что могло бы бросить тень на Татьяну Власьевну, но Гордей Евстратыч был убежден, что это именно мать расстроила все дело. Он несколько раз наступал на Татьяну Власьевну с угрозами и проклятьями, но старуха покорно отмалчивалась; убитый Гордей Евстратыч иногда принимался умолять ее на коленях, со слезами на глазах, но старуха оставалась по-прежнему непреклонна. Раз, вернувшись пьяный от Шабалина, он бросился на мать с кулаками, и только Нюша спасла бабушку от дикого насилия. Произошла страшная сцена, заставившая оцепенеть весь дом. Татьяна Власьевна, собственно, не должна была бы вынести всех этих испытаний, которые валились на ее седую голову одно за другим, но она, наперекор всему, быстро начала поправляться, точно в это семидесятилетнее дряхлое тело были вдохнуты новая жизнь и сила, которая живила и укрепляла его; наоборот, Феня слегла в постель и разнемогалась с каждым днем все сильнее. Когда бабушка наконец встала с постели – это был совсем другой человек, в котором нельзя было узнать прежней Татьяны Власьевны. Гордей Евстратыч успел в это время немного опомниться и пришел к матери с повинной.

– Прости, мамынька… – умолял он, валяясь у старухи в ногах.

– Бог тебя простит, а я еще подумаю, – отвечала Татьяна Власьевна. – Ты меня хотел убить, Гордей Евстратыч, да Господь не допустил тебя. Знаю, кто тебя наущал… все знаю. И вот мой сказ тебе: чтобы Алены Евстратьевны и духу не было и чтобы напредки она носу сюда не смела показывать…

– Мамынька, как же я буду выгонять сестрицу?..

– Умел принимать, умей и выгнать… Не велико кушанье!.. А ежели не выгонишь, сию же минуту уйду из дому и прокляну вас обоих… По миру пойду на старости лет!

Вся высохшая, с побелевшим восковым лицом и страшно горевшими глазами, Татьяна Власьевна походила на одну из тех подвижниц, каких рисуют на старинных образах. Прежней мягкости и податливости в ней не было больше и следа; она смотрела гордой и неприступной. И раньше редко улыбавшиеся губы теперь сложились сурово, как у схимницы; это высохшее и изможденное лицо потеряло способность улыбаться. Даже Нюша и та боялась грозной старухи.

– Я всех вас распустила… везде непорядки… – говорила Татьяна Власьевна сыну. – А теперь будет не так, Гордей Евстратыч…

– Мамынька, да ведь я хозяин дому, – возражал иногда Гордей Евстратыч.

– Какой ты хозяин!.. Брата выгнал и меня хотел пустить по миру… Нет, Гордей Евстратыч, хозяйка здесь я. Ты налаживай свой дом, да в нем и хозяйничай, а этот дом батюшкин… И отцу Крискенту закажи, чтобы он тоже не ходил к нам. Вы с ним меня живую бы закопали в землю… Дескать, пущай только старуха умрет, тогда мы все по-своему повернем.

Обиженная и огорченная Алена Евстратьевна принуждена была на скорую руку сложить свои модные наряды в чемоданы и отправиться в Верхотурье, обозвав братца на прощанье дураком. Старуха не хотела даже проститься с ней. Отец Крискент проникновенно понял то, что Гордей Евстратыч боялся высказать ему прямо, и, с своей обычной прозорливостью, сам не заглядывал больше в брагинский дом.

Зотушка опять вернулся к Пятовым: как только Феня слегла, так он и заявился, бледный, худой, с трясущимися руками, но с таким же кротким и любящим сердцем и почти женской мягкостью в характере. Теперь Феня была рада ему вдвойне: это был не чужой человек, хотя Зотушка и сам этого не подозревал. Болезнь девушки, сначала неопределенного характера, вдруг резко перешла в нервную горячку: молодая натура не выдержала всех испытаний и теперь жестоко боролась с тяжелым недугом. Зотушка ходил за больной как сиделка, и больная инстинктивно искала его руки, когда нужно было переменить место на подушке или приподнять голову; никто не умел так угодить ей, как Зотушка. Она из его рук принимала и лекарство, которое прописывал привезенный из города доктор.

«Замучили девку, замучили…» – думал Зотушка, когда сидел длинную зимнюю ночь в комнате Фени, где теперь все было пропитано запахом лекарств.

Больная не могла лежать спокойно и часто металась, придавленная нестерпимым гнетом. В горячечном бреду она все умаливала кого-то погодить, потом начинала громко молиться и повторяла обрывки произнесенной клятвы. Эта пестрая путаница недавних впечатлений проходила чрез ее воспаленный мозг с мучительной болью, заставляя с новой силой пережить тысячи раз все вынесенные испытания. Мысль работала с лихорадочной торопливостью; призраки и фантастические представления нарастали, переплетались и заканчивались страшными галлюцинациями. Главным образом девушка страдала от неотступного преследования трех людей, являвшихся ей в тысяче всевозможных превращений, – это были Гордей Евстратыч, бабушка Татьяна и дедушка Поликарп Семеныч. Они не отходили от Фениной кровати и мучили ее своим постоянным присутствием, как тяжелый кошмар. Старая, старая, страшная бабушка Татьяна особенно пугала больную. Феня даже вскрикивала каждый раз, когда грозный призрак наклонялся к ней и холодными костлявыми руками чего-то искал в

ее мозгу… «Бабушка, оставь меня!» – кричала больная, открывая глаза: но перед ней вместо бабушки стоял уже Гордей Евстратыч, весь золотой – с золотым лицом, с золотыми руками, с сверкавшими золотыми глазами. Он даже дышал какой-то золотой пылью, которая наполняла всю комнату и от которой Феня начинала задыхаться. Это золото жгло ее, давило, а Гордей Евстратыч ползал около кровати и плакал золотыми слезами. Больная видела себя уже женой этого золотого Гордея Евстратыча и сама постепенно превращалась тоже в золотую: и руки и ноги у ней были настоящие золотые и такие тяжелые, что она не могла ими пошевелить. Налитые золотом веки не поднимались; даже мысли в голове были золотые и шевелились в мозгу золотыми цепочками, кольцами, браслетами и серьгами – все это звенело и переливалось, как живая чешуя. Опять крик, опять новые грезы; но теперь бабушка Татьяна и Гордей Евстратыч сменялись худеньким дедушкой Поликарпом Семенычем, который все искал Зотушку; а Феня прятала его то у себя под подушкой, то в коробке с гостинцем Гордея Евстратыча.

Иногда к этим вполне определенным впечатлениям прибавлялось что-то новое, неясное и смутное, расплывавшееся, как туман; но Феня чувствовала присутствие этого неопределенного, потому что оно заставляло ее дрожать в лихорадке. Испытываемое ею ощущение можно сравнить с тем, какое переживает человек ночью в глухом лесу, когда знает, что опасность в двух шагах, но не может ее разглядеть. Сухие губы бабушки Татьяны в этих случаях шептали: «Феня, голубушка! Змея, змея, вон она!» И бабушка Татьяна дрожала и протягивала руки вперед, точно хотела защищаться от настоящей живой змеи, которая вот-вот живой петлей захлестнет ее. Это была Алена Евстратьевна, которую больная не видала, но слышала ее походку и вкрадчивый голос.

– Зотушка… мне страшно… – шептала Феня, хватаясь за руку Зотушки. – Говори что-нибудь… спой. Ты никого не видишь?

– Нет, касаточка, никого не вижу… Христос с нами, ласточка…

– Ты не оставляй меня одну… Золото… везде золото…

Феня страстно прислушивалась к звукам Зотушкина голоса, стараясь на них сосредоточить все свое внимание и тем вырвать себя из фантастической области, где блуждала ее больная мысль. Она точно хваталась за стих Зотушки, чтобы не унестись опять в безбрежное море своих галлюцинаций. Но действительность переплеталась с грезами, а ее уносила темная волна вперед, в темную бездну, где ее снова окружали ее мучители. Прислушиваясь к бреду больной, Зотушка многого не понимал, особенно когда Феня начинала заговариваться о бабушке Татьяне и Поликарпе Семеныче. Какую связь имел этот Поликарп Семеныч со всем случившимся – для Зотушки оставалось загадкой. Только раз, когда Феня особенно сильно металась и бредила, все дело разъяснилось: больная выболтала все, что сама знала о страшном грехе бабушки Татьяны и о самом Зотушке, называя его своим дядей. От этих речей Зотушку прошиб холодный пот, и пред его глазами запрыгала целая дюжина проворных бесенят, безобразно задиравших мышиные хвосты. Когда больная очнулась от своего забытья, она по лицу Зотушки угадала, что он знает тайну бабушки Татьяны; она закрыла глаза от охватившего ее ужаса.

– Что с тобой, касаточка? – спрашивал Зотушка.

– Что?.. Ты слышал?

– Слышал…

– Ну… так это правда… Все равно, я умру, Зотушка… по крайней мере не на чужих руках…

– Христос с нами, ласточка… Зачем помирать, еще поживем в свою долю.

– Нет, нет… я знаю… Зотушка, я не виновата.

Зотушка наклонился к руке Фени, и на эту горячую руку посыпались из его глаз крупные слезы… Вот почему он так любил эту барышню Феню и она тоже любила его!.. Вот почему он сердцем слышал сгущавшуюся над ее головой грозу, когда говорил, что ей вместе с бабушкой Татьяной будут большие слезы… А Феню точно облегчило невольно сделанное признание. Она дольше обыкновенного осталась в сознании и ласкала своего дядю, как ушибившегося ребенка.

– А где Нюша? Что она не придет ко мне? – спрашивала больная.

– Она заходила не один раз, да ты-то все не узнавала ее…

– И бабушка Татьяна была?

– И бабушка была…

– Зотушка, держи меня… крепче держи…

Наступивший бред был сильнее прежнего; и Зотушка одно время совсем всполошился, думая, что барышня Феня отходит. Он побежал к Нилу Поликарповичу и приволок его за руку в комнату Фени. Старик Пятов иногда сменял Зотушку, когда тот уходил в кухню «додернуть» часик на горячей печке, а большею частью ходил из угла в угол в соседней комнате; он как-то совсем потерялся и плохо понимал, что происходило кругом. Страшная мысль лишиться Фени нагоняла на него столбняк, и он только ощупывал свою плешивую голову, напрасно стараясь что-то припомнить. Иногда он принимался со слезами упрашивать доктора-старичка спасти его Феню и предлагал свою домашнюю аптеку. Доктор рассеянно выслушивал этот бред наяву, записывал что-то в своей карманной книжке и повторял: «Хорошо, хорошо. Скоро наступит кризис, тогда все выяснится…» Больная редко узнавала отца и старалась скрыть от отца свои страдания. Он так всегда любил ее, и она жалела его. Кто заменит ее больному старику? Кто будет предупреждать, как это делала она, его скромные желания и угождать его привычкам? Не один раз глаза Фени наполнялись слезами, когда она смотрела на отца: ей было жаль его больше, чем себя, потому что она слишком исстрадалась, чтобы чувствовать во всем объеме опасность, в какой находилась.

Гордей Евстратыч, пока разыгрывалась в пятовском доме эта тяжелая драма, после первого порыва отчаяния бросился в разгул и не выходил из шабалинского дома, где стоял день и ночь пир горой. Вукол Логиныч посылал в город нарочно две кошевых, чтобы привезти подходящих гостей из «подходящей компании». Варвара Тихоновна угощала всех на славу, так что Липачек и Плинтусов не раз просыпались, к своему удивлению, в ее парадной спальне. Это безобразие нравилось Гордею Евстратычу, который хотел в вине утопить свое горе и пьяный принимался несколько раз плакать.

– Ну, горе не велико… – утешала Варвара Тихоновна. – Нашел о чем сокрушаться! Не стало этого добра… Все равно, женился бы на Фене, стала бы тебя она обманывать.

– Врешь!.. – кричал Гордей Евстратыч.

– А ты не очень кричи… Не у себя дома.

– Эх, Варвара Тихоновна, Варвара Тихоновна… разве ты можешь что-нибудь понимать?.. Ну, какое у тебя понятие? Ежели у меня сердце кровью обливается… обидели меня, а взять не с кого…

Порфир Порфирыч, конечно, был тут же и предлагал свои услуги Брагину: взять да увезти Феню и обвенчаться убегом. Этому мудреному человеку никак не могли растолковать, что Феня лежит больная, и он только хлопал глазами, как зачумленное животное. Иногда Гордея Евстратыча начинало мучить самое злое настроение, особенно когда он вспоминал, что о его неудачном сватовстве теперь галдит весь Белоглинский завод и, наверно, радуются эти Савины и Колобовы, которые не хотят его признать законным церковным старостой.

Чтобы проветрить пьяную компанию, раза два ездили в кошевых на Смородинку, где устраивалось сугубое пьянство. Работы на прииске теперь было мало, и Михалко с Архипом пропадали со скуки; ребята от нечего делать развлекались по-своему, причем в Полдневской была устроена специальная квартира, которой заведовала Лапуха. Пестерь и Кайло сначала косились на такие порядки, но потом махнули рукой, потому что примиряющим элементом являлась водка. С другой стороны, эти блюстители патриархальных нравов жестоко поплатились за свою строгость: Окся навсегда сбежала не только из Полдневской, но и со Смородинки.

Однажды, когда пьяная компания только что вернулась со Смородинки, Шабалина лакей вызвал в переднюю. Там смиренно стоял Зотушка.

– А, святая душа на костылях!.. – обрадовался Шабалин. – В самую линию попал… Иди в комнаты-то – чего тут торчишь? Я тебя такой наливкой угощу…

– Я не принимаю теперь этого составу, Вукол Логиныч… Мне бы братца, Гордея Евстратыча, повидать.

– Ну и пойди туда. Чего корячишься? – говорил Шабалин, подхватывая Зотушку под руку. – Вот я тебе покажу, как не принимаешь… Такой состав у меня есть, что рога в землю с двух рюмок.

– Ну уж ослобоните, Вукол Логиныч. Дельце есть до братца. Уж, пожалуйста, ослобоните.

– Ну черт с тобой!..

Когда Гордей Евстратыч, пошатываясь, вышел в переднюю, Зотушка смиренно поклонился братцу и дрогнувшим голосом проговорил:

– Вам, братец, Федосья Ниловна приказали долго жить…

– Что? Как? Умерла?

– Точно так… Они просили меня сказать вам, что заочно вас прощают и с вами, братец, тоже прощались.

Гордей Евстратыч зашатался на месте, оглянулся крутом и, как был, без шапки, выбежал из шабалинского вертепа. Зотушка смиренно поплелся за ним, торопливо откладывая широкие кресты.

Смерть Фени произвела потрясающее впечатление на всех, потому что эта безвременно погибшая молодая жизнь точно являлась какой-то жертвой искупления за те недоразумения, какие были созданы брагинской жилкой. Все на мгновение позабыли о своих личных счетах

около гроба мертвой красавицы, за которым шел обезумевший от горя старик-отец. На похоронах Фени встретились все враждебные партии, то есть Савины, Колобовы, Пазухины и Брагины. Гордей Евстратыч плакал вместе с женщинами и не стыдился своих слез. Зотушке пришлось даже утешать братца, а также и плакавшего о. Крискента. Только двое в этой толпе оставались безучастными и неподвижными, точно они застыли на какой-то одной мысли, – это были Нил Поликарпыч и Татьяна Власьевна. Нил Поликарпыч не мог плакать, потому что горе было слишком велико; а Татьяна Власьевна думала о том, что эта смерть – наказание за ее страшный грех. На свежей могиле о. Крискент сказал прочувствованное слово, пользуясь случаем, чтобы напомнить своей пастве о ничтожности и тленности всего земного, о нашей неправде и особенно о тлетворном значении разделительной силы. Добрый старик хотел на могиле Фени примирить враждовавших овец. Овцы слушали его, в душе во всем соглашались, многие даже плакали, и все разошлись по своим домам, чтобы с новыми силами продолжать старые счеты и действовать в духе крайнего разделения.

– Это Брагины убили Феню, – говорили у Савиных и Колобовых. – Уж эта Татьяна Власьевна!.. Да и Гордей-то Евстратыч тоже хорош! Правду говорят: седина в бороду, а бес в ребро.

Последними остались на Фениной могилке Нил Поликарпыч, бабушка Татьяна и Зотушка. Они долго молились и точно боялись уйти с кладбища, оставив здесь Феню одну.

– Нил Поликарпыч, пойдемте домой… – говорил Зотушка, осторожно стараясь оттащить старика от могилы. – Еще простудитесь…

– Ах, я дурак… дурак!.. – дико вскричал Нил Поликарпыч, ударив себя по лбу кулаком. – Ведь нужно было только напоить Феню дорогою травой, жива бы осталась…

Этой мыслью разрешились наконец благодатные слезы! Старик заплакал в первый раз после смерти своей дочери, опустившись на снег коленями. Он был без шапки, и остатки мягких волос развевались на его голове от резкого зимнего ветра; но он не слыхал и не чувствовал ничего. Побелевшие губы шептали какую-то бессвязную чепуху о дорогой траве и других не менее верных средствах. Каждый из троих думал, что ему следовало умереть, а не Фене. Но смерть имеет свою логику и скашивает самые цветущие колосья на человеческой ниве, оставляя для чего-то массу нетронутого человеческого сора.

– Куда теперь? – спрашивал Нил Поликарпыч, дико озираясь по сторонам. – Домой… зачем?

Девушка перед смертью взяла слово с Зотушки, что он не оставит отца и заменит ему хоть отчасти ее; Зотушка поклялся и теперь окончательно переселился в пятовский дом, чтобы ухаживать за Нил Поликарпычем, который иногда крепко начинал задумываться и даже совсем заговаривался, как сумасшедший.

XVIII

Весной работы на Смородинке оживились с новой силой: ставили вторую паровую машину. Били две новых шахты, потому что в старой золото уже «пообилось» и только шло богатыми гнездами там, где отдельные жилы золотоносного кварца выклинивались, то есть сходились в одну. Зимний заработок был меньше прошлогоднего, потому что работы вообще велись через пень-колоду, благо самому хозяину было не до жилки. Но и весной, хотя Гордей Евстратыч часто бывал на Смородинке, можно было уже заметить, что у него точно не лежало сердце к прииску и его постоянно тянуло в Белоглинский завод. Он часто жаловался, что совсем уронил батюшкину торговлю панских товаров, и предполагал поднять ее на широких основаниях, для чего думал поставить две больших каменных лавки на городской манер. Эта затея была

продолжением непременного желания построить себе дом вроде шабалинского. Дело пока стояло за местом. Гордей Евстратыч все еще не решался переселиться окончательно с насиженного пепелища на православную сторону, где было подсмотрено самое подходящее местечко.

– Мы, мамынька, наладим лавки-то под домом, как в городу, – часто повторял Гордей Евстратыч.

– Нет, милушка, это не годится: с рынку уйдешь и покупателей растеряешь… Батюшка-то не глупее был нас с тобой, а сидел да сидел себе на рынке.

Последний аргумент имел неотразимую силу, и Гордей Евстратыч утешался пока тем, что хоть дом поставит по своему вкусу. Он привозил из города двух архитекторов, которые меряли несколько раз место и за рюмкой водки составляли проекты и сметы будущей постройки.

– За деньгами не постоим, а чтобы, главное, все было форменно, на господскую руку, – упрашивал Гордей Евстратыч.

– Будет форменно, – уверяли архитекторы и, забрав задатки, укатили в город.

По последнему зимнему пути Брагин начал производить заготовку материалов: лесу, бутового камня, железа, глины, кирпичу и т. д. В версте от Белоглинского завода Брагиным строился кирпичный завод, так как готового кирпича в большом количестве в Белоглинском заводе достать было негде; подряжены были две плотничных артели, артель вятских каменщиков, пильщики, столяры и кровельщики. Гордей Евстратыч хотел поднять дом непременно в одно лето, чтобы на другое лето приступить к его внутренней отделке, то есть выштукатурить, настлать полы, выкрасить, вообще привести в форменный вид. Как тронется снег, решено было приступить к подготовительным работам: рыть канавы под фундамент, обжигать кирпич, пилить лес. Эти хлопоты отнимали все свободное время Гордея Евстратыча, и за ними он забывал о своем недавнем горе, которое миновало, как тяжелый сон. Только иногда ему становилось очень жутко, точно камнем придавит: в эти минуты Брагин или уезжал в город, или попадал в шабалинский дом, что было равносильно, потому что там и здесь Гордей Евстратыч разрешал на водку и кутил без просыпу несколько дней подряд. Вообще, он за последний год порядком пристрастился к веселому житью и «принимал водку» в большом количестве, извиняя себя компанией. Только в церкви Гордей Евстратыч был исправен по-прежнему и вел церковные дела так, что комар носу не подточит.

Чтобы поднять запущенную батюшкину торговлю, Гордей Евстратыч сам «сгонял» в Ирбитскую ярмарку и поворотил там целую уйму панского товара, чтобы разом затмить всех остальных белоглинских торговцев. Он теперь часто бывал в лавке и собственноручно приводил все товары в порядок, при помощи невесток и Нюши; впрочем, последняя главным образом вела торговую книгу. Случалось как-то так, что Гордей Евстратыч приходил в лавку как раз тогда, когда там сидела Ариша. Сначала сноха побаивалась этих посещений, но Гордей Евстратыч совсем не обращал на нее никакого внимания и даже покрикивал, когда находил в чем непорядки. Такое поведение успокоило молодую женщину, и она начала относиться к свекру с бóльшим доверием.

– Ну, ну, поворачивайся, сношенька, – покрикивал на нее Гордей Евстратыч, когда Ариша мешкала.

Раз Гордей Евстратыч заехал в лавку навеселе; он обедал у Шабалина. Дело было под вечер, и в лавке, кроме Ариши, ни души. Она опять почувствовала на себе ласковый взгляд старика и

старалась держаться от него подальше. Но эта невинная хитрость только подлила масла в огонь. Когда Ариша нагнулась к выручке, чтобы достать портмоне с деньгами, Гордей Евстратыч крепко обнял ее за талию и долго не выпускал из рук, забавляясь, как она барахталась и выбивалась.

– Тятенька… пустите!.. Христос с вами!

– А… испугалась!.. Ну, ну, повернись еще… ишь, какая круглая стала!

– Я бабушке Татьяне скажу, тятенька!..

– Ну, ну, дура, я пошутил.

Ариша отошла в угол лавки и, поправляя сбившееся платье и платок на голове, тихонько заплакала. Гордей Евстратыч сначала улыбался, а потом подошел к невестке и сильно толкнул ее локтем в бок.

– Чего ты ревешь, корова?.. – закричал он, схватывая Аришу за руку. – Ишь, распустила нюни-то… Ласки не понимаешь, так пойми, как с вашим братом по-настоящему обращаются.

Проспавшись, Гордей Евстратыч немного одумался и, чтобы загладить свой грех, потихоньку от других пообещал Арише, что привезет ей из города такого гостинца, какого она и во сне не видывала.

– Мне, тятенька, ничего от вас не нужно… – твердо объявила Ариша, собирая всю свою храбрость. – Я ничего больше не возьму от вас, хоть меня на части режьте.

– А… так ты вот какие разговоры с отцом заводишь? – зарычал Гордей Евстратыч. – Погоди, я тебя так проучу, что ты у меня узнаешь, как грубить…

– Я Михалке все скажу…

– Говори… Я вас и с Михалком-то обоих в один узел завяжу. Слышишь?

Под первым впечатлением Ариша хотела рассказать все мужу, но Михалко был на прииске; пожаловаться бабушке Татьяне Ариша боялась, потому что старуха в последнее время точно косилась на нее; пожалуй, ей же, Арише, и достанется за извет и клевету. Но как же опять не сказать? И стыдно ей было, да Ариша и сознавала, что такой оборот не принесет ей никакой пользы, а только лишние слезы отцу с матерью да домашние неприятности. Все равно Гордей Евстратыч не послушает никого, а только еще пуще озлобится на беззащитную сноху. В крайнем случае Ариша придумала два выхода: убежать со Степушкой к родным, а если ее оттуда добудут через полицию – повеситься или утопиться… Все это обдумывалось в бессонную ночь и было полито горькими слезами, которые Ариша должна была глотать про себя. Она припомнила к случаю разные истории, где свекры добывали невесток правдами и неправдами: в раскольничьих семьях таких снохачей было несколько, – все это знали, все об этом говорили, а дело оставалось шитым и крытым. Особенно врезалась ей в память история купцов Кокиных, которую она слышала еще в детстве. Старик Кокин увязался за своей снохой и, не добившись от нее ничего, зверски убил ее ребенка, девочку лет четырех: старик завел маленькую жертву в подполье и там отрезывал ей один палец за другим, а мать в это время оставалась наверху и должна была слушать отчаянные вопли четвертуемой дочери. Страшное преступление потом раскрылось, и старик Кокин был наказан плетьми – это было еще при старых судах, – а сноха сошла с ума. Мысли, одна страшнее другой, одолевали бедную Аришу, и она то принималась безумно рыдать, уткнувшись головой в подушку, то начинала молиться, молиться не за себя, а

за своего Степушку, который спал в ее каморке детски-беззаботным сном, не подозревая разыгрывавшейся около него драмы.

Успокоившись немного, Ариша решилась еще подождать, что и оказалось самым лучшим. Гордей Евстратыч оставил ее в покое, не приставал с своими ласками, но зато постоянно преследовал всевозможными придирками, ворчаньем и руганью. Ариша покорно сносила все эти невзгоды и была даже рада им: авось на них износится все горе, а Гордей Евстратыч одумается. На ее счастье, подвернулся такой случай, который перевернул в брагинском доме все вверх дном.

Городские архитекторы составили план брагинского дома и явились в Белоглинский завод, чтобы начать постройку. Материалы были все заготовлены и даже канавы под фундамент вырыты, оставалось приступить к самой закладке. Брагин пригласил о. Крискента помолебствовать, как это водится у добрых людей, чтобы все было честь честью; как раз случился Порфир Порфирыч в Белоглинском заводе; одним словом, закладка дома совершилась при самой торжественной обстановке, в присутствии Порфира Порфирыча, Шабалина, Плинтусова, Липачка и других. После молебствия все, конечно, были приглашены в старый брагинский дом откушать хлеба-соли и вспрыснуть новую постройку, чтоб она крепче стояла.

– Без вспрысков какой же дом? – говорил Шабалин. – Вон я строил свой, так, может, не одну бочку с своими благоприятелями ро́спил. Зато крепко вышло.

– И мы от добрых-то людей не в угол рожей, Вукол Логиныч, – обижался Брагин. – Милости просим, господа… Только не обессудьте на нашей простоте: живем просто, можно сказать, без всякого понятия. Разве вот дом поставим, тогда уже другие-то порядки заведем… Порфир Порфирыч, пожалуйте!

В брагинском доме была приготовлена роскошная закуска, а потом настоящий богатый обед, «как у других». Татьяна Власьевна была великая мастерица по части таких торжественных «столов» и на этот раз особенно потщилась, чтобы не ударить лицом в грязь пред настоящей компанией. Правда, модных кушаний не было с французскими соусами и разными мудреными приправами, но зато были художественно состряпанные пироги, всевозможные разносолы, вареное и жареное. На закуску Гордей Евстратыч прихватил из городу салфеточной икры, омаров, страсбургских пирогов, астраханских балыков, провесной белорыбицы и всякой прочей снеди, которую ел у Шабалина и других золотопромышленников. В винах, конечно, тоже недостатка не было, потому что народ, бывший в брагинском доме, любил «мочить губу», как говорил Зотушка. Обстановка в брагинском доме за последний год значительно изменилась, потому что из Нижнего и Ирбита Гордей Евстратыч навез домой всякой всячины: ковров, столового серебра, новой мебели, посуды и т. д. Конечно, все это в обыкновенное время было припрятано по сундукам и шкафам, а мебель стояла под чехлами; но теперь другое дело – для такого торжественного случая можно было и развернуться: чехлы с мебели были сняты, на окнах появились шелковые драпировки, по полу французские ковры, стол сервирован был гарднеровской посудой и новым столовым серебром. Камчатные дорогие скатерти и салфетки дополняли столовый убор. Вообще все было устроено форменно, дескать, и мы не левой ногой сморкаемся, хотя Гордей Евстратыч и прикидывался пред гостями Акимом-простотой, а Татьяна Власьевна с низкими поклонами приговаривала:

– Уж не обессудьте, дорогие гости, на нашем убожестве!

– А ты вот что, спасенная душенька, – говорил Шабалин своим обычным грубым тоном, – когда ко мне-то в гости соберешься?

– Собираюсь, давно собираюсь, Вукол Логиныч, да вот все как-то не могу собраться… Стара стала я, ведь на восьмой десяток. В чужой век зажилась…

– Ладно, ладно, бабушка, нас всех переживешь… А ты приходи все-таки, я тебе такую штучку покажу, не за хлебом-солью будь сказано.

– Ох, уж ты, Вукол Логиныч, всегда… разговор-то у тебя…

– Чего разговор? Разговор настоящий… хозяйственный. Век живи – век учись. Нарочно мастера себе из городу привозил, чтобы мне одну штуку наладил, понимаешь – теплую… Козет называется.

Этот «козет» особенно занимал Шабалина в последнее время, и он нарочно привозил гостей из других заводов, чтобы показать им немецкую выдумку.

– Отстань, греховодник… – отплевывалась Татьяна Власьевна, когда Шабалин подробно объяснил назначение немецкой выдумки.

– Сие действительно весьма предусмотрительно устроено, – вставил свое слово о. Крискент, большой любитель домашности.

– Вот с отцом Крискентом и приходи, бабушка, – говорил Шабалин. – Мы хоть и не одной веры, а не ссорились еще… Так, отец Крискент?

– Зачем ссориться, Вукол Логиныч?.. Бог один для всех, всех видит, и благодать Его преизбыточествует над нами, поелику ни един влас с главы нашей не спадет без Его воли. Да…

Около закуски гости очень скоро развеселились, так что до обеда время пробежало незаметно. Порфир Порфирыч успел нагрузиться и, как всегда, с блаженной улыбкой нес всевозможную чепуху; Шабалин пил со всеми и не пьянел; Липачек едва мигал слипавшимися глазами; а Плинтусов ходил по комнате, выпячивая грудь, как индейский петух. Архитекторы сначала стеснялись в незнакомой компании, но потом устроили разрешение вина и елея и быстро познакомились. Даже о. Крискент не избег общей участи и, пропустив рюмку какой-то заветной наливки, лихорадочно расстегивал пуговицы своего подрясника.

Когда Татьяна Власьевна начала накрывать обеденный стол, Порфир Порфирыч наступил на нее.

– Бабушка… кто же с нами обедать будет? – спрашивал он, стараясь сохранить равновесие колебавшегося тела.

– Как кто? Все будут обедать, Порфир Порфирыч: отец Крискент, Вукол Логиныч, Гордей Евстратыч…

– Ах, не то, бабушка… Понимаешь? Господь, когда сотворил всякую тварь и Адама… и когда посмотрел на эту тварь и на Адама, прямо сказал: нехорошо жить человеку одному… сотворим ему жену… Так? Ну вот, я про это про самое и говорю…

– Что-то невдомек мне будет, Порфир Порфирыч… Стара я стала.

– Ну, ну… Экая ты, бабушка, упрямая! А я еще упрямее тебя… Отчего ты не покажешь нам невесток своих и внучку? Знаю, что красавицы… Вот мы с красавицами и будем обедать. Я толстеньких люблю, бабушка… А Дуня у вас как огурчик. Я с ней хороводы водил на Святках…

И Ариша ничего.

– Перестаньте грешить-то, Порфир Порфирыч… У нас молодым женщинам не пригоже в мужской компании одним сидеть. Ежели бы другие женщины были, тогда другое дело: вот вы бы с супругой приехали…

– Одолжила, нечего сказать: я с своей супругой… Ха-ха!.. Бабушка, да ты меня уморить хочешь. Слышишь, Вукол: мне приехать с супругой!.. Нет, бабушка, мы сегодня все-таки будем обедать с твоими красавицами… Нечего им взаперти сидеть. А что касается других дам, так вот отец Крискент у нас пойдет за даму, пожалуй, и Липачек.

Шабалин и другие гости присоединились к желанию Порфира Порфирыча и представили свои резоны.

– А ежели ты, спасенная душа, не покажешь нам своих невесток, – говорил Шабалин, – кончено – сейчас все по домам и обедать не станем.

– Так, так! – подхватили все.

– Да разве мы их съедим? – объяснил Плинтусов. – Ах, Боже мой!.. За кого же вы в таком случае нас принимаете? Надеюсь, за порядочных людей… Вот и отец Крискент только что сейчас говорил мне, что не любит обедать в одной холостой компании и что это даже грешно.

– Господа, да что мы тут разговариваем попусту в самом-то деле? – заговорил Порфир Порфирыч. – Прощай, бабушка… А мы обедать к Вуколу поедем.

Дело приняло такой оборот, что Татьяне Власьевне наконец пришлось согласиться на все, а то этот блажной Порфир Порфирыч и в самом деле уедет обедать к Вуколу и всю компанию за собой уведет. Скрепя сердце она велела невесткам одеваться в шелковые сарафаны и расшитые золотом кокошники, а Нюше достала из сундука свою девичью повязку, унизанную жемчугами и самоцветным камнем. В этих старинных нарядах все три были красавицы на подбор, хотя Ариша сильно похудела за последние дни, что Татьяна Власьевна заметила только теперь. Нюша была вообще какая-то вялая и апатичная: после смерти Фени она окончательно изменилась, и о прежней стрекотунье Нюше, которая распевала по всему дому, и помину не было. Лучше всех была Дуня в своем алом глазетовом сарафане и кисейной рубашке: высокая, полная, с румянцем во всю щеку и с ласково блестевшими глазами, она была настоящая русская красавица. Когда все трое вышли к столу, гости приняли их с самыми шумными проявлениями своего восторга.

– Ах ты, мой бутончик!.. пупочка… – говорил Порфир Порфирыч, целуя руки у Дуни. – Вот так красавица!.. Ну-ка, повернись-ка маленько… Ну!.. Пышная бабенка, черт возьми! Аришенька, матушка, здравствуй!.. Что это ты нахохлилась, как курица перед ненастьем?

Порфир Порфирыч поместился за обеденным столом между Дуней и Аришей, а напротив себя усадил Нюшу и был, кажется, на седьмом небе.

– Вот теперь отлично… – говорил Порфир Порфирыч, стараясь обнять разом обеих дам.

– Не балуй, Порфир Порфирыч!.. – строго заметила Татьяна Власьевна. – А то я всех уведу.

– Не буду, не буду!

Обед начался самым веселым образом, хотя дамы немножко и конфузились с непривычки к

компании. Сама Татьяна Власьевна не садилась за стол, наблюдая за порядком и за подававшей кушанья кривой Маланьей. Гости ели и хвалили хозяйку, Гордей Евстратыч хлопотал насчет вин. Говорили о новом доме и его отделке; высчитывали его стоимость, кричали, спорили, – одним словом, обед вышел как все парадные обеды: все было форменно. Отец Крискент, разрезывая на своей тарелке кусок пирога с осетриной, благочестиво говорил о домостроительстве вообще и даже привел в пример Соломона, тонко сплетая льстивые слова тароватому хозяину. Липачек провозгласил тост за здоровье хозяйки, и, когда все поднялись с полными бокалами, чтобы чокнуться с ним, Гордей Евстратыч вдруг побледнел и уронил свой бокал: он своими глазами видел, как Порфир Порфирыч, поднимаясь со стула с бокалом в одной руке, другою обнял Аришу.

– Порфир Порфирыч… ты это как же?.. – глухо спросил Гордей Евстратыч. Он был бледен как полотно, а губы у него тряслись от внутреннего бешенства, которое он напрасно старался сдержать.

– Я?.. Я – ничего… – как ни в чем не бывало ответил Порфир Порфирыч, с изумлением оглядываясь кругом.

– Ариша, ступай к себе… – приказал Гордей Евстратыч дрожавшим от бешенства голосом.

– Вот тебе и клюква! – засмеялся Порфир Порфирыч. – Как же это так, Гордей Евстратыч?.. Я, пожалуй, на один бок наелся…

Эта маленькая сцена на мгновение остановила общее веселье: гости переглядывались, о. Крискент попробовал было вступиться, но его никто не слушал.

– Да ты никак осердился на меня? – спрашивал Порфир Порфирыч хозяина. – Я, кажется, ничего не сделал…

– Ну, мне на свои-то глаза свидетелей не надо, – отрезал Гордей Евстратыч и прибавил: – Все люди как люди, Порфир Порфирыч, только тебя, как кривое полено, в поленницу никак не укладешь…

Порфир Порфирыч ничего не ответил на это, а только повернулся и, пошатываясь, пошел к двери. Татьяна Власьевна бросилась за ним и старалась удержать за фалды сюртука, о. Крискент загородил было двери, но был безмолвно устранен. Гордей Евстратыч догнал обиженного гостя уже на дворе; он шел без шапки и верхнего пальто, как сидел за столом, и никому не отвечал ни слова.

– Голубчик, Порфир Порфирыч… прости, ради Христа, на нашем глупом слове! – умолял Брагин, хватая гостя за руки. – Хочешь, при всех на коленках стану у тебя прощенья просить!.. Порфир Порфирыч!..

Порфир Порфирыч вырвал свою руку, без шапки выбежал за ворота и нетвердой походкой пошел вдоль Старо-Кедровской улицы; за ним без шапки бежал Шабалин, стараясь догнать. Брагин постоял-постоял за воротами, посмотрел, куда пошли его гости, а потом, махнув рукой, побрел назад.

– А ведь дело-то, пожалуй, выйдет табак… – заметил Плинтусов, когда Брагин вернулся к гостям.

Гордей Евстратыч сам видел, что все дело испортил своей нетерпеливой выходкой, но теперь его трудно было поправлять. Торжество закончилось неожиданной бедой, и конец обеда

прошел самым натянутым образом, как поминки, несмотря на все усилия о. Крискента и Плинтусова оживить его. Сейчас после обеда Гордей Евстратыч бросился к Шабалину в дом, но Порфира Порфирыча и след простыл: он укатил неизвестно куда.

– Что же теперь делать? – спрашивал Гордей Евстратыч своего благоприятеля Шабалина.

– А уж и не знаю, Гордей Евстратыч, – уклончиво ответил тот. – С Порфиром Порфирычем шутки плохие, пожалуй, еще и жилку отберет…

Оно так и вышло.

Через неделю на Смородинку приехал горный чиновник, осмотрел работы и составил протокол, что разработка золота производилась неправильная: частные лица могут промывать только россыпное золото, а не жильное, которое добывается казенным иждивением. Смородинка в качестве коренного месторождения должна была поступить в казенное ведомство, а Гордей Брагин подвергался надлежащей ответственности за неправильное объявление прииска.

Работы были прекращены, контора опечатана, рабочие и служащие распущены по домам, и это как раз в самый развал летней работы, в первых числах мая. Удар был страшный, и, конечно, он был нанесен опытной рукой Порфира Порфирыча.

– Вот тебе и кривое полено… Ха-ха!.. – заливался Шабалин, когда услышал о закрытой Смородинке. – Прощайся, Гордей Евстратыч, с своей жилкой, коли не умел ей владать…

XIX

Брагин полетел хлопотать в Екатеринбург в надежде уладить дело помимо Порфира Порфирыча. Посоветовался кое с кем из знакомых золотопромышленников, с двумя адвокатами, с горными чиновниками – все качали только головами и советовали обратиться к главному ревизору, который как раз случился в городе.

Гордей Евстратыч отыскал квартиру главного ревизора и со страхом позвонил у подъезда маленького каменного домика в пять окон. На дверях блестела медная дощечка – «Ардалион Ефремыч Завиваев».

– Барин дома? – спрашивал Брагин выскочившую на звонок горничную.

– Дома-с.

Через минуту Гордей Евстратыч осторожно вошел в кабинет, где его встретил сам хозяин – вылитый двойник Порфира Порфирыча, так что в первую минуту Брагин даже попятился со страху.

– Что прикажете, как вас звать?

– Да вот дельце, Ардалион Ефремыч, вышло…

– Это насчет Смородинки?.. Не могу, не могу, не могу!.. – закричал Завиваев, отмахиваясь обеими руками. – Я семнадцать лет служу на Урале главным ревизором… Да!.. Это беззаконие… Я и Порфира Порфирыча отдам под суд вместе с тобой!

Хотя Завиваев и кричал на Брагина, но это был не злой человек. Он даже пошутил над умолявшим его Гордеем Евстратычем и, ласково потрепав по плечу, проговорил:

– У меня под надзором девятьсот приисков, милочка, и ежели я буду всякому золотопромышленнику уступать, так меня Бог камнем убьет, да!.. Дело твое я знаю досконально и могу сказать только то, что не хлопочи понапрасну. Вот и все!.. Взяток никому не давай – даром последние деньги издержишь, потому что пролитого не воротишь.

– Ардалион Ефремыч, спасите… не погубите!

Брагин ушел от Завиваева ни с чем, проклиная на свете все и всех. Дело было дрянь, как его ни поверни. Не доверяя совету Завиваева, Гордей Евстратыч принялся усиленно хлопотать и лез в каждую щель, чтобы только воротить Смородинку. Эти хлопоты стоили ему больших денег и ровно ни к чему не привели: жилка пропала навсегда!.. Вернуться домой с пустыми руками Гордею Евстратычу было тошнехонько, и он проживался в городе целый месяц. У него все-таки был в руках кругленький капитальчик тысяч в сто, и друзья-приятели утешали его, что горевать еще не о чем, когда такой капитал шевелится в кармане. Его познакомили с такими дельцами, которые сулили золотые горы – только стоило пустить капитал в оборот. С горя Брагин закутил в хорошей компании, которая утешала его на все руки. Однажды он сидел в гостях у знакомого золотопромышленника, где набралось всякого народа; тут же сидел какой-то господин в золотых очках и с толстой золотой цепочкой у часов. Он все время точно присматривался к Гордею Евстратычу, а потом отвел его в сторону и таинственно проговорил:

– Эх вы, Гордей Евстратыч… Нашли о чем горевать!.. Я вам скажу, что мы еще не такое золото отыщем. Приезжайте ко мне потолковать, а вот вам моя карточка.

На карточке неизвестного Гордей Евстратыч прочитал: «Владимир Петрович Головинский, техника».

«Черт его знает, может быть, какой-нибудь жулябия… – подумал Брагин, перевертывая в руках атласную карточку. – Наслышался, что у Брагина деньги еще остались в кармане, – вот и подсыпается мелким бесом».

Прежде чем отправиться к Головинскому, Гордей Евстратыч навел о нем кое-какие справки через общих знакомых, из которых оказалось, что Головинский вообще человек хороший, хотя определенных занятий не имеет. Его видали в клубе, в театре, в концертах – вообще везде, где собиралась хорошая публика; он был знаком со всем городом и всех знал, имел пару отличных вяток, барскую квартиру и жил на холостую ногу. Самая наружность Головинского имела в себе много подкупающего: высокий, средних лет, с окладистой бородкой и выхоленным дворянским лицом, с приличными манерами, всегда безукоризненно одетый, он везде являлся заметным человеком. Особенно дамы были от него в восхищении.

– Ну что же, не съест он меня, прах его побери… – решил Брагин, отправляясь отыскивать квартиру Головинского, который жил на главной улице.

Кабинет в квартире Головинского был устроен на деловую ногу с той специальной роскошью, какую устраивают себе люди, умеющие быть богатыми. Гордей Евстратыч не ожидал ничего подобного: в самом воздухе точно пахло тысячами, не теми шальными мужицкими тысячами, как у Шабалина например, а настоящими, господскими тысячами. И сам Головинский совсем не походил на жулябию, а держался с большим гонором. Уж совсем не походил на этих горных чинушек вроде Порфира Порфирыча или Завиваева. Принял он Брагина очень любезно, но с весом. Усадив гостя в кресло, Головинский несколько раз прошелся по комнате, поправив редевшие на голове волосы, и мягким голосом заговорил:

– Вас, уважаемый Гордей Евстратыч, вероятно, удивило мое приглашение… Да?.. Очень

понятно. Конечно, вы под рукой собрали кое-какие справки обо мне… Опять-таки понятно, потому что идти толковать о деле к совершенно незнакомому человеку очень сомнительно, хоть до кого доведись. Я вам скажу, что вам другие сказали обо мне… Но это все равно: я хотя и везде здесь бываю, но меня никто не знает. Хорошо.

Головинский мягко потер свои выхоленные белые руки, подыскивая слова и мельком взглядывая на сидевшего в кресле Брагина.

– Сначала я вам скажу о себе, Гордей Евстратыч, – продолжал Головинский после короткой паузы. – Родился и вырос я в Москве, служил несколько лет на частной службе, сколотил небольшой капитальчик, а потом получил наследство после дяди… Сначала думал завести какое-нибудь дело в Москве, но с моими средствами так трудно пробить дорогу: там миллионные дела обделываются, как здесь пироги бабы стряпают, а у меня несколько тысяч. Вот я и задумал попытать счастья в провинции и приехал на Урал, года два-три назад. Место действительно богатое, и дело можно себе подыскать, да только, не спросясь броду, я не люблю соваться в воду. Жил, присматривался к людям… и подыскал одно дельце. Только нужно вам сознаться – уж извините меня за откровенность, Гордей Евстратыч! – народ здесь – не клади пальца в рот.

– Уж что говорить, самые первостатейные плуты живут… Это верно, Владимир Петрович!

– Да, на Урале люди вообще немного странные, – мягко поправил Головинский своего собеседника. – Взять хоть вот случай с вами, как у вас отняли прииск…

– Ох, верно, верно… зарезали без ножа!

– Я слышал всю эту историю и от души вас пожалел… Вижу, человек вы скромный, боитесь всякого начальства, вот они вас и крутят в бараний рог. Теперь вы остались без всякого дела, деньги у вас кое-какие еще есть; ну, долго ли попасть на какого-нибудь прощелыгу, который оберет у вас последние крохи. Ведь вам делали всевозможные предложения? Да, я слышал… Вот я и хотел, с одной стороны, предохранить вас от разных плутов, а потом предложить вам одно дельце. Вообще, кажется, мы сойдемся, по крайней мере я полюбил вас с первого раза. Я человек прямой и говорю откровенно.

– Какое же дельце-то, Владимир Петрович? Оно, конечно, мы люди простые, а тоже можем чувствовать… Взять хоть того же Порфира Порфирыча – обидел он меня, вот как обидел!..

– И главное, Шабалин работает на такой же жилке, как и ваша.

– Верно, все верно… Погорячился я немного, а Шабалин, лукавый его задери, хоть верхом на нем катайся, даром что сам-то плут.

– В том-то и дело, Гордей Евстратыч, что люди здесь все фальшивые, ни на кого положиться нельзя. А кстати, – прибавил Головинский, вынимая из кармана золотые часы, – мы сейчас червячка заморим. Пойдемте в столовую.

Комнаты в квартире Головинского были убраны на барскую ногу, особенно столовая, где стоял резной буфет отличной работы. На накрытом столе какой-то невидимой рукой был приготовлен завтрак и кипел серебряный кофейник на спиртовой лампочке. «Не так, как у нас: как есть, так и столарню целую подымут», – думал Брагин, усаживаясь за стол. Головинский сам налил два стакана кофе и пригласил подкрепиться рюмочкой водки. Гордей Евстратыч выпил и невольно удивился: такой водки он никогда не пивал. Вытерев салфеткой губы, Брагин заговорил:

– А уж вы извините нас, Владимир Петрович, на нашей простоте… Гляжу я на вас, все у вас по форме, а одного как будто не прихватывает…

– Именно?

– Хозяйки в дому нет… Так-с?

– Вы угадали, Гордей Евстратыч, сердцем угадали, потому что сердце у вас доброе… Да, хозяйки у меня нет.

– Отчего же не женитесь? За невестами у нас, слава Богу, дело не станет… Али, может, столичная на примете держится?

– Есть и такой грех, Гордей Евстратыч… Только за откровенность я вам заплачу откровенностью, именно объясню, почему я не женился до сих пор. Дело вот в чем: хочется мне сначала делишки свои привести в настоящий порядок, этак куш зашибить порядочный, а потом уж и жениться. По нынешним временам да не заработать деньгу – грешно от Бога будет, перед собственными детьми после совестно будет. Я так полагаю: уж если стоит жить, так жить по-настоящему, как добрые люди живут, и для этого сначала нужно потрудиться, поработать.

– И мы в своей темноте то же думаем, только вот деньги-то добывать плохо умеем… с понятием надо жить на свете, по всей форме. А как вы насчет дельца-то, Владимир Петрович?

– Сейчас, сейчас, Гордей Евстратыч. – Головинский не торопясь налил рюмку водки, поднес ее к свету и, причмокнув губами, проговорил: – Видите?

– Отличная водка…

– Да… А вот в этой самой водке богатство сидит, верное богатство, как дважды два четыре. Не чета вашему золоту… Вот и дельце, о котором я хотел с вами поговорить.

– Это, значит, водкой заняться?

– Именно… Самое верное дело, Гордей Евстратыч. Отчего раздуваются все эти наши здешние тузы?..

Головинский назвал несколько громких имен денежных тузов и в каких-нибудь полчаса объяснил все изворотливости, ходы и выходы специально винной торговли. Гордей Евстратыч слушал с разинутым ртом, заваленный красноречивыми цифрами.

– Где вы найдете другое такое дело, которое давало бы триста процентов на капитал? И не ищите… Если взять золотопромышленность, наконец, так здесь все зависит от случая, от счастья, а на водке еще никто не прогорел.

– Это-то верно, только необычное оно дело, Владимир Петрович… Даже как будто маненько претит: нечистая денежка идет.

– Э, батенька, нашли что… А вы так рассудите: чем мы грешнее других? Дело самое законное… Нажили капитал, тогда можно и водку побоку. А уж с настоящим-то капиталом можно руки расправить. Порфир Порфирыч теперь думает, что утопил вас, одним словом утопил, а тут выйдет наоборот: вы миллионером сделаетесь, а тогда… Да что тут говорить…

В течение двухчасовой беседы Головинский совсем заговорил Гордея Евстратыча и на прощание, крепко пожимая руку, прибавил:

– Об одном только попрошу вас, дорогой Гордей Евстратыч: согласитесь или не согласитесь – молчок… Ни единой душе, ни одно слово!.. Это дело наше и между нами останется… Я вас не неволю, а только предлагаю войти в компанию… Дело самое чистое, из копейки в копейку. Хотите – отлично, нет – ваше дело. У меня у одного не хватит силы на такое предприятие, и я во всяком случае не останусь без компаньона.

Брагин ушел от Головинского точно в тумане: перед ним развертывались новые, широкие перспективы, а возможность насолить Порфиру Порфирычу кружила голову. Все теперь думают, что Гордей Евстратыч пропал со своею жилкой, а Гордей Брагин вдруг в миллионы залезет… Тогда и Порфиру Порфирычу, и Ардалиону Ефремычу, и Вуколу Логинычу – всем нос утрем… Всю дорогу из города Брагин раздумывал завязанную Головинским думушку и чем больше думал, тем сильнее убеждался в справедливости всего, что слышал от этого необыкновенного человека. И ведь как говорит, шельма этакая: как по писаному, так и режет… Ловкач, уж что и говорить. С понятием, форменный человек. Небось ему надо в миллион вогнать, а не то чтобы валандаться на тысчонках, как другие прочие. Брагин с сожалением думал о своей торговле панскими товарами: уж именно темнота, темнота она и останется. И понятия настоящего в этой торговле нет: ублажай полдневских бабенок, раздавай в долг, гонись за модным товаром, всякому угоди… Сколько одного греха на душу наберешься!..

Домой Гордей Евстратыч вернулся в самом веселом настроении, чем удивил всех, а Татьяна Власьевна даже обиделась и сердито проговорила:

– Нашел чему радоваться, нечего сказать… Ведь прииск-то все-таки отобрали?

– Ну отобрали, так что же?.. Пусть их, мамынька… Порфир-то Порфирыч с Шабалиным теперь думают, что по миру нас пустили… Ха-ха!..

– Милушка, над чем ты хохочешь-то?..

– Да над ними, мамынька, над Порфиром Порфирычем… Вот ужо, погоди, мы им так утрем нос, что чертям покажется тошно.

– Значит, Смородинка-то опять к тебе отойдет? – обрадовалась Татьяна Власьевна.

– Ах, мамынька, совсем не то… Скажу тебе только одно: приедет к нам один человек, тогда сама все увидишь… Уж такой человек, такой человек…

– Может, опять какой-нибудь пьяница… Все эти городские на одну колодку!..

Гордей Евстратыч не стал спорить, а только махнул рукой: дескать, погоди, мамынька, вот сама увидишь. Теперь у Гордея Евстратыча было много хлопот с постройкой дома, которая позамялась с этой передрягой; пока он хлопотал в городе, едва успели сложить фундамент, хотя и было кому смотреть за рабочими. Михалко и Архип теперь болтались дома без всякого дела. Успокоившись после своих неудачных хлопот, Брагин с особенным старанием занялся домом: ездил на кирпичный завод, наблюдал за всеми работами и живмя жил на постройке, точно хотел всем показать, что ему все нипочем, как с гуся вода. Пусть посмотрят и Савины, и Колобовы, как он испугался Порфира Порфирыча да с горя начал дом строить. В лавку Брагин заглядывал совсем редко, потому что там сидел Михалко, надежный человек, не то что снохи. Пожалуй, Брагин прикрыл бы свою панскую торговлю, если бы не была она поставлена батюшкой, ну да и ребятам все-таки заделье какое ни на есть, чтобы задарма на печке не

сидели.

Недели через две, как был уговор, приехал и Головинский. Он остановился у Брагиных, заняв тот флигелек, где раньше жил Зотушка со старухами. Татьяна Власьевна встретила нового гостя сухо и подозрительно: дескать, вот еще Мед-Сахарыч выискался… Притом ее немало смущало то обстоятельство, что Головинский поселился у них во флигеле; человек еще не старый, а в дому целых три женщины молодых, всего наговорят. Взять хоть ту же Марфу Петровну: та-ра-ра, ты-ры-ры…

– Куда же Владимиру Петровичу деваться, ежели он ко мне по делу приехал? – успокаивал Гордей Евстратыч. – Кабы у нас в Белоглинском заводе гостиницы для приезжающих были налажены, так еще десятое дело, а то не на постоялом же дворе ему останавливаться, этакому-то человеку.

– Оно, конечно, так, милушка, да все-таки… Что уж больно его захваливаешь? Кругом, видно, обошел тебя… настоящая приворотная гривенка этот твой Владимир Петрович, так Медом-Сахарычем и рассыпается.

– Обнаковенно, мамынька, ежели человек с настоящим понятием, так он никогда не будет кочевряжиться, как Порфир Порфирыч… А обходить меня тоже нечего: дело чистое – как на ладонке.

– Ой, смотри, милушка, чтобы не обошел хваленый-то!..

Татьяна Власьевна крепко не доверяла гостю, потому что уж очень милушка-то на него обнадежился: неладно что-то, скоро больно…

Первым делом Головинский устроил свой флигелек, хотя приехал на несколько дней. Пол и стены были устланы коврами, окна завешены драпировками, на столе, за которым работал Головинский, появились дорогие безделушки, он даже не забыл захватить с собой складной железной кровати и дорожного погребца с серебряным самоваром. С ним приехал его камердинер, седой, благообразный старик Егор; это был слуга высшей школы – молчаливый, степенный, сосредоточенный. Насколько барин был ласков и обходителен, настолько великолепный Егор был сух и важен, точно он был заморожен. Кривая сердитая Маланья крепко невзлюбила его и называла темной копейкой, хотя и не могла не удивляться умению Егора устроить барина по-своему.

– Уж так у них устроено, так устроено… – докладывала Маланья подозрительно слушавшей ее речи Татьяне Власьевне. – И сказать вам не умею как!.. Вроде как в церкви… Ей-богу! И дух у них с собой привезен. Своим глазом видела: каждое утро темная-то копейка возьмет какую-то штуку, надо полагать из золота, положит в нее угольков, а потом и поливает какою-то мазью. А от мази такой дух идет, точно от росного ладана. И все-то у них есть, и все дорогое… Ровно и флигелек-то не наш!..

Эти рассказы настолько возбудили любопытство Татьяны Власьевны, что она, улучив минуту, когда Головинский с Гордеем Евстратычем были на постройке, а Егор ушел на базар, нарочно сходила в флигелек и проверила восторги Маланьи. Действительность поразила старуху, особенно белье и платье гостя, разложенное и развешанное Егором в таком необыкновенном порядке, как коллекция какого-нибудь архинемецкого музея. Другим обстоятельством, сильно смутившим Татьяну Власьевну, было то, что Владимир Петрович был у них в доме всего один раз – повернулся с полчасика, поговорил, поблагодарил за все и ушел к себе. Такой обходительный человек, что старухе наконец сделалось совестно перед ним за свои

подозрения.

– Хоть бы ты его обедать позвал… – вскользь заметила Татьяна Власьевна сыну. – Как-то неловко, все же человек живет в нашем доме, не объест нас…

– Ах, мамынька!.. Да разве это такой человек, что стал он тебе чужие обеды собирать… Это настоящий барин, с понятием, по всей форме. Не чета тем объедалам, которые раньше нас одолевали… Он вон и в постройке-то все знает, как начал все разбирать, как начал разбирать – архитектора-то совсем в угол загнал. А я разве ослеп, сам вижу, что Владимир Петрович настоящее дело говорит. И все он знает, мамынька, о чем ни спроси… Истинно сказать, что его послал нам сам Господь за нашу простоту!.. – Расхваливая гостя, Гордей Евстратыч, однако, не обмолвился ни одним словом, за каким делом этот гость приехал, и не любил, когда Татьяна Власьевна стороной заводила об этом речь.

Ближайшее знакомство с Головинским произошло как-то само собой, так что Татьяна Власьевна даже испугалась, когда гость сделался в доме совсем своим человеком, точно он век у них жил. Как это случилось – никто не мог сказать, а всякий только чувствовал, что именно Владимира Петровича и недоставало в доме; у всех точно отлегло на душе, когда Владимир Петрович появлялся в горнице. А приходил он всегда кстати и уходил тоже, никому не мешал, никого не стеснял; даже невестки и Нюша как-то сразу привыкли к нему и совсем не дичились. Одним словом, свой человек – и конец всему делу! Торжеством поведения Владимира Петровича было его уменье есть и пить, чем любовался даже сам Гордей Евстратыч. В брагинском доме возобновились прежние трапезы и самые торжественные чаеванья. В стряпне Владимир Петрович знал такой толк, что даже поразил Маланью: он не пропускал без похвалы самомалейшего торжества кухонного искусства, что льстило Татьяне Власьевне, как опытной хозяйке. Он даже научил ее, как следует по-настоящему солить огурцы и готовить их впрок, именно: нужно заказать с Гордеем Евстратычем, когда он поедет в Нижний, привезти дубового листа, и огурцы будут целый год хрустеть на зубах, как свежепросольные.

– Давно я хочу, Владимир Петрович, спросить вас, да все как-то не смею… – нерешительно проговорила однажды Татьяна Власьевна. – Сдается мне, что как будто вы раньше к старой вере были привержены… Ей-богу! Уж очень вы хозяйство всякое произошли… В Москве есть такие купцы на Рогожском!.. Извините уж на простом слове…

Оказалось, что хотя Владимир Петрович и не был привержен к старой вере, но выходило как-то так, что Татьяна Власьевна осталась при своей прежней догадке.

– Нет, ты, мамынька, заметь, как он за обедом сидит или чай пьет! – удивлялся, в свою очередь, Гордей Евстратыч. – Сразу видно человека… Небось не набросится, как те торопыги-мученики, вроде хоть Плинтусова взять!..

Собственно, настоящее дело, за которым приехал Головинский, было давно кончено, и теперь в Зотушкином флигельке шла разработка подробностей проектируемой винной торговли. У Владимира Петровича в голове были такие узоры нарисованы, что Гордей Евстратыч каждый раз уходил от него точно в чаду. Брагина поражало особенно то, что Владимир Петрович всякого человека насквозь видит, так-таки всех до единого. Только Гордей Евстратыч заикнется, а Владимир Петрович и пошел писать, да ведь так все расскажет, что Гордей Евстратыч только глазами захлопает: у него в голове читает, как по книге, да еще прибавит от себя всегда такое, что Гордей Евстратыч диву только дается, как он сам-то раньше этого не догадался… А винную часть Владимир Петрович так произошел, что и говорить было нечего: все по копейке вперед рассчитал, на все своя смета, везде первым делом расчет, даже где и кому колеса подмазать и всякое прочее, не говоря уж о том, как приговоры от сельских

обществ забрать и как с другими виноторговцами конкуренцию повести.

Головинский зорко присматривался к брагинской семье, особенно к Татьяне Власьевне, и, конечно, не мог не заметить того двоившегося впечатления, которое он производил на старуху: она хотела верить в него и не могла, а между тем она была необходима для выполнения великих планов Владимира Петровича. После долгого раздумья и самого тщательного исследования вопроса со всех его сторон и со всех точек зрения Головинский пришел к тому заключению, что теперь можно нанести последний решительный удар, чтобы «добыть старуху», как выражался про себя делец. Однажды, когда Владимир Петрович остался с глазу на глаз с Татьяной Власьевной, они разговорились.

– Давно я хочу вам сказать одну вещь, бабушка… Можно мне так называть вас, Татьяна Власьевна?

– Зови, коли глянется…

– Я простой человек, бабушка Татьяна, и люблю других простых людей. Так вот я смотрю на вас и часто думаю, что у вас чего-то недостает в доме… Так? Не денег, не вещей, а так… поважнее этого.

– Да чего же еще-то, милушка?.. Слава Христу, не можем, кажется, пожаловаться…

– Нет, не то… Постороннему человеку, бабушка Татьяна, это виднее. Я часто думаю об этом и решился высказать вам все откровенно. Вы не обидитесь на меня? Я в этом был уверен… Видите ли, какая вещь… Гм… Одним словом, я думаю о вас, бабушка Татьяна. Ведь вам подчас очень невесело приходится, и я знаю отчего. Виноват… Сначала я скажу вам, как вы ко мне лично относитесь и что думаете теперь. Вы мне не совсем доверяете… Да? Дескать, черт его знает, что у него на уме, у этого стрекулиста, приехал из городу, поселился и хочет подмазаться к нашим денежкам…

– Что вы, Владимир Петрович, Христос с вами?!. Да я, милушка… Ах, какие вы слова выговариваете!

– Будемте начисто говорить, и я прямо вам скажу, что вижу все это, понимаю и не обижаюсь. Для вас я действительно посторонний человек, а чужая душа – потемки… Так? Да вы не стесняйтесь, бабушка Татьяна, дело житейское: я говорю только, что вы думаете. Ну, так и запишем… Вас особенно смущает то обстоятельство, что мы затеваем с Гордеем Евстратычем? Да? Он не говорит никому ничего потому, что дал мне честное слово не болтать. Вот и все… Я человек осторожный и не люблю бросать слов на ветер, а тем больше хлопотать напрасно. Гордея Евстратыча я знал в городе как хорошего человека, потому ему и доверился, а теперь вызнал вас, бабушка Татьяна, и, кажется, могу вам довериться вполне.

Головинский подробно рассказал свою встречу с Гордеем Евстратычем и свои намерения насчет винной части. Он ничего не скрыл, ничего не утаил и с свойственным ему великим тактом тонко расшевелил дремавшую в душе бабушки Татьяны корыстную жилку. Заманчивая картина, с одной стороны, а с другой – самые неопровержимые цифры сделали свое дело: бабушка Татьяна пошла на удочку и окончательно убедилась, что Владимир Петрович действительно хороший человек.

– Теперь возвратимся к тому, с чего начали, то есть что я хотел давно сказать, бабушка Татьяна, – продолжал Головинский, переводя дух. – Я с первого раза заметил, что у вас есть какое-то горе, а теперь знаю его и могу вам помочь, если вы хотите. Одним словом, вас мучат, бабушка Татьяна, ваши натянутые отношения к вашим родственникам, то есть к Савиным и к

Колобовым. Вы считаете себя правыми, и они тоже; они мучатся от этого за своих дочерей, а вы вдвое, потому что эти дочери у вас постоянно перед глазами. И Гордей Евстратыч давно бы помирился с ними, да только случая не выпадало. Собственно, и не ссорились, вероятно, а так, ваше золото всех смутило… Я был в этом уверен. Вот самим и не помириться никогда, а тут нужно постороннего человека, который на все взглянул бы здраво, без всякого предубеждения. Хотите, я все устрою? Помирю и вас, и Гордея Евстратыча со всей вашей родней?

– Владимир Петрович, милушка, да как это тебе на ум-то все это пришло… а?.. Ведь ты бы нас всех облагодетельствовал!..

– Мне просто жаль ваших невесток, жаль Гордея Евстратыча, а главным образом – жаль вас, бабушка Татьяна… Для вас специально все устрою!.. Нелегко это достанется, а устрою…

Старуха испытующе посмотрела на своего собеседника, покачала своей седой головой и решительно проговорила:

– Нет, милушка, ничего тебе не устроить…

– Да уж вы только мне позвольте, а там мое дело: моя голова в ответе…

– А как ты это устроишь?

– Опять мое дело…

Тронутая этим участием и прозорливостью Владимира Петровича, бабушка Татьяна рассказала ему подробно о том, как она, вкупе с о. Крискентом, хотела устроить такое примирение, воспользовавшись «гласом девственницы», а вместо того только загубила Феню. При этом воспоминании Татьяна Власьевна, конечно, всплакнула и сквозь слезы, вытирая свои потухшие глаза кончиком передника, проговорила:

– Ты еще не знаешь Матрены-то Ильинишны, так и говоришь так, а попробуй-ка. И Агнея Герасимовна: она только на вид простой прикидывается. У нас тут есть одна старая девушка, Марфа Петровна, так она мне все рассказала, что говорят про нас у Колобовых-то да у Савиных.

– Ага… Так. А я вам скажу, что эта девушка Марфа Петровна, вероятно, страшная сплетница, она вас и рассорила окончательно: вам наговорит про Колобовых да про Савиных с три короба, а им про вас. Вот сыр-бор и загорелся. Да уж вы только позвольте мне…

После долгого колебания Татьяна Власьевна наконец изъявила свое согласие, чего Головинский только и добивался. Он на той же ноге отправился к Колобовым и Савиным, а вечером пришел к бабушке Татьяне и немного усталым голосом проговорил:

– Ну, бабушка Татьяна, говорите: слава Богу! Все устроил… Завтра с Гордеем Евстратычем вместе поедем сначала к Колобовым, а потом к Савиным. Матрена Ильинишна кланяется вам и Агнея Герасимовна тоже… Старушки чуть меня не расцеловали и сейчас же к вам приедут, как мы съездим к ним с визитом.

Это известие так поразило Татьяну Власьевну, что она в немом изумлении минут пять смотрела на улыбавшегося Владимира Петровича, точно на нее нашел столбняк. Даже было мгновение, что старушка усомнилась, уж не оборотень ли пред ней… И так просто: съездил, поговорил – и все как по маслу.

– Только для вас, бабушка Татьяна! – повторял Головинский, потирая руки.

XX

Итак, двухлетнее «разделение» Брагиных с родней благодаря ловкому вмешательству Головинского закончилось миром. Старикам надоело «подсиживать» друг друга, и они с радостью схватились за протянутую руку.

– Да что он вам говорил-то, Матрена Ильинишна? – спрашивала Татьяна Власьевна, угощая в своем доме сватью Колобову и сватью Савину.

– Да, почесть, и разговору особенного не было, Татьяна Власьевна, – объяснили старухи, – а приехал да и обсказал все дело – только и всего. «Чего, – говорит, – вы ссоритесь?» И пошел и пошел: и невесток приплел, и золото, и Марфу Петровну… Ну, обнаковенно всех на свежую воду и вывел, даже совестно нам стало. И чего это мы только делили, Татьяна Власьевна? Легкое место сказать: два года… а?.. Диви бы хоть ссорились, а то только и всего было, что Марфа Петровна переплескивала из дома в дом.

– Вот, вот, это самое и есть… Марфа-то Петровна и была заводчицей всему делу!

Помирившиеся старушки были рады свалить вину на Марфу Петровну; Головинский предвидел такой оборот дела и с особенной тщательностью обработал именно этот пункт. Теперь оставалось только помириться с Пазухиными и с Зотушкой; но Зотушка явно избегал возможности сближения, а мириться с Пазухиными после проделок Марфы Петровны, в которых, несомненно, должна была принимать участие и Пелагея Миневна, нечего было и думать. Раньше бабушка Татьяна не теряла надежды уладить как-нибудь дело Нюши и Алешки Пазухина, а теперь она сама была против этого брака, благо и девка стала забывать понемногу: девичье горе да девичьи слезы, как вешний дождь, – высохнут. Разговорам старушек не было конца. Когда исчерпаны были все подробности и отдельные эпизоды недавнего разделения, они принялись рассматривать те обновы, какие завелись в брагинском доме. Татьяна Власьевна вытащила все, что милушка успел накупить в последнее время на ярмарках в городе. Сватьи рассматривали, ценили и ахали от изумления, потому что все было такое дорогое, на барскую ногу: столовое и чайное серебро, мебель, ковры и т. д. Особенно восторг старушек возбудил отдел белья и платья, потом дорогие подарки Гордея Евстратыча снохам, Нюше и самой Татьяне. Соболья шубка Нюши, золотой «прибор» Ариши, парчовый сарафан бабушки, брильянтовые серьги, которые подарил Гордей Евстратыч Дуне за маленькую Таню, – все было осмотрено и облюбовано с приемами записных знатоков своего дела. Старушки с наслаждением ощупывали руками дорогие материи и не могли оторвать глаз от золота, заставлявшего их завистливо вздыхать.

– Чего говорить, богатые вы нынче стали, Татьяна Власьевна, – говорила Матрена Ильинична, испытывавшая особенное волнение. – Рукой скоро не достать… Дом вон какой начали подымать, пожалуй, еще почище шабалинского выйдет.

О всем было переговорено, все было перемыто до последней косточки, и только никто ни единым словом не обмолвился о Фене Пятовой, точно она никогда не существовала… Этого черного пятна не мог смыть с брагинского золота даже сам Владимир Петрович. В первое за состоявшимся примирением воскресенье собрались в церкви и Брагины, и Савины, и Колобовы, так что эта картина мира окончательно умилила о. Крискента и он попробовал сказать слово на текст: «Что добро или красно, еже жити, братие, вкупе», но не мог его докончить – слезы радости душили его, и старик, махнув рукой, удалился в алтарь. А виновник этого общего торжества, то есть Владимир Петрович, стоял тут же в церкви в великолепном пальто и

небрежно крестил его лацканы своими торопливыми барскими крестиками.

– Ну, всем ты взял, Владимир Петрович, а молиться не умеешь, – началила Головинского после обедни бабушка Татьяна, – точно в балалайку играешь… А я еще думала, что ты к старой вере был привержен!..

Головинский порядочно зажился в Белоглинском заводе, подготовляя дело. Между прочим, он успел побывать и у Шабалина, и у Пятова, а зачем туда ездил – бог его знает. «Уж такой, видно, у него характер, – решила про себя Татьяна Власьевна, – пошел бы да поехал…» Старуха и не подозревала, что примирением с Колобовыми и Савиными Головинский сразу убил двух зайцев: во-первых, повернул на свою сторону самое Татьяну Власьевну, а во-вторых, расчистил дорогу Гордею Евстратычу, когда придется хлопотать по винному делу и брать приговоры от волостных обществ. Савины и Колобовы были люди влиятельные и много могли помочь успеху дела.

– Мы с двух сторон возьмем, – объяснил Головинский начинавшему сомневаться Гордею Евстратычу, – вы будете здесь орудовать, а я в городе. Оно, как по маслу, все и сойдет…

Нужно сказать, что…ская губерния была по части винной забрана в сильные руки одной могучей кучки виннозаводчиков, которые вершили все дела по-своему. Пробиться в этот заколдованный круг представляло непреодолимые трудности, и целый ряд неудачных попыток в этом направлении мог бы охладить всякого, но только не Владимира Петровича. Во главе винных тузов стояла одна персона из херсонских греков, некто Жареный, который спаивал всю…скую губернию и выплачивал казне одного акцизу несколько миллионов. Владычество его являлось государством в государстве; он был всесилен в качестве кабацкого патриарха и не допускал никого к своему золотому руну. В его руках были сосредоточены тысячи невидимых нитей, которыми было опутано все кругом, а он сидел в своей паутине и блаженствовал, как присосавшаяся пиявка. Гордей Евстратыч стороной слыхал о великой силе Жареного и впадал в невольное уныние, когда припоминал свои жалкие сто тысяч, которые он выдвигал против всесильного водочного короля, окруженного вдобавок целой голодной стаей своих компатриотов, которым он позволял пососать в свою долю.

– Сумлеваюсь я насчет этого Жареного, – не раз говорил Брагин Владимиру Петровичу. – Пожалуй, не угоняться за ним… Утопит…

– Ничего, не утопит, – уверял Головинский, – уж я все устрою. Мы смажем салазки и Жареному. Вы только приговор от общества возьмите…

Устроив свои дела в Белоглинском заводе, Владимир Петрович укатил в город, напутствуемый общими благословениями, как добрый гений. Даже Матрена Ильинична высказалась о нем в том роде, что «истинно Господь послал нам этого Владимира Петровича!». Брагин, не теряя дорогого времени, круто повел дела и сам принялся объезжать заводы и деревни, где хотел взять за себя кабаки по общественным приговорам; центром действия был, конечно, Белоглинский завод. На счастье Брагина, осенью кончались сроки приговорам, и он рассчитывал повернуть все по-своему, а для этого не скупился, где нужно было, тряхнуть мошной. Расходы были обыкновенные: ведра два водки волостным старичкам, четвертной билет в зубы писарю и по таковому же старшине со старостой, а там известная откупная сумма «обчеству», смотря по выгодности пункта. В общей сложности расходы были довольно чувствительные и быстро унесли из брагинской казны тысяч двадцать пять – а там нужно было делать всякое кабацкое обзаведение. Головинский повел дело не менее энергично и, вооруженный широкой доверенностью Гордея Евстратыча, пролезал через десятки игольных ушей уездной и губернской администрации. Нужно было во многих местах смазать

административную машину, а потому являлись часто побочные расходы – угодить «винной генеральше» и т. д. Гордей Евстратыч получил подробные отчеты его неутомимых хлопот, причем все расходы Головинский делал на свой счет, и их сумма превышала даже расходы самого Гордея Евстратыча, который даже стеснялся такой щедростью своего тароватого компаньона.

В самый горячий момент этих трогательных усилий, когда все дело было уже на мази, Гордей Евстратыч получил от Головинского лаконическую телеграмму: «Все улажено, он дает отступных вдвое против наших расходов».

– Ну, шалишь, не на тех напал!.. – соображал Брагин, торжествуя легкую победу. – Мы сами с усами, чтобы на твои отступные позариться. Нашел глупых!..

Было открыто до двенадцати кабаков, и дело пошло горячо. Водка не чета даже железной торговле или хлебной, не говоря уже о панском товаре: всегда тебе «мода» на эту водку – только получай денежки. На железо да на хлеб цены все-таки меняются, иногда совсем бывает застой в делах, а по винной части все хорошо: урожай – народ пьет с радости, неурожай – с голоду. Про заводских да про приисковых рабочих и говорить нечего: они только водкой и держались при своем каторжном труде. Только одно было нехорошо в этой винной части – очень уж много расходов на первый раз: так в разные части и рвут, а доходы там еще собирай. Конечно, дело было верное, но все-таки как-то жаль расставаться с верными денежками. Головинский несколько раз приезжал в Белоглинский, осматривая кабаки, и все тянул деньги из Гордея Евстратыча. Дело не ждало, и отказать было неловко.

– Свои-то денежки я все ухлопал, – оправдывался Владимир Петрович, – теперь поневоле приходится тянуть вас… Потерпите, скоро барыши будем загребать. Это только сначала расходов много, а там пойдет совсем другое. Напустим мы холоду этому Жареному. Сам приезжал ко мне с отступными, и только не плачет.

Эти расходы заставляли Гордея Евстратыча крепко задумываться, и он несколько раз заводил о них речь с Татьяной Власьевной, которая всегда держала руку Владимира Петровича.

– Чтой-то, милушка, уж этакой-то человек. Уж кому же после этого верить! – говорила старуха. – Вон отец Крискент, его дело сторона, а он прямо говорит: «Господь вам, Татьяна Власьевна, послал Владимира Петровича, именно за вашу простоту…» И Матрена Ильинична с Агнеей Герасимовной то же самое в голос говорят…

– Оно конечно, мамынька; только вот денег-то больно много ухлопали мы: так и плывут…

– Потерпи, милушка. Как быть-то?.. Деньги дело наживное. А уж насчет Владимира Петровича ты даже совсем напрасно сумлеваешься. Вон у него самовар даже серебряный, ковры какие, а дома-то, сказывают, сколько добра всякого… Уж ежели этакому человеку да не верить, милушка, так и жить на белом свете нельзя. На что наша Маланья, на всех фукает, как старая кошка, а и та: «Вот уж барин, так можно сказать, что взаправский барин!»

Постройка нового дома к первому снегу вчерне была кончена, хотя поставить стропила и покрыть крышу не успели. Дом вышел громадный, даже больше шабалинского, и Гордей Евстратыч думал только о том, как его достроить: против сметы везде выходили лишние расходы, так что вместо пятнадцати тысяч, как первоначально было ассигновано, впору было управляться двадцатью. А между тем на руках у Гордея Евстратыча денег оставалось все меньше и меньше, точно они валились в какую прорву. С винной частью Гордей Евстратыч опять запустил свою панскую торговлю, во всем положившись на Михалку, который постоянно

сидел в лавке. Архип разъезжал вместе с отцом по волостям, где открывались новые кабаки, и вел всю счетную часть. Между тем выручка в лавке все убывала, особенно когда Гордею Евстратычу приходилось уехать куда-нибудь недели на две. Татьяна Власьевна давно сметила, в чем дело, но покрывала Михалку, чтобы не поднимать в семье нового вздору; Михалко крепко зашибал водкой, особенно без отца. Кроме того, в Белоглинском заводе снова появился Володька Пятов, и его часто видали в брагинской лавке, а это была плохая компания. Ариша ходила с заплаканными глазами, но Татьяна Власьевна уговорила ее потерпеть.

– Уж как быть-то, голубушка, такое наше женское дело, – успокаивала она невестку, – теперь вот у нас мир да благодать, а ежели поднять все сызнова – упаси Владычица! Тихостью-то больше возьмешь с мужем всегда, а вздорить-то, он всегда вздор будет… подурит-подурит Михалко и одумается. С этим Володькой теперь связался – от него вся и причина выходит…

Савины и Колобовы, конечно, знали о Михалкиных непорядках, но крепились, молчали, чтобы не расстроить только что заварившейся дружбы. Агнея Герасимовна потихоньку говорила Арише то же, что ей говорила Татьяна Власьевна, прибавляя в утешение:

– Ты еще благодари Бога, что Михалко-то одной водкой зашибается, а вон Архип-то, сказывают, больно за девками бегает… Уж так мне жаль этой Дуни, так жаль, да и Матрены-то Ильинишны! Только ты никому не говори ничего, Ариша, Боже тебя сохрани!

Дуня была совсем другого темперамента, чем Ариша, и точно не хотела замечать ничего: ей было лень даже шевельнуться, и она после первого ребенка сильно начала толстеть… К детям сно́хи относились неодинаково: Ариша не могла надышаться на своего Степушку, а Дуня иногда даже совсем забывала о существовании маленькой Тани. Гордей Евстратыч относился к невесткам ласково, но немного дулся на Аришу, потому что она всегда напоминала ему о разрыве с Порфиром Порфирычем. Ариша очень неловко чувствовала себя каждый раз в присутствии свекра, сознавая себя виноватой, хотя Гордей Евстратыч не сказал ей ни слова о том, что сам думал. Но раз, когда Гордей Евстратыч пришел откуда-то навеселе, он поймал Аришу в комнате одну и проговорил:

– Ну, Ариша, ты все еще на меня сердишься?.. А я так ни на кого не сержусь… и глаза закрыл, будто ничего не вижу. Все вы меня обманываете… Помнишь Порфира-то Порфирыча? Ничего я тебе не сказал тогда, все износил… Потом вы зачали меня с Михалкой обманывать… А разве я слеп?.. Все знаю, все вижу и молчу… Вот каков я человек есть, и ты это, Ариша, должна чувствовать. Да…

– Я вас не обманываю, тятенька… – проговорила Ариша, краснея до ушей.

– Не обманываешь? А куда Михалко выручку девает? А кто покрывает Михалку, когда он без меня домой пьяный приходит?.. Все хороши…

Гордей Евстратыч нехорошо засмеялся, и этот вызывающий смех заставил Аришу вздрогнуть. Его покрытое розовыми пятнами, улыбавшееся лицо было ей хорошо знакомо: она не забыла последней сцены в лавке и теперь не знала, как себя держать: уйти – значит показать, что она подозревает Гордея Евстратыча в дурных намерениях, остаться – значит подать ему повод сделать какую-нибудь новую глупость. Эта нерешительность и испуг Ариши забавляли Гордея Евстратыча, и он, разглаживая свою подстриженную бороду, сделал по направлению к невестке несколько нерешительных шагов и даже протянул вперед руки.

– Ну, помиримся, Ариша, – говорил он. – Да иди ко мне, не бойся: не кусаюсь… Не хочешь?.. Не любишь?.. Ха-ха… Постой, змея, ты от меня все равно не уйдешь!

Молчание Ариши еще сильнее разозлило Гордея Евстратыча, и он, схватив ее за руку, с сверкавшими глазами прошептал:

– Слышишь, что я тебе сказал?.. Я ничего не забыл… Выбирай из любых.

Бедная Ариша тряслась всем телом и ничего не отвечала, но, когда Гордей Евстратыч хотел ее притянуть к себе, она с неестественной силой вырвалась из его рук и бросилась к дверям. Старик одним прыжком догнал ее и, схватив за плечи точно железными клещами, прибавил:

– Ты у меня только пикни, я тебя задушу своими руками… Добра моего не чувствуешь, так узнай зло!

– Тятенька… побойтесь Бога…

– Убирайся, дура!..

Ударом кулака Гордей Евстратыч вышвырнул невестку за дверь, а сам заходил по горнице неровным шагом.

План действий быстро созрел в голове Гордея Евстратыча: подсчитав Михалку по лавке, он взял его к себе, а в лавку опять посадил Аришу. Татьяна Власьевна боялась грозы, но Гордей Евстратыч обошелся с Михалкой очень милостиво и даже точно не хотел ничего видеть.

– Ты у меня смотри не дури… – коротко заметил Брагин сыну. – Не умел в лавке сидеть, так, может, у меня на глазах лучше будешь, а то мы с Архипом совсем замаялись.

Бедная Ариша, как и другие, не могла себе объяснить, зачем Гордей Евстратыч милует Михалку, и вместе с тем отлично понимала, зачем посадили ее опять в лавку. От страха она старалась не думать о будущем и со страхом ждала каждого нового дня. Но и здесь ее ожидания не оправдались: Гордей Евстратыч не заглядывал совсем в лавку, точно совсем забыл о ней, хотя Ариша и не верила этому, подозревая какую-нибудь ловушку. А план Гордея Евстратыча был очень несложен. Володька Пятов болтался в Белоглинском и от нечего делать, наверно, будет шататься в лавку к Арише. Брагину этого только и нужно было, и он не ошибся в своих расчетах. Володька Пятов, воспользовавшись отсутствием своего закадычного друга Михалки, опять принялся ухаживать за Аришей, которой даже бежать от него было некуда. Она сразу очутилась между двух огней. Воспользовавшись таким удобным случаем, Гордей Евстратыч через третьи руки натравил Михалку на жену. Пьяный Михалко, застав в лавке Володьку Пятова, накинулся на жену и отколотил ее всенародно. Скандал вышел страшнейший. Ариша вернулась домой вся в синяках и далее не искала ни у кого защиты, потому что все равно ей никто не поверил бы, даже родная мать. Дело получило самый щекотливый оборот: Татьяна Власьевна держала сторону Михалки, Агнея Герасимовна только плакала, не смея защищать опозоренную дочь. Дома Михалко, подстрекаемый отцом, еще прибавил жене, не оставив у ней на теле живого местечка.

– Что, не вкусно носить мужнины-то побои? – смеялся Гордей Евстратыч над избитой невесткой. – Я тебя везде достану, змея… Теперь уж все знают, какая у тебя вера-то!.. Ха-ха… А скажи слово – все будет по-твоему.

Ариша молчала, не желая сказать «слова». Это был вызов на отчаянную борьбу, и Гордей Евстратыч еще сильнее привязывался к неподдававшейся невестке. Чтобы окончательно доконать ее, он с дьявольской изобретательностью напустил на Аришу сладкогласного о. Крискента, который должен был обратить заблудшую душу на путь истины.

Не добившись цели одним путем, Брагин пустил в ход другую политику: он начал везде таскать за собою Михалку и свел его с такой компанией, где тот совсем закружился. Гордей Евстратыч делал вид, что ничего не замечает, и относился к сыну с небывалой нежностью, и только одна Ариша понимала истинную цену этой отцовской нежности: отец хотел погубить сына, чтобы этим путем добиться своего. Дело кончилось тем, что Михалко начал пить формальным запоем, как пил Зотушка, и в пьяном виде выкидывал всевозможные безобразия. А Гордей Евстратыч нарочно посылал его в город на целые недели с разными поручениями и не жалел денег, чтобы Михалко пожил в свою долю в настоящей компании. Скоро до Белоглинского завода дошли слухи о подвигах Михалки в городе, где он безобразничал напропалую, и только один Гордей Евстратыч не хотел ничего знать. Даже когда Татьяна Власьевна келейно передала ему эти слухи, он только улыбнулся и проговорил:

– Вздор, мамынька… Мало ли про нас что болтают с зависти! Всех не переслушаешь, мамынька.

– Вот каков у тебя муженек-то! – рассказывал Гордей Евстратыч безответной Арише о подвигах Михалки. – А мне тебя жаль, Ариша… Совсем напрасно ты бедуешь с этим дураком. Я его за делом посылаю в город, а он там от арфисток не отходит. Уж не знаю, что и делать с вами! Выкинуть на улицу, так ведь с голоду подохнете вместе и со своим щенком.

Ариша как-то тупо отмалчивалась и даже не плакала.

Наступившее Рождество прошло очень невесело в брагинском доме, хотя Колобовы и Савины бывали в нем для порядку. Всем было тяжело, а всех тяжелее Арише, которая видела кругом себя общее недоверие и самые несправедливые подозрения. Конечно, Михалко пьянствовал от худой жены – вот общий приговор, который разделялся всеми. От хороших жен мужья не бегут к арфисткам… Даже приехавший Владимир Петрович, которому были все рады, точно он мог избавить брагинский дом от одолевавших его напастей, – и тот был бессилен. Впрочем, и сам Головинский смотрел не совсем весело и подолгу советовался с Гордеем Евстратычем в своем флигельке. Дело было поставлено и пущено в ход, но Мойша Жареный не дремал и повел усиленную атаку против брагинских кабаков; агенты Жареного добывали какие-то приговоры, открывали кабаки напротив брагинских и отпускали водку не только дешевле, чем у Брагина, но еще в долг. Очевидно, Жареный торговал себе в убыток, чтобы только доконать непрошеных конкурентов.

– Ничего, нужно только теперь потерпеть, – утешал Головинский. – Скоро надоест Жареному понапрасну деньгами сорить… Он хочет нас запугать, а мы свою линию будем выводить.

Эти разговоры в переводе обозначали: денег нужно, милейший Гордей Евстратыч. Но Гордей Евстратыч уперся как бык, потому что от его капитала осталось всего тысяч десять наличными да лавка с панским товаром, – остальное все в несколько месяцев ушло на кабаки, точно это было какое-то чудовище, пожиравшее брагинские деньги с ненасытной прожорливостью.

– У меня больше нет денег, Владимир Петрович, – решительно заявил Брагин своему компаньону.

– Значит, мы пустим все дело ко дну…

– Уж как Господь укажет… У Жареного миллионы, за ним не угоняешься.

– Можно и без денег обойтись, Гордей Евстратыч. Укажите мне хоть одно коммерческое предприятие, где все дело велось бы на наличные? Так и мы с вами сделаем: за кредитом дело не станет. Только выдайте мне специальную доверенность, а там уж я все дело устрою.

Гордей Евстратыч крепко задумался: с одной стороны – бросай все дело, с другой – залезай в долги, как другие коммерсанты. Посоветовался с мамынькой. Татьяна Власьевна успокаивала тем, что уж ежели Владимир Петрович советует, так, значит, дело верное и т. д. Самого Гордея Евстратыча сильно подмывало желание потягаться с Жареным и показать ему свою силу. После некоторого колебания Брагин выдал доверенность Головинскому, с которой тот и укатил в город. Может быть, последнего Гордей Евстратыч и не сделал бы, если бы у него на уме не было своей заботы, которая не давала ему покоя ни днем ни ночью, и он все время бродил точно в тумане.

XXI

Как-то после Рождества, однажды вечером, Татьяне Власьевне особенно долго не спалось. Старое семидесятилетнее тело сильно тосковало, старуха никак не могла укласть свои кости поспокойнее и все к чему-то точно прислушивалась. Ночь была ясная, месячная, морозная. Слышно было, как на улице скрипели полозья, как проезжали к фабрике углевозы и как хрипло покрикивали на лошадей полузамерзшие люди. Пропели вторые петухи, когда Татьяна Власьевна начала забываться, но этот тревожный сон был нарушен каким-то подавленным стоном. Вскочив с постели, Татьяна Власьевна бросилась к Нюше, но та спала ровным, спокойным сном, раскинув руки на подушке; старуха торопливо принялась крестить внучку, но в это время подозрительный звук повторился. Он походил на то, если бы человек усиливался крикнуть с крепко сжатым ртом. Теперь Татьяна Власьевна ясно расслушала, что этот звук донесся из каморки Ариши, где она спала одна с своим Степушкой. Первой мыслью старухи было то, что это непременно забрался к ним Володька Пятов, которого она видела третьего дня. Как была, на босу ногу, Татьяна Власьевна пошла к Аришиной каморке, захватив на всякий случай спичек; она никого не боялась и готова была вытащить Володьку за волосы. Когда она уже была в нескольких шагах от Аришиной каморки, там послышалась какая-то глухая борьба. Чиркнув наскоро спичкой о стену, Татьяна Власьевна остановилась в дверях этой каморки и с ужасом отступила назад: колеблющийся синеватый огонек разгоравшейся серянки выхватил из темноты страшную картину боровшихся двух человеческих фигур… Это была Ариша с разбитыми волосами и побагровевшим от напряжения лицом, на котором еще оставались белыми пятнами следы от чьих-то железных пальцев. Ее за руки держал Гордей Евстратыч, весь багровый, с трясшимися губами. Увидав мать, Гордей Евстратыч бросился в дверь. По дороге он сильно толкнул мать и сейчас же заперся в своей горнице.

– Что же ты не кричала? – спрашивала Татьяна Власьевна, когда немного пришла в себя.

– Я кричала… он мне рот зажимал… – ответила Ариша.

У Ариши еще стояли в ушах страшные слова Гордея Евстратыча: «Ты у меня, змея, попомни Кокина… слышишь?» Это того Кокина, который зарезал родную внучку.

– Бабушка, он убьет Степушку… – прошептала Ариша и тихо заплакала.

Сдержанные рыдания матери заставили ребенка проснуться, и, взглянув на мать и на стоявшую в дверях с зажженной восковой свечой бабушку, ребенок тоже заплакал. Этот ребячий плач окончательно отрезвил Татьяну Власьевну, и она, держась рукой за стену, отправилась к горнице Гордея Евстратыча, который сначала не откликался на ее зов, а потом отворил ей дверь.

– Ты не глуми, мамынька… – говорил он в ответ на слезы и упреки матери. – Надо сперва еще разобрать дело-то. Может, тогда другое заговоришь. Ариша-то…

– Врешь!.. Врешь!.. Побойся Бога-то…

– Ей-богу, мамынька!

Старики ссорились часа два, а когда Татьяна Власьевна пошла к себе в комнаты, каморка Ариши была уже пуста: схватив своего Степушку и накинув на плечи Нюшину заячью шубейку, она в одних башмаках на босу ногу убежала из брагинского дома. Ясное дело, что она пошла к своим и там все разболтает сейчас же. Дело получит огласку и покроет позором всю брагинскую семью… А может, Ариша побежала топиться? Через пять минут Татьяна Власьевна, задыхаясь, бежала к колобовскому дому, не чувствуя тридцатиградусного холода, щипавшего ей лицо и руки. Завидев издали промигивавший сквозь ледяную мглу морозной ночи огонек в нижнем этаже колобовского дома, Татьяна Власьевна перекрестилась: Ариша была дома. Чтобы окончательно увериться в этом, старуха добрела до самого колобовского дома и сквозь щель в ставне увидела Аришу, которая рассказывала все Самойлу Михеичу и Агнее Герасимовне. Все было кончено… Теперь уже никакими силами не остановить худой славы, которая молнией облетит вместе с зарей весь Белоглинский завод; теперь нельзя будет и носу никуда показать, все будут указывать пальцами… Что будет с Нюшей после такой славы? Что будут делать Михалко и Архип?.. Обратно Татьяна Власьевна брела целый час, разбитая, уничтоженная, огорченная; она не чувствовала своих старых слез, сыпавшихся у ней из глаз и сейчас же стывших на воротнике шубы. Срам, стыд, позор… И кто же все это наделал? Милушка, Гордей Евстратыч…

Дома Татьяна Власьевна застала всех вставшими. Дуня с маленькой Таней забралась к Нюше в комнату, и они заперлись даже на замок со страху. Ворота были отворены, в горнице Гордея Евстратыча было темно и тихо, как в могиле. Завидев бледную, посиневшую бабушку, Нюша и Дуня разревелись; они уже узнали, что Ариша убежала и отчего она убежала. Татьяна Власьевна, не раздеваясь, бессильно опустилась на первый стул и, закрыв глаза, сидела неподвижно, как статуя. Нюша боялась спросить ее, где Ариша и что с ней. Так они втроем просидели в одной комнате вплоть до свету, когда Маланья прибежала сказать, что приехал Самойло Михеич.

– Не надо… не пускай, – проговорила Татьяна Власьевна, точно просыпаясь от своего раздумья.

Самойло Михеич долго стучался в ворота, грозил судом и проклинал Гордея Евстратыча на чем свет стоит. В окнах пазухинского дома мелькали любопытные лица; останавливались прохожие; двое мальчишек, перескакивая с ноги на ногу, указывали пальцами на окна брагинского дома.

– Выходи, снохач!.. Я с тобой рассчитаюсь сейчас же!.. – кричал неистово Самойло Михеич. – Эй, Гордей Евстратыч, что спрятался?..

Расходившийся старик колотил кулаками в стену брагинского дома и плевал в окна, но там все было тихо, точно все вымерли. Гордей Евстратыч лежал на своей кровати и вздрагивал при каждом вскрикивании неистовствовавшего свата. Если бы теперь попалась ему под руку Ариша, он ее задушил бы, как котенка.

Через час весь Белоглинский завод уже знал о случившемся. Марфа Петровна успела побывать у Савиных, Пятовых, Шабалиных и даже у о. Крискента и везде наслаждалась величайшим удовольствием, какое только в состоянии была испытывать: она первая сообщала огромную новость и задыхалась от волнения. Конечно, Марфа Петровна успела при этом кое-что прибавить, кое-что прикрасить, так что скандал в брагинском доме покатился по всему Белоглинскому заводу, как снежный ком, увеличиваясь от собственного движения.

– С ножом бросился на Аришу… вот сейчас провалиться!.. – уверяла у Шабалиных Марфа Петровна. – А она, Ариша-то, как вырвалась от Гордея Евстратыча, так в одной рубахе и прибежала к своим-то… Нарочно ходила к ним и своими глазами видела Аришу: как Гордей Евстратыч душил ее, как у ней и теперь все пять пальцев так и отпечатались на лице. Он и Степушку хотел зарезать, да старуха помешала… А Михалки дома нет, он в городу. И Архип тоже… А как Самойло-то Михеич их срамил утром: «Снохач!»? – так и ревет у ворот, а сам на стены кидается.

У Шабалиных Марфа Петровна услыхала другую, не менее интересную новость, которую ей рассказал сам Вукол Логиныч, именно: что Брагины разорились на кабаках. Шабалин только что вернулся из города, где и слышал эту новость.

– Влетел как кур в ощип! – хохотал Вукол Логиныч. – Вперед наука… Вздумал тягаться с Жареным… Ха-ха!.. Да тут весь наш Белоглинский завод выворотить, так всех наших потрохов недостанет. Это его Головинский отполировал…

Шабалин на этот раз не лгал. Действительно, Гордей Евстратыч сейчас после удаления ругавшегося старика Колобова получил от Головинского такую телеграмму: «Нужно пятьдесят тысяч. Иначе мы погибли». Достать такую сумму нечего было и думать, и Гордей Евстратыч понял, что он теперь разорился в пух и прах. Он показал телеграмму матери и торопливо начал одеваться.

– Ты куда? – сурово спрашивала Татьяна Власьевна.

– В город, мамынька… – коротко ответил Гордей Евстратыч, натягивая в рукава оленью доху. – Надо… не знаю, ничего не знаю, мамынька… мы разорились… Прощай, мамынька… Береги Нюшу…

Даже не простившись с дочерью, Брагин вышел из комнаты и в сенях лицом к лицу встретился с Матреной Ильиничной, которая испуганно отшатнулась от него, как от зачумленного. Они постояли друг против друга несколько мгновений. Потом Гордей Евстратыч бросился во двор и торопливо вышел на улицу. Он пошел прямо к знакомому ямщику, велел заложить лучшую тройку и через полчаса был на дороге в город. Шел легкий снежок, мороз быстро спадал, ямщик лихо правил тройкой, которая быстро неслась по избитой ступеньками широкой дороге, обгоняя попадавшиеся обозы. Гордей Евстратыч лежал в кошевой на охапке сена и безучастно смотрел по сторонам, точно человек, который медленно и тяжело просыпался после сильного хлороформирования. За ним гнались страшные тени и призраки. Мертвая Феня, какой он видел ее в последний раз в гробу, отчаянно защищавшаяся Ариша, плакавшая в своей горенке Нюша, убитая горем мамынька с ее посиневшим страшным лицом.

В это время в брагинском доме происходила такая сцена. Матрена Ильинична сидела в комнате Татьяны Власьевны, не снимая шубы, и говорила своей сватье:

– Я пришла за Дуней, Татьяна Власьевна…

– Не пущу, – коротко ответила Татьяна Власьевна.

– Пустишь… Вы тут снох режете, а мы будем на вас глядеть. Есть и на вас суд, сватья…

– Все-таки не пущу. У Дуни есть муж, это его дело… Гордей Евстратыч уехал в город, я не могу без него.

– Силком уведу, ежели добром не отдашь.

– А суд?

– И суд будем судить… Найдем и на вас управу. Снохачей-то и на суде не похвалят. Дуняша, оболокайся…

– Дуня, не смей, а то прокляну.

– Дуня, оболокайся, пусть клянет: грех на моей душе…

Старухи повздорили и сильно разгорячились.

– Ариша напраслиной обнесла Гордея Евстратыча… – говорила Татьяна Власьевна. – Перед Богом ответит.

– Ладно, ладно… Будет вам снох-то тиранить. Кто Володьку-то Пятова к Арише подвел? Кто Михалку наущал жену колотить? Кто спаивал Михалку? Это все ваших рук дело с Гордеем Евстратычем… Вишь, как забили бабенку! Разве у добрых людей глаз нет… Дуняша, оболокайся!.. А то я сейчас в волость пойду или станового приведу… Душу-то христианскую тоже не дадим губить.

Татьяна Власьевна испугалась станового и покорилась. Дуня на скорую руку оделась во что попало, закутала маленькую Таню в шубу и ушла за матерью. У ворот их дожидалась лошадь. В брагинском дому осталась теперь только Татьяна Власьевна с Нюшей да кривая Маланья, которая выла и голосила в своей кухне, как по покойнике. Нюша сидела с ногами на своей кровати и, казалось, ничего не понимала, что творилось кругом; она была свидетельницей крупного разговора споривших старух и теперь даже не могла плакать. Ей тоже хотелось бежать из этого проклятого дома, но куда?!. Девушка боялась даже бабушки, которая ходила по комнатам как помешанная и торопливо прибирала все в сундуки, щелкая замками.

– Нюша… где ты? – спрашивала Татьяна Власьевна, вспомнив о внучке.

– Я здесь, бабушка…

– Чего ты смотришь: прибирай скорее!.. – заворчала на нее Татьяна Власьевна, сваливая на руки Нюши ворох снятых скатертей, из которых выкатились на пол два медных подсвечника. – Да поворачивайся… Чего ты глаза-то вытаращила?

Нюша машинально подобрала валившиеся из рук скатерти и продолжала смотреть на бабушку испуганными остановившимися глазами. Татьяна Власьевна только теперь догадалась, что Нюша слышала весь разговор Матрены Ильиничны.

– Нюша, что с тобой, милушка?..

– Бабушка… родимая…

Нюша с рыданиями повалилась на свою постель, обхватив обеими руками сунутые ей бабушкой скатерти. Но это молодое горе не в состоянии было тронуть Татьяны Власьевны, и старуха уверенно проговорила:

– Не верь, милушка, никому не верь… Зря все болтают, а с Ариши взыщет Господь за напраслину.

– Бабушка, да ведь недаром же Ариша-то убежала ночью?..

– Со злости убежала она, со злости, милушка… И всех нас напраслиной обнесла, за наше-то добро.

Татьяна Власьевна теперь сама верила своим словам и тому, что ей говорил Гордей Евстратыч об Арише. Конечно, она его затащила к себе в каморку, а потом нарочно закричала, чтобы показать свекра снохачом: этим и хотела покрыть свой грех с Володькой Пятовым. Хитра змея… Чем дольше думала в этом направлении сходившая с ума старуха, тем она сильнее убеждалась в правоте напрасно обнесенного сына. Статошное ли дело, чтобы Гордей Евстратыч стал заниматься такими мерзостями… Конечно, его подвела Ариша, а Аришу научили другие, те же Пазухины. Им это на руку… Гляди-ка, как поднялся даве Самойло-то Михеич, чуть зубами не грызет ворота, а сам кругом виноват – вырастил дочь-потаскушку.

Этот ряд мыслей парализовался известием о разорении. Татьяна Власьевна плохо поняла в первую минуту значение этого страшного слова, и только теперь оно представилось ей во всей своей реальной обстановке, со всеми подробностями. Едва ли она испугалась бы в такой степени, если бы ей объявили смертный приговор, – тогда погибла бы она одна, а теперь все кругом нее рушилось, и точно даже шатались стены батюшкина дома. Кстати, Татьяна Власьевна припомнила, что на той неделе выпал кирпич из батюшкиной печи и что потом она видела сряду три дня во сне эту печь: печаль и вышла… Уж это всегда так бывает, что печь видят к печали да горю.

– Надо все прибирать… скорее прибирать! – говорила вслух Татьяна Власьевна, торопливо обходя все горницы и собирая все, что попадалось под руку, чтобы спрятать и запереть в сундуки.

Можно было подумать, что старый брагинский дом охвачен огнем и Татьяна Власьевна спасала от разливавшегося пожара последние крохи. Она заставила и Нюшу все прибирать и прятать и боязливо заглядывала в окна, точно боялась, что вот-вот наедут неизвестные враги и разнесут брагинские достатки по перышку. Нюша видела, что бабушка не в своем уме, но ничего не возражала ей и машинально делала все, что та ее заставляла.

– Гляди-ка, Нюша, ведь это у Пазухиных из-за косяка подглядывают за нами, – говорила Татьяна Власьевна. – Марфа Петровна… Этакая злыдня!.. Нюша, милушка, где у нас ложки-то серебряные?

– В шкафу, бабушка…

– Ах, грех какой! Да ведь шкаф-то стеклянный, все видно… Тащи все в сундук, а то как раз…

В открытые сундуки, как на пожаре, без всякого порядка укладывалось теперь все, что попадало под руку: столовое белье, чайная посуда, серебро и даже лампы, которые Гордей Евстратыч недавно привез из города. Скоро сундуки были полны, но Татьяна Власьевна заталкивала под отдувавшуюся крышку еще снятые с мебели чехлы и заставляла Нюшу давить крышку коленкой и садиться на нее.

– Оно вернее будет, как под замком-то, – говорила Татьяна Власьевна, связывая все ключи на одну веревочку.

XXII

Приехав в город, Брагин прежде всего отправился, конечно, к Головинскому, который встретил его с распростертыми объятиями и, подхватив под руку, с соболезнованием говорил:

– Что делать, Гордей Евстратыч… что делать!

– Да ведь вы меня разорили, Владимир Петрович?!. – сдерживая бешенство, отвечал Брагин. – У меня больше расколотого гроша нет за душой… Понимаете: гроша нет!..

Головинский поднял плечи и брови и, расставив широко ноги, внушительным полуголосом повторил несколько раз одну фразу:

– Я тоже все потерял… Понимаете: решительно все!..

– Да ведь вы обещали мне золотые горы? – уже закричал Брагин, хватаясь за голову. – Вы меня обманули!.. разорили!.. Вы меня со всей семьей пустили по миру…

Брагин тяжело упал в кресло и рванул себя за покрытые сильной проседью волосы. С бешенством расходившегося мужика он осыпал Головинского упреками и руганью, несколько раз вскакивал с места и начинал подступать к хозяину с сжатыми кулаками. Головинский, скрестив руки на груди, дал полную волю высказаться своему компаньону и только улыбался с огорченным достоинством и пожимал плечами.

– Послушайте, Гордей Евстратыч… Вы напрасно волнуетесь, – мягко заговорил Головинский. – Этим делу не поможешь… Обсудимте лучше все дело хладнокровно. Если бы я действительно был виноват, я бы не был так спокоен… Нечистая совесть всегда скажется. Я даже не сержусь на вас, потому что вы находитесь в таком состоянии, что…

– Нет, я хорошо все понимаю… это разбой!.. дневной грабеж!.. А ты подлец из подлецов…

Сжав побелевшие губы, Гордей Евстратыч, как разъяренный бык, кинулся на Головинского с кулаками, но тот подставил ему стул и, отделенный этим барьером, даже не пробовал защищаться, а только показал своему врагу маленький револьвер. Брагин завизжал от бессильного гнева, как лошадь, которую дерет медведь; он готов был в клочья разорвать своего спокойного компаньона, если бы не его страшная «оборонка».

– Поговоримте спокойно… – продолжал Головинский, предлагая Гордею Евстратычу стул. – Порядочные люди всегда поймут друг друга, и я надеюсь, что мы не разойдемся врагами.

– Да ты дьявол, что ли?!. – ревел Гордей Евстратыч на это дружеское приглашение. – Жилы хочешь тянуть из живого человека?!. Ободрал как липку, а теперь зубы заговаривать… Нет, шабаш, не на таковского напал. Будет нам дураков-то валять, тоже не левой ногой сморкаемся!..

– Успокойтесь, уважаемый Гордей Евстратыч… Это вредно для вашего здоровья… Поговоримте спокойно…

– Я тебе покажу, подлец, спокойно… У!.. стракулист поганый!.. Думаешь, я на тебя суда не найду? Не-ет, найду!.. Последнюю рубаху просужу, а тебя добуду… Спокойно!.. Да я… А-ах, Владимир Петрович, Владимир Петрович!.. Где у тебя крест-то?.. Ведь ты всю семью по миру пустил… всех… Теперь ведь глаз нельзя никуда показать… срам!.. Старуху и ту по миру пустил… Хуже ты разбойника и душегубца, потому что тот хоть разом живота решит и шабаш, а ты… а-ах, Владимир Петрович, Владимир Петрович!

Понятное дело, что подобный разговор не мог ни к чему привести, и стороны расстались самым естественным образом, то есть Головинский, при содействии Егора и кучера, вытолкал бушевавшего Гордея Евстратыча из своей квартиры в шею. Выкинутый на улицу Брагин, не

помня себя от бешенства, долго неистовствовал у подъезда. Он стучал ногами и кулаками в двери, оторвал от них массивную медную ручку в русском вкусе и так ругался и орал на всю улицу, что перед квартирой Головинского собралась целая толпа любопытного городского люда: кухарки, мальчишки, кучера, чиновник, возвращавшийся со службы, какие-то «молодцы» из лавки и т. д. Все пересмеивались и указывали пальцами на бесновавшегося старика.

– Православные… ограбил, зарезал!.. – кричал Брагин. – Будьте свидетелями… Я судиться буду!.. Я покажу…

Наругавшись досыта, пока не охрип, Гордей Евстратыч сел на извозчика и отправился прямо к адвокату, чтобы не терять дорогого времени. Он вспомнил одного черномазого адвоката из восточных человеков с желтыми глазами, по фамилии Спорцевадзе. Этот Спорцевадзе страшно размахивал руками и обладал красивым голосом, который гудел, как труба. «Вот этого зверя я и напущу на кровопийцу! – с особенным удовольствием думал Гордей Евстратыч, снимая и надевая на себя соболью шапку. – „Спокойно… здоровье испортите…“ Я тебе покажу…»

На счастье Брагина, Спорцевадзе оказался дома. Он жил в собственном двухэтажном доме на Соборной площади, с дубовым подъездом и зеркальными стеклами. Швейцар в передней и приличная обстановка приемной произвели успокаивающее впечатление на Гордея Евстратыча, а когда вышел сам Спорцевадзе с своими желтыми глазами – он даже улыбнулся и подумал про себя: «Вот мы этого желтоглазого и напустим на кровопийцу…» Пока Брагин, сбиваясь и путаясь, передавал сущность своего дела, адвокат небрежно чистил свои длинные розовые ногти и только изредка взглядывал на клиента, а когда тот кончил, он коротко спросил:

– Так он вас до нитки обчистил?

– В одной рубашке пустил… Вот те истинный Христос!..

Адвокат улыбнулся этой наивной выходке, а потом, не переставая чистить ногтей, проговорил:

– Да, я слышал о вас… Что делать!.. Ловко вас обчистил этот Головинский… И главное, скоро – не тянул. Раньше-то вы чем занимались?

– Торговал панским товаром, ваше благородие.

Спорцевадзе пристально посмотрел на Брагина своими желтыми глазами и подумал: «Ну, с этого взять нечего: гол как сокол».

– Знаете, что я вам посоветую, – заговорил адвокат после короткой паузы, трогая щеточкой брильянтовый перстень на руке, – я посоветую вам совсем бросить это дело…

– Как бросить?! – вскипел Гордей Евстратыч, опуская руки.

– Да вы садитесь, и поговоримте спокойно…

Это «спокойно» резнуло Брагина по сердцу как ножом, но он скрепился и присел к письменному столу.

– Видите ли, какая вещь… – протянул Спорцевадзе, раздвигая ноги, как это делал Владимир Петрович. – Вы дали полную доверенность Головинскому. Да?.. Вот он на основании этой доверенности и нажег вас, а вам с него ничего не взять: дело велось со всеми необходимыми формальностями, так что вам решительно ничего не взять с своего компаньона. Мало ли

торговых дел расстраивается, и лопаются не такие компании.

– Да ведь деньги-то, деньги-то мои, ваше благородие!.. Голеньких сто тысяч просадил я…

– И еще просадили бы сто, если бы были. На ловкого человека наткнулись. Ну, да это все равно. Мне, собственно, некогда с вами теперь долго разговаривать, а я дам вам один совет: спасайте последние крохи и займитесь опять своей панской торговлей.

– Да ведь у меня весь капитал уторкан в кабаки!

Спорцевадзе задумался, опять посмотрел на Брагина своими желтыми глазами и проговорил:

– Да, да… Это верно. Знаете, что я вам посоветую? Вас, собственно, утопил не Головинский, а Жареный… Так?

– А черт их разберет!..

– Нет, это верно. Поэтому, чтобы воротить хотя часть затраченного на кабаки капитала, я советую вам обратиться прямо к Жареному.

– Это к жидовину-то?..

– Успокойтесь, Моисей Моисеич совсем не жид, а грек и притом отличный человек. Он войдет в ваше положение, и, я уверен, даже, может быть, вы с ним устроите какую-нибудь сделку.

– Ну, уж это шабаш!.. Чтобы я пошел к жидовину – ни в жисть… Вот сейчас провалиться на этом самом месте!..

– Как знаете. Наша обязанность дать совет, а там уже ваше дело. Вы напрасно так предубеждены против Моисея Моисеича, – это отличный человек, и я уверен…

«Врешь, желтоглазый! Хочешь меня еще запятить к жидовину: ни в жисть!» – думал Гордей Евстратыч, выходя от адвоката.

От Спорцевадзе Брагин отправился к другому адвокату, от другого к третьему – но везде совет был один, точно все эти шельмы сговорились: так в один голос и режут. Дело выходило самое распоследнее. «Что же вы ко мне раньше не обратились!» – говорили адвокаты, завидуя хватившему куш Головинскому. И все посылают к Жареному… Это к тому самому Жареному, который пустил Брагина по миру! Гордей Евстратыч сначала не мог даже думать о таком унижении и готов был расколоться на несколько частей, только бы не идти к распроклятому «жидовину».

Только обойдя всех адвокатов, Брагин вспомнил, что Михалко и Архип были в городе, и отправился их разыскивать. Брагины всегда останавливались в гостинице с номерами для господ проезжающих, и отыскать их Гордею Евстратычу было нетрудно. Михалко был дома, но спал пьяный, а Архип оказался в больнице.

– Зачем в больнице? – спрашивал Брагин вытягивавшегося пред ним лакея с салфеткой под мышкой. – Болен?

– А так-с… не то чтобы больны, а в этом роде.

– Да говори толком, окаянная душа.

– Гм… У Архипа Гордеича такая уж болезнь, так они теперь пользуются у дохтура.

Известие о «такой болезни» Архипа переполнило чашу, и Гордей Евстратыч не знал дальше, что ему делать, предпринять, даже что думать. В голове у него все вертелось и прыгало, как в испорченной машине, которую нельзя даже остановить. Здесь, в этом грязном трактирном номере, стены которого были пропитаны запахом водки, пива и табачного дыма, он теперь сидел как оглушенный. Где-то щелкали бильярдные шары, в соседнем номере распевал чей-то надтреснутый женский голос бравурную шансонетку, а Гордей Евстратыч смотрел кругом – на спавшего на диване Михалку, на пестрые обои, на грязные захватанные драпировки, на торчавшего у дверей лакея с салфеткой, и думал – нет, не думал, а снова переживал целый ворох разорванных в клочья чувств и впечатлений. Мертвая Феня, убежавшая чуть не в одной рубашке Ариша, таявшая как свеча Нюша, пьяный Михалко, Архип с своей болезнью, Владимир Петрович с его «успокойтесь», адвокат Спорцевадзе, а там жидовин Мойша Жареный и позор, позор, позор… Что будет с Нюшей? Теперь и Пазухины глядеть на нее не захотят – потому как взять девку из разоренного дома?

– Не прикажете ли чего-с?.. – спрашивал лакей.

– Как ты сказал?

– Говорю, не прикажете ли насчет водки…

– А-а… Ну, давай водки, графин водки… – точно про себя повторял Брагин и, улыбнувшись горькой улыбкой, прибавил про себя: «Чем ушибся, тем и лечись».

Выпив хороший графин водки, Гордей Евстратыч уснул тут же в номере, положив голову на стол. Он проспал чуть не двенадцать часов, а когда проснулся и немного пришел в себя, опять принялся обдумывать, что ему делать. К адвокатам идти было незачем. Подкрепившись двумя рюмками очищенной, Брагин решился сходить к знакомым золотопромышленникам: авось что присоветуют. Ум хорошо, два лучше того. Был у него один знакомый старик-золотопромышленник, по фамилии Колосов, из раскольников. Вот к нему Брагин и отправился за советом; кстати, у этого старика были свои дела с Жареным, – может, словечко и замолвит по старой дружбе пред жидовином. Старик-раскольник, убеленный серебряной сединой, отнесся к несчастью Брагина с большим участием и долго качал головой.

– Плохо, плохо, Гордей Евстратыч, – говорил Колосов, разглаживая свою окладистую седую бороду. – Эк тебя угораздило с этими кабаками… Уж и времена только!.. С живого кожу сдерут. А только Спорцевадзе тебе правильно посоветовал. Надо будет толкнуться к Мосею Мосеичу, не выгорит ли что-нибудь. Пожалуй, дам тебе писульку на всякий случай.

– А без жидовина невозможно?

– Нет, нельзя… Силища этот Мосей Мосеич, его не обойдешь, как суженого. Может, и смилуется. Ох, только у всех этих иноплеменцев трудно вывертываться… Ну, да уж делать нечего, попытайся.

Взял Гордей Евстратыч от Колосова его писульку и с ней отправился пытать счастья к жидовину. Но добраться до Мойши Жареного было не так-то легко, как он думал. Этот кабацкий король являлся в город только по временам, а настоящую резиденцию имел на своих винных заводах, куда Брагин и отправился, хотя конец был немалый, верст в двести, пожалуй, не укладешь.

Моисей Жареный жил настоящим королем в своем поместье Бурнаши, которое расположено

было на западном склоне Урала, где берут свое начало живописные притоки реки Белой. Это край той цветущей Башкирии, которую расхитили уфимские чиновники. Жареный купил свое именье от одного из таких счастливцев, которому досталось на долю до тридцати тысяч богатейшей земли. Чиновнику, а в особенности русскому чиновнику, земля то же, что слепому грамота, поэтому уфимские чиновники размотали свои наделы за четверть цены. Бурнаши славились своим красивым местоположением и целой сетью горных речек, которые бороздили башкирский чернозем. Когда-то башкиры здесь кочевали со своими кошами, а теперь дымились винокуренные заводы и кипела самая оживленная деятельность, превратившая жалкую деревушку Бурнаши в маленький городок, кишмя кишевший греками, армянами, евреями и тому подобным людом, ютившимся около своего патрона. Издали можно было залюбоваться на бойкую картину, какую представляли Бурнаши даже зимой. Каменные дома, заводские постройки, ряды новых крестьянских изб – все говорило о новой жизни и новых людях. Недавняя пустыня точно проснулась под влиянием новой «цивилизации». Когда Брагин подъехал на почтовой тройке к селу светлым весенним деньком, он невольно залюбовался. Снег уже осел и спекся в рыхлую, пропитанную водой массу; дорога почернела, в воздухе пахло обновляющей вся и все силой. Лес казался зеленее, но это был не тот дремучий лес, какой рос зеленой стеной около Белоглинского завода и на Смородинке: ели были пушистее, сосны ниже и развилистее, попадались березняки и осинники целыми островами.

Глядя кругом, Гордей Евстратыч невольно вспомнил про свою Смородинку, которая теперь стояла без всякого дела: старик еще раз пережил нанесенную ему Порфиром Порфирычем обиду и тяжело вздохнул. Эх, воротить бы прииск, не поехал бы он с повинной к этому жидовину с писулькой Колосова! Но пролитого не воротишь… А вон и первые избушки бурнашевских мужиков, вон и светленькие, с иголочки новенькие деревянные домики разных приспешников Жареного, вон и каменный дом самого Мосея Мосеича. Брагин сотворил про себя молитву и велел ехать на постоялый двор.

Добраться до Мосея Мосеича в Бурнашах было еще труднее, чем в городе, потому что нужно было пролезть через живую стену из самых отчаянных искариотов, смотреть-то на которых Гордею Евстратычу было тошным-тошнехонько. И каждая шельма оглядывает с ног до головы да выспрашивает: чей? откуда? по какому делу? и т. д. А потом окажется, что он не может провести к Мосею Мосеичу, надо спросить набольшего, а у набольшего еще набольший – целая лестница… Ходил-ходил старик по служащим, – все смотрят подозрительно и косятся, точно в чужое государство приехал, лопочут по-своему, ничего не разберешь. У Гордея Евстратыча воротило на душе от этих церемоний, и не раз ему хотелось плюнуть на все, даже на самого Мосея Мосеича, а потом укатить в свой Белоглинский завод, в Старую Кедровскую улицу, где стоит батюшкин дом. Но делать было нечего: привела Маркушкина жилка Гордея Евстратыча в чужую дальнюю сторону, надо как ни на есть выпутываться из беды, как советовали адвокаты и старый Колосов.

«Уж если так галаганятся служащие, так сам-то Мосей Мосеич что сделает со мной? – не раз думал Брагин, почесывая в затылке. – Ах, пес их задери совсем!..»

В Бурнашах Гордей Евстратыч проболтался целых три дня, прежде чем выхлопотал себе у самого набольшего аудиенцию Мосея Мосеича. Принарядился Брагин в свое модное платье, которое привез из Нижнего, расправил подстриженную бороду и скрепя сердце отправился в гнездо к самому жидовину, Мосею Мосеичу. Аудиенция была назначена по белоглинскому времени в обед, то есть в двенадцать часов дня. К парадным дверям, швейцарам и разным антре Гордей Евстратыч уже успел порядком привыкнуть, пока шатался по городским адвокатам, поэтому даже удивился, что и передняя, и приемная у Мосея Мосеича были гораздо попроще, чем у Спорцевадзе. Швейцар вызвал лакея, лакей доложил барину; провели гостя в самый кабинет к Мосею Мосеичу. Навстречу Брагину из орехового кресла поднялся шустрый

красивый старик с седыми длинными усами и ласково заговорил.

– Гордей Евстратыч Брагин? Да? Слышал… Очень приятно познакомиться. Вот сюда садитесь… Или нет, пойдемте сначала кофе пить.

Брагин вспомнил, как в первый раз пил кофе у Головинского, и, набравшись смелости, проговорил:

– Уж какие нам кофеи, Мосей Мосеич… Я вот насчет дельца своего к вам. Не задержать бы вас своими пустяками… Куда уж нам, мужикам, кофеи распивать.

– У меня в доме все равны, – мягко заметил Жареный, прищуривая свои ласковые темные глаза, глядевшие насквозь. – Пойдемте. Знаете русскую пословицу: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят»?

Жареный был бодрый, хорошо сохранившийся старик с таким приветливым, умным лицом. Брагин чувствовал, что он теперь нисколько не боится этого жидовина Мосея Мосеича, который куда как приветливее и обходительнее своих набольших. И одет был Жареный простенько, по-домашнему, гораздо проще, чем одевался в Белоглинском какой-нибудь Вукол Шабалин. Он провел гостя через ряд парадных комнат в светлую столовую, где за накрытым столом уж сидели две дамы, какой-то мальчик и тот самый набольший, который устроил это свидание. Жареный отрекомендовал гостя дамам и сам усадил его на стул рядом с собой. Такое внимание жидовина даже обескуражило Гордея Евстратыча, особенно по сравнению с тем приемом, какой ему делал Порфир Порфирыч или Завиваев. Пока пили кофе, Жареный говорил за четверых и все обращался к гостю, так что под конец Гордею Евстратычу сделалось совсем совестно: он и сидеть-то по-образованному не умеет, не то что разговоры водить, особенно при дамах, которые по-своему все о чем-то переговаривались.

– Я давно слышал о вас и рад с вами познакомиться, – не унимался Мосей Мосеич. – Как-то мы с вами не встречались нигде. Я, кажется, от старика Колосова слыхал о вас… Да. Отличный старик, я его очень люблю, как вообще люблю всех русских людей.

Писульку Колосова Гордей Евстратыч передал самому набольшему еще раньше. Этот самый набольший очень не по душе пришелся Брагину: черт его знает, что за человек – финтит-финтит, а толку все нет. И глаза у него какие-то мышиные, и сам точно все чего-то боится и постоянно оглядывается по сторонам. За столом самый набольший почти ничего не говорил, а только слушал Мосея Мосеича, да и слушал-то по-мышиному: насторожит уши и глядит прямо в рот к Мосеичу, точно вскочить туда хочет. Брагин думал, что после кофе они пойдут в кабинет и он там все обскажет Жареному про свое дело, зачем приехал в Бурнаши; но вышло не так: из-за стола Жареный повел гостя не в кабинет, а в завод, куда ходил в это время каждый день. Он держал себя, как и раньше, вежливо и предупредительно, объясняя и показывая все, что попадалось интересного. Обошли целый винный завод; побывали в том отделении, где очищали водку, и даже забрались в громадный подвал с рядом совсем готовых бочек, лежавших, как стадо откормленных на убой свиней. Гордей Евстратыч в первый раз был на винном заводе и в первый раз видел все процессы, как из ржи получалось зелено вино. Чаны с заторами, перегонные кубы, дистилляторы, бочки – везде была эта проклятая водка, которая окончательно погубила Брагина и которая погубит еще столько людей.

– Мы зайдем еще на конюшню, Гордей Евстратыч, – предлагал Жареный. – Да вы не устали ли? Будьте откровенны. Я ведь привык к работе…

– Нет, что вы, Мосей Мосеич, какое устал!..

– Мне хочется показать вам все свое хозяйство. Знаете, слабость у меня, старика… Извините уж.

Лошади у Жареного были все на подбор: целый завод, все тысячные рысаки. Даже Гордей Евстратыч залюбовался двумя вороными жеребчиками: куда почище будут шабалинского серого.

– А теперь о деле побеседуем, – говорил Жареный, направляясь к дому. – Пока говорим, и обед поспеет.

Обхождение Мосея Мосеича, его приветливость и внимание заронили в душу Брагина луч надежды: авось и его дельце выгорит… Да просто сказать, не захочет марать рук об него этот Мосей Мосеич. Что ему эти двенадцать кабаков – плюнуть да растереть. Наверно, это все Головинский наврал про Жареного. Когда они вернулись в кабинет, Брагин подробно рассказал свое дело. Жареный слушал его внимательно и что-то чертил карандашом на листе бумаги.

– Что же вы хотите от меня, Гордей Евстратыч? – спросил Жареный, когда Брагин кончил.

– А я насчет того, Мосей Мосеич, что не будет ли вашей милости насчет моих-то кабаков… Что они вам: плюнуть, и все тут, а мне ведь чистое разоренье, по миру идти остается. Уж, пожалуйста, Мосей Мосеич…

– Не могу… – сжав плечи, проговорил Жареный. – Нет, не могу. Что угодно, а этого не могу. И не просите лучше…

Как ни бился Брагин, как ни упрашивал Жареного, даже на коленях хотел его умолять о пощаде, тот остался непреклонен и только в угоду старику Колосову соглашался взять на себя все двенадцать брагинских кабаков, то есть все обзаведение, чтобы не пропадало даром, – конечно, за полцены.

– Куда же вы, Гордей Евстратыч? – удивился Жареный, когда Брагин взялся за шапку. – А обедать?..

Гордей Евстратыч как-то равнодушно посмотрел на Мосея Мосеича, махнул рукой и молча вышел из его кабинета: Жареный показался ему злее самого злого жидовина.

XXIII

Домой, в Белоглинский завод, Гордей Евстратыч вернулся почти ни с чем, исключая своей сделки с Жареным, которая могла в результате дать тысячи три-четыре. Михалко приехал вместе с отцом, а Архип остался в городе «пользоваться» от своей болезни. Об убеге Ариши рассказала Михалке сама Татьяна Власьевна с необходимыми пояснениями и прибавками, причем оказалось, что бабенку расстраивали родные, вот она и придумала штуку.

– Мы ее через полицию вытребуем, мамынька, – решил Гордей Евстратыч. – Михалко подаст заявление, и конец тому делу.

– А Дуня где? – спрашивал Михалко.

– Она погостить отпросилась к своим, да что-то прихворнула там… – лгала Татьяна Власьевна с самым благочестивым намерением. – Архип-то скоро приедет?

– Там дельце одно осталось, так он с ним позамешкался малость, – обманывал в свою очередь

Гордей Евстратыч, не моргнув глазом. – Надо нам развязаться с этим треклятым городом… Ну а мы Аришу-то подтянем, ежели она добра нашего не хочет чувствовать.

В брагинском доме теперь было особенно скучно и мертвенно, точно в доме был покойник. Всем чего-то недоставало, и всех что-то давило, как кошмар. Невестки, казалось, унесли с собой последнюю каплю того довольства и спокойствия, какое остается даже в разоренных домах. Разложение шло зараз извне и изнутри, и разрушающее действие этого процесса чувствовалось одинаково всеми, хотя Гордей Евстратыч и бодрился и сам сел торговать в батюшкину лавку. Он теперь был занят главным образом планом того, как добыть Аришу, и затем, как показать над ней свою родительскую власть. От погрома по винной части у Брагина еще осталось тысяч десять, о которых никто не знал, и на эти деньги он думал понемногу поправиться, а там, из-за дела, можно будет подсмотреть какую-нибудь новую штучку. Отведав легкой наживы, старик скучал своей панской торговлей, и его так и тянуло пуститься в какое-нибудь рискованное дело. Недостроенный дом тоже немало смущал Гордея Евстратыча, точно бельмо на глазу: достраивать нечем, а продать за бесценок жаль. Да и совестно было перед другими, что затеял такую хоромину, а силенки и не прохватило; недостроенный же дом точно говорил всем о разорении недавнего тысячника Брагина.

Эти мысли и планы были нарушены приездом в Белоглинский завод плешивого старичка, который оказался адвокатом Масловым. Этот Маслов отыскал Гордея Евстратыча и предъявил ему целый ворох векселей, отчасти выданных самим Брагиным, а отчасти написанных по его доверенности Головинским. Об этих векселях Гордей Евстратыч как-то даже забыл совсем, а их набралось тысяч на пятнадцать, да притом платежи были срочные – вынь да положь. О переписке векселей старичок-адвокат и слышать не хотел. Положение выходило самое критическое; выбросить адвокату последние десять тысяч – значит живьем отдать себя, потому что, черт его знает, Головинский, может быть, там еще надавал векселей невесть сколько, а если не заплатить, тогда опишут лавку и дом и объявят банкротом. Думал-думал Гордей Евстратыч и порешил сходить сначала к Шабалину, не выручит ли поручительской подписью на векселях. Но Шабалин отказался наотрез, ссылаясь на крайнее безденежье. Брагин толкнулся еще к двум-трем знакомым толстосумам – то же самое; он даже побывал у Пятова и о. Крискента, но и там тот же самый отказ. Очевидно, его торговый кредит рушился навсегда, и никто больше ему не верил.

– Когда так, то я объявляю себя несостоятельным, а там пусть судят! – решился Гордей Евстратыч на отчаянное средство. – Пусть все описывают…

– Наверно, у вас есть припрятанные денежки про черный день, – усовещивал Маслов, – а то ведь все пойдет с молотка за бесценок…

«Ишь, плешивая собака, носом чует последние денежки и хочет их вытормошить», – думал Брагин и остался при своем решении.

Теперь Гордей Евстратыч боялся всех городских людей как огня и по-своему решился спасти от них последние крохи. Он начисто объяснил свое положение дел Татьяне Власьевне, а также и то, что адвокаты выжмут из него всеми правдами и неправдами последние денежки, поэтому он лучше отдаст их на сохранение ей: со старухи адвокатам нечего будет сорвать, потому какие у ней могут быть деньги.

– А ты их припрячь, мамынька, да хорошенько припрячь, – учил Гордей Евстратыч, – после пригодятся. На твое имя откроем какую-нибудь торговлишку или на Нюшу. Не все же будем бедовать…

– Да страшно, милушка… У меня этаких денег и в руках отродясь не бывало!

– Ты только спрячь, мамынька, и делу конец. Никому не сказывай…

Татьяна Власьевна взяла деньги, завязала их в узелок и с молитвой запрятала их туда, куда умеют прятать только одни старушки. Но с этими деньгами она взяла на плечи такое бремя, которое окончательно придавило в ней живого человека: старухой овладели какой-то не прерывавшийся ни на минуту страх и подозрение ко всем окружающим. Она даже начала бояться Нюши: не сторожит ли та ее? Она не знала покоя ни днем ни ночью и даже вздрагивала, когда где-нибудь стукнет. Ценные вещи, как серебро и разные наряды, в ожидании описи Татьяна Власьевна тоже успела попрятать по разным укромным уголочкам. Она теперь походила на мышь, которую в ее собственной норе медленно начинает заливать подступающая вода. Спрятанные сокровища мучили старуху, как мучит преступника его преступление, и она сотни раз передумывала, как бы лучше скрыть от всех глаз свои деньги. Иногда в самую полночь ей вдруг приходило в голову, что она совсем не так спрятала, как следовало бы, и эта мысль гнала ее на двор, где она торопливо перепрятывала заветный узелок с деньгами. Расстроенное воображение рисовало Татьяне Власьевне самые ужасные картины расхищения своих богатств, и она часто просыпалась с холодным потом на лбу. Вместе со страхом росло в старухе чувство старческой жадности. Ей начинало казаться, что она ужасно много тратит денег на себя, и в видах экономии она убавляла поленья дров, нарезывала хлеб к обеду тоненькими ломтиками и походя ворчала на кривую Маланью, подозревая ее в тайных замыслах на хозяйское добро.

– Теперь ведь не прежняя пора… – брюзжала Татьяна Власьевна, как давший трещину колокол. – Пожалуй, этак наскрозь проедимся.

– Мамынька, уж ты тово… – замечал иногда Гордей Евстратыч, когда ему надоедало ворчанье старухи. – Прежде смерти не умрем.

– Нет, милушка, так нельзя, без понятия-то. Кабы раньше за ум хватились да не погнались за большим богатством, не то бы было… Вот выгонят из батюшкина дома, тогда куды мы денемся? Не из чего прохарчиваться-то будет уж.

Последствия протеста векселей не замедлили обнаружиться. В Белоглинский завод явился судебный пристав окружного суда и произвел опечатание лавки и всего имущества в брагинском доме; хотя брагинская семья была подготовлена к этому событию, но самый акт, обставленный известными формальностями, произвел на всех самое тяжелое и удручающее впечатление. Этот чиновник в мундире являлся чем-то вроде карающей руки беспощадной судьбы и той нужды, которая в первый раз постучалась в старый батюшкин дом. Красная казенная печать точно отметила собой первые жертвы. Конечно, опечатано было только имущество самого Гордея Евстратыча, а имущество других членов семьи осталось нетронутым, но, во-первых, как было различить это имущество, а во-вторых, при патриархальном строе брагинской семьи, собственно, все принадлежало хозяину, так что на долю сыновей, Нюши и Татьяны Власьевны осталось только одно платье да разный домашний хлам. Знакомые советовали Брагину до описи вывезти свой товар из лавки, а также что было получше в доме, как новая мебель, ковры, посуда и т. п. Но Гордей Евстратыч не захотел так делать, как делают все другие банкроты, и упрямо отвечал на такие советы одной фразой:

– Нет, этого не будет: пусть зорят…

Во время описи он сам помогал приставу и указал на вещи, которые тот хотел не заметить.

– Нет, уж, пожалуйста, все печатайте, чтобы все форменно было, – говорил Гордей Евстратыч.

Такое поведение особенно огорчало Татьяну Власьевну, хотя она и не смела открыто «перечить» милушке, потому что он, очевидно, что-то держал у себя на уме. Михалко и Нюша присутствовали при этом, тоже относились ко всему как-то безучастно, точно эта опись их совсем не касалась.

– Кажется, все? – спрашивал пристав, когда все вещи были занесены в список и занумерованы.

– Теперь все чисто… – ответил Брагин с каким-то особенным злорадством, точно он радовался описи.

Пристав, толстенький добродушный господин, от души пожалел брагинскую семью, но, конечно, от себя ничем не мог помочь. Татьяна Власьевна, сохраняя исконный завет, угостила чиновника своей стряпней и оставшимися от прежнего богатства закусками и винами; в этом случае она победила одолевавшую ее скупость и на мгновение превратилась в прежнюю тароватую хозяйку, для которой гость составляет нечто священное. Это добродушие тронуло выпившего чиновника, и он еще раз пожалел, что Гордей Евстратыч не принял некоторых мер для предупреждения описи, как это делают другие.

– Дело житейское, – объяснил он. – Можно было бы любую половину припрятать, а после пригодилось бы про черный день…

– Нет уж, зачем же, ваше благородие, – отвечал Гордей Евстратыч, разглаживая свою бороду. – Оно уж одно к одному…

– Как одно к одному?

– А так… Чтобы форменно было, ваше благородие. Зачем добрых людей обманывать.

Чиновник только пожал плечами. Поблагодарив за угощение, он отправился в обратный путь.

Наступившее лето прошло в хлопотах по делу о банкротстве. Приезжали какие-то чиновники из города, проверяли опись, выспрашивали, вынюхивали и отправлялись восвояси. Гордей Евстратыч тоже несколько раз ездил в город, куда его вызывали повесткой из окружного суда. Дело шло быстро к своей законной развязке. В последнюю свою поездку Брагин привез из города Архипа, который только что был выпущен из больницы: от прежнего красавца-парня осталась одна тень, так что Татьяна Власьевна в первую минуту даже не узнала своего внука. Лицо у Архипа было серое, волоса на голове вылезли, нос куда-то исчез, глаза с опухшими красными веками слезились, как у старика.

– Ну, мамынька, теперь мы совсем чисты будем, – объявил Гордей Евстратыч, – укцион будет… Все по молотку продадут.

Брагин как-то странно относился ко всему происходившему, точно он радовался, что наконец избавится от всех этих вещей с красными печатями, точно они были запятнаны чьей-то кровью. Он жалел только об одном, что все эти передряги мешали ему расправиться настоящим образом с убежавшими невестками, которые и слышать ничего не хотели о возвращении в описанный брагинский дом. Особенно хотелось расправиться старику с Аришей.

– Вот только нам с этим укционом развязаться, – говорил Гордей Евстратыч в своей семье, – а там мы по-свойски расправимся с этими негодницами… На все закон есть, и каждый человек должен закону покориться: теперь я банкрут – ну, меня с укциону пустят; ты вышла замуж –

тебя к мужу приведут. Потому везде закон, и супротив закону ничего не поделаешь… Разве это порядок от законных мужей бегать? Не-ет, мы их добудем и по-свойски разделаемся…

Наступил и день аукциона, о котором за две недели было оповещено печатными объявлениями, расклеенными в волости и на рынке. Одно такое объявление Гордей Евстратыч своими руками прибил на гвоздики к воротной верее. Опять приехал толстенький пристав с своим писарем и остановился прямо в брагинском доме, в Зотушкином флигельке, где год назад квартировал Головинский. Всего какой-нибудь год, и сколько воды утекло за это время… Гордей Евстратыч совсем поседел и часто повторял про себя в каком-то раздумье одну фразу: «Да, чисто разделали вы нас, Владимир Петрович… В полгода все оборудовали!» Это была насмешка над собственной глупостью и простотой, как умеет смеяться только один русский человек, когда он попадет в безвыходное положение.

С раннего утра в день аукциона в брагинском доме со всех сторон сходился народ – одни, с деньгами в кармане, поживиться на чужой счет, другие просто поглядеть. В батюшкиных горницах теперь суетилась густая толпа, с жадным любопытством осматривавшая опечатанные вещи и делавшая им свою оценку. Одни с соболезнованием покачивали головами и жалели, что столько добра за бесценок пойдет, а большинство думало только о себе, облюбовывая что-нибудь подходящее. Народ был все знакомый: заводские служащие, свой брат торговец и прасолы, богатые мастеровые и т. д. Особенно много было женщин, накинувшихся на аукцион, как саранча. Они галдели, как на рынке, смеялись и каждую вещь непременно старались пощупать, не доверяя глазам. В этих глазах светилось столько проснувшейся жадности поживиться чужим добром, захватить в свою долю дешевого товару, – благо никому запрету нет. В числе других шумела и толкалась бойкая Марфа Петровна, успевшая рассказать по десяти раз историю, цену и достоинство каждой вещи, – недаром она столько лет была в этом доме своим человеком. Гордей Евстратыч ходил тут же, здоровался с знакомыми с деловым видом и показывал назначенные в продажу вещи. Когда явился пристав и сел за столом с молотком в руках, толпа стихла и с напряженным вниманием ловила каждое движение неторопливо распоряжавшегося чиновника.

– Ореховая мебель, новая, малоподержанная, с голубой репсовой обивкой, – читал пристав с казенной интонацией свою опись, поправляя на груди свой значок. – Оценена сорок рублей.

В толпе легкое движение. Кряжистый подрядчик с опухшей физиономией пробирается вперед и накидывает полтину. Его соперником явился заводский надзиратель. После нескольких надбавок мебель, заплаченная сто двадцать рублей, пошла за сорок два с полтиной. В отворенных дверях стояла Татьяна Власьевна и следила за всем происходившим с тупой болью в сердце; она теперь от души ненавидела и надзирателя, и этого подрядчика, который купил мебель за треть цены. За мебелью пошла посуда, на которую с особенным азартом накинулись женщины, потом платье – шубы, пальто, белье. Эти вещи были проданы чуть не по настоящей цене, бабы брали с бою всякий хлам. Когда очередь дошла до экипажей, лошадей и коров, денежная часть публики опять заволновалась и придвинулась ближе к столу. Все это пошло за бесценок, как на всех аукционах. Кривая Маланья тихо хныкала в своей кухне по пестрой телочке, которую выкармливала, как родную дочь; у Гордея Евстратыча навернулись слезы, когда старый слуга Гнедко, возивший его еще так недавно на Смородинку, достался какому-то мастеровому, который будет наваливать на лошадь сколько влезет, а потом будет бить ее чем попало и в награду поставит на солому. И будет лезть из кожи старый Гнедко, особенно в гололедицу, будет дрожать на морозе где-нибудь у кабака, пока хозяин пьянствует с приятелями.

Скоро из брагинских горниц народ начал отливать, унося с собою купленные вещи. Женщины тащили узлы с платьем, посуду, разный хлам из домашности, а мужчины более тяжелые вещи.

Подрядчик мигнул знакомым мастеровым, а те весело подхватили ореховую мебель, как перышко, – двое несли диван, остальные – кресла и стулья. Гордей Евстратыч провожал их до дверей и даже поздравил подрядчика с покупочкой.

– У нас уйдет, Гордей Евстратыч, – хрипло ответил подрядчик, надевая на голову картуз. – Когда лавку-то потрошить будете?

– Да, видно, завтра придется…

Гордею Евстратычу совсем было не жаль новых вещей, купленных им во время богачества, но, когда понесли батюшкину старинную мебель и батюшкину чайную посуду, сердце у него дрогнуло. Новые вещи, как новые друзья, наживное дело, а вот старинного, батюшкина добра жаль до смерти, точно каждая щепка приросла к сердцу. Да и как было не жалеть этих старых друзей, с которыми было связано столько дорогих воспоминаний: вон на этом стуле, который волокет теперь по улице какая-то шустрая бабенка в кумачном платке, батюшка-покойник любил сидеть, а вот те две чашки, которые достались жене плотинного, были подарены покойным кумом… Друзья уходили, а в брагинских комнатах, точно после пожара, водворилась печальная пустота, а пол был покрыт сором и следами сотни ног.

На распродажу товаров в лавке народу набралась тьма, так что пробиться к прилавку, за которым стоял пристав с своим молотком, представлялись почти непреодолимые затруднения. Большинство составляли, конечно, женщины, походившие сегодня на сумасшедших, простые бабы и жены служащих в заводе были воодушевлены одними желаниями. У самого прилавка стояла толстая попадья, которую давили со всех сторон, но она стоически выдерживала это испытание и только вытирала платком вспотевшее красное лицо. Бабенки попроще немилосердно работали локтями и даже головой, продираясь вперед, и начинали бойкую ругань между собою, встречая отпор. В числе других были и Матрена Ильинична, и Агнея Герасимовна, и Пелагея Миневна с Марфой Петровной; идти на аукцион в брагинский дом они посовестились и должны были произвести покупки через Марфу Петровну, зато теперь они могли вдосталь отвести душеньку. Панский батюшков товар шел за пятую часть цены, и материю расхватывали штуками: особенно дешево сошли самые дорогие ситцы, шерстяные материи и сукна. Гордей Евстратыч присутствовал на аукционе и все время смотрел, как обезумевшие бабенки рвали батюшкин панский товар; он видел и Матрену Ильиничну, и Агнею Герасимовну, которые набирали лучшие куски. Мелькнуло в толпе знакомое лицо шабалинской Варьки, которая совсем не нуждалась в дешевом товаре, а толкалась просто из любви к искусству. Жажда легкой наживы слила всех женщин в одно громадное целое, жадно глядевшее сотнями горевших глаз и протягивавшее к прилавку сотни хвативших рук, точно это было какое мифическое животное, разрывавшее брагинскую лавку на части. Что-то было страшное и безжалостное в этой толпе, которая с наслаждением разносила чужое богатство.

«Пусть все берут… все начисто!» – думал Гордей Евстратыч, продолжая наблюдать, как из батюшкиной лавки панский товар уплывал широкой пестрой волной.

– Тащите, зорите все, – шептал Брагин и улыбался страшной озлобленной улыбкой. – Обрадовались… Ха-ха!

Домой он вернулся с аукциона все с той же улыбкой, точно он сделал какое-то неожиданное открытие, которое приятно изумило его самого. Все тлен, все пустяки, и везде ложь, – вот общий вывод, к которому он приходил. Что жаловаться на Головинского или Жареного, когда свои старые дружки все отвернулись от Гордея Евстратыча, как только заслышали о его разорении… А теперь вон послали баб рвать остатки!.. Развязавшись с своим имуществом, Брагин точно почувствовал самого себя лучше, по крайней мере мог видеть бездну мерзостей,

которая поглотила его.

– Мамынька, чисто все!.. – объявил матери Гордей Евстратыч и опять засмеялся. – Теперь только новый дом остался один. Его, сказывают, Шабалин присматривает…

Действительно, продажа товара из лавки и домашних вещей едва покрыла только часть долга. Оставалось еще доплатить тысячи две. Чтобы достать эту сумму, объявлены были торги на недостроенный брагинский дом, который на переторжке и остался за Вуколом Шабалиным; он стоил Брагину тысяч восемь, а ушел за тысячу восемьсот рублей, причем Шабалин еще хвастался, что этой покупкой хотел вызволить старого благоприятеля. Оставались несчастные двести рублей, для уплаты которых приходилось продавать старый брагинский дом, но уж тут даже у адвоката рука не повернулась, и он позволил Гордею Евстратычу переписать один вексель.

– Теперь чисто, мамынька, – говорил Брагин, когда все эти передряги кончились. – Надо и о себе подумать. Наживали долго, промотали скоро… А греха-то, греха-то, мамынька… Сызнова придется начинать, видно, всю музыку, торговлишку и прочее.

В Гордее Евстратыче под давлением этих испытаний произошла громадная перемена, точно он стряхнул с себя вместе с богатством все одолевавшие его недуги, хотя прежнего Гордея Евстратыча уже не было. Умудренный и просветленный опытом, он все-таки не мог вернуть назад прежнего спокойствия. Самые беспокойные мысли одолевали его; он часто не спал по ночам и подолгу молился в своей горнице. Собственная неправда теперь встала перед ним с болезненной режущей ясностью; но прошлого не воротить, а впереди было темно, и Гордей Евстратыч точно ждал какой-то новой беды, которая окончательно доконает его, хотя теперь и бед ждать было неоткуда. Раз Брагин позвал к себе в горницу Татьяну Власьевну и спросил ее, куда она спрятала деньги, которые он отдал ей на сохранение.

– Какие деньги, милушка? – удивилась старуха.

– Как какие? А десять тысяч, мамынька…

Татьяна Власьевна сделала удивленное лицо, пожевала своими сухими губами и, разведя руками, кротко проговорила:

– Ты обмолвился, видно, милушка. Никаких я денег от тебя не бирала, окромя как по хозяйству…

– Мамынька, Христос с тобой!.. Да ты припомни: я тебе отдал деньги спрятать, а ты их еще в узелок завязала… Десять тысяч.

– Может, ты Владимиру Петровичу их отдал, а я не упомню, милушка…

Гордей Евстратыч вскочил с места, как ужаленный, и даже пощупал свою голову, точно сомневался в своем уме. А Татьяна Власьевна стояла такая спокойная, глазом не моргнет, и по-прежнему с изумлением смотрела на сына.

– Да ты шутишь, милушка? Ежели бы у тебя были такие деньги, так не стал бы с укциону все за бесценок спущать…

– Мамынька!.. И ты как все… О Господи!.. Мамынька, очнись!..

Несмотря ни на какие уговоры и увещания Гордея Евстратыча, Татьяна Власьевна заперлась

на своем и не хотела ни в чем сознаться.

«Это в ней Маркушкино золото заговорило», – подумал Брагин, не веря еще своим глазам.

Он раскрыл рот и что-то хотел сказать матери, но в этот самый момент свалился на пол и только захрипел.

Ночью Гордей Евстратыч умер.

XXIV

После смерти Гордея Евстратыча брагинский дом совсем опустел и точно замер. Татьяна Власьевна перенесла потерю сына с христианской твердостью и с христианской же твердостью делалась все скупее и скупее, ко всем придиралась, ворчала и брюзжала с утра до ночи, так что на всех нагоняла смертную тоску. Посторонние люди теперь редко заглядывали к Брагиным, да и те, кто приходил, были не рады, потому что Татьяна Власьевна всех одолевала жалобами на свою бедность. Скупость старухи доходила до смешного, так что она всю семью просто сморила голодом. Даже кривая Маланья и та потихоньку ворчала в своей кухне, прожевывая свою корочку черного хлеба, которой ее же и попрекали. С раннего утра Татьяна Власьевна поднималась на ноги и целый день бродила по дому, как тень, точно она все чего-то искала или кого-то поджидала.

– Совсем наша старуха рехнулась, – говорила Маланья, – чего шатуном-то бродит по горницам как зачумленная… Прости ты меня, Господи!..

Теперь во флигельке опять поселился Зотушка и занялся разным мастерством: стряпал пряники, клеил какие-то коробочки, делал ребятишкам свистульки – все это продавал и деньги сполна отдавал матери. «Источник» пригодился семье в самую трудную минуту и почти один прокармливал семью своими художествами, потому что Михалко и Архип проживались в Белоглинском без всякого дела и вдобавок пьянствовали. Пьяный Михалко каждый раз исправно отправлялся к Колобовым, требовал Аришу и производил какой-нибудь скандал, а раз даже выбил все стекла в окнах. Впрочем, последняя штука была придумана Володькой Пятовым, который тоже болтался теперь в Белоглинском заводе, по обыкновению, без всякого дела и постоянно подбивал Михалку добывать жену, как еще советовал покойный Гордей Евстратыч. Михалко несколько раз ходил в волость и требовал, чтобы привели ему жену силой. Может быть, при самом Гордее Евстратыче и можно было устроить такой «оборот», но теперь волостные только подсмеивались над ругавшимся Михалкой. Колобовы были люди сильные и влиятельные, и против них идти было трудно. Архип даже не пытался воротить жену и скоро исчез куда-то на прииск, куда его отрекомендовал Шабалин.

Между тем по Белоглинскому заводу ходили самые упорные слухи, что Брагины обанкротились только для видимости, а деньги скрыли и теперь только прикидываются бедными, чтобы отвести глаза. Этому верили даже такие люди, которые слыли самыми обстоятельными и рассудительными. Когда о. Крискента спрашивали об этом щекотливом обстоятельстве, он, застегивая и расстегивая пуговицы своего подрясника, выражался очень уклончиво и говорил больше о том, что Гордей Евстратыч по церкви отсчитался начисто, хотя конечно, и т. д. Главным источником, откуда расходились эти слухи, являлся шабалинский дом. Вукол Логиныч не стеснялся и всем говорил:

– Известная вещь: деньги у старухи, вон она как пришипилась. Ежели бы я до нее имел касательство, так небось все бы отдала. Знаем мы, какая такая ихняя бедность! Побогаче нас будут… Спасенная-то душа не глупее нас с вами, хоть кого проведет. Только понапрасну она

деньги сгноит, вот чего жаль.

Варвара Тихоновна вполне разделяла мысли своего сожителя и постоянно настраивала Михалку против бабушки. Этой потерянной женщине нравилось этим путем донимать спасенную душу, отплачивая с лихвой за то презрение, с каким Татьяна Власьевна всегда относилась к «шабалинской наложнице». Михалко с своим другом Володькой Пятовым часто бывали теперь в шабалинском доме, особенно когда не было налицо самого Вукола Логиныча. Варвара Тихоновна не прочь была разыграть роль настоящей хозяйки дома, и она принимала молодых людей с такой же непринужденностью, как и «настоящие дамы», хотя и неоднократно была бита за такое «мотовство» пьяным Вуколом Логинычем. Эти бурные сцены обыкновенно заканчивались примирением, и Варвара Тихоновна еще успевала выпросить себе какой-нибудь ценный подарок, а за синяками и зуботычинами она не гналась, хотя всегда и высказывала очень логично ту мысль, что ведь она не законная жена, чтобы ее полосовать как корову.

– А ты прямо на горло наступи старухе, – учила Михалку Варвара Тихоновна. – Небось отдаст деньги, если прижать ей хвост-то. Чего смотреть ей в зубы-то. Все в голос кричат, что Татьяна Власьевна спрятала деньги. Уж это верно, как в аптеке…

В одно прекрасное утро, после очень веселой ночи в шабалинском доме, Михалко отправился в сопровождении Володьки Пятова к бабушке, чтобы наступить ей на горло. Обоим было с похмелья, а Варвара Тихоновна для пущей бодрости не дала и опохмелиться. Лицо у Михалки было красное и опухшее, глаза налиты кровью, волосы взъерошены; Володька Пятов был не лучше и только ухмылялся в ожидании предстоящего боя со старухой. У него так руки и чесались на всякий скандал, а тем более на такой скандал, в результате которого могли получиться даже деньги. Михалко шел к родительскому дому в угрюмом молчании, потому что побаивался строгой бабушки, которая, чего доброго, еще бок, пожалуй, наколотит. В нем говорило то чувство инстинктивного страха, которое он усвоил еще с детства к большим. Брагинская семья держалась старинных правил, и большаки не давали потачки молодятнику. Молодые люди, не снимая шапок, ввалились прямо в горницы, где была одна Нюша, и немного замялись для первого разу.

– Нам бы, Анна Гордеевна, бабушку Татьяну повидать… – начал первый Володька Пятов, раскланявшись с девушкой со всяким почтением, как прилично галантерейному молодому человеку.

Нюша сразу заметила по лицам обоих друзей, что они пришли не с добром, и попробовала спасти бабушку тем, что не сказала ее дома.

– Врешь, Нютка!.. – хриплым голосом оборвал ее Михалко, пошатываясь на месте. – Ты заодно с бабушкой-то, а у нас до нее дело есть.

Нюшу из неловкого положения выручила сама бабушка Татьяна, которая в этот момент вошла в горницу. Старуха прищуренными глазами посмотрела на замявшихся при ее появлении молодых людей и сухо спросила Михалку:

– Ты что это, милушка, спозаранку шары-то налил?[2] От какой это радости пируешь?.. Мы тут без хлеба сидим, а он винище трескает…

– А ты, бабушка Татьяна, не больно тово… – вступился Володька Пятов, чтобы придать бодрости пятившемуся Михалке. – Мы ведь к тебе по делу пришли…

– Какое такое дело у вас может быть, прохвосты вы этакие! – закричала Татьяна Власьевна. –

Да я вас в три шеи отсюдова. Вот позову Маланью да кочергой как примусь обихаживать, только щепы полетят.

– А ты, бабушка, в самом деле не больно тово… не шеперься, – заявил с своей стороны Михалко, не желая показать себя трусом пред улыбавшимся приятелем. – Мы насчет денег пришли, тятенька которые оставил… Да! Уж ты как хочешь, а деньги подавай. Верно тебе говорю…

Вместо ответа, Татьяна Власьевна, собрав остатки своих дряхлых сил, не с старческой живостью вцепилась в волоса Михалки обеими руками и принялась его таскать из стороны в сторону, как бабы вытаскивают из гряды куст картофеля или заматеревшую редьку. Михалко совсем оторопел от такого приема и даже не защищался, а только мотал своей головой, как пойманная на аркан лошадь.

– Бабушка… а ты все-таки подда-ай деньги-то!.. – выкрикивал Михалко, продолжая мотать головой. – Верно тебе говорю… тятенькины ведь деньги-то!..

– Вот тебе тятенькины деньги, непутевая твоя голова!.. Вот тебе тятенькины деньги-то…

Растерявшийся Володька Пятов, привыкший к настоящему галантерейному обращению, стоял разинув рот и даже попятился к дверям, когда Татьяна Власьевна выразила явные признаки непременного желания познакомиться и с его кудрявой шевелюрой.

– Постой, шатун, я и до тебя доберусь!.. – кричала расходившаяся старуха, наступая на Пятова. – Давай-ка сюды свою-то пустую башку, я тебе расчешу кудри-то…

Попытка наступить на горло старухе и добыть от нее тятенькины деньги кончилась тем, что молодые люди обратились наконец в постыдное бегство, так что даже Нюша хохотала над ними до слез. Через несколько дней Михалко с Пятовым повторили свою попытку, но на этот раз Татьяна Власьевна просто велела Зотушке затворить ворота на запор.

– Подавай тятенькины деньги, старая грымза! – ругался Михалко, стуча в ворота палкой. – Мы тебя ужо так распатроним…

Скандал вышел на всю улицу, и, как в тот раз, когда в брагинские ворота ломился Самойло Михеич, опять в окнах пазухинского дома торчали любопытные лица, и Старая Кедровская улица оглашалась пьяными криками и крупной руганью.

Татьяна Власьевна , собственно, Михалка и Пятова не боялась ни на волос, но ее беспокоило то, что все толкуют о припрятанных тятенькиных деньгах. Значит, подозревают главным образом ее, и поэтому будут следить сотни глаз за каждым ее шагом, а потом, чего доброго, еще подпустят к ней каких-нибудь воров. Старуха тряслась как в лихорадке при одной мысли о возможности потерять свое сокровище и сделалась еще осторожнее и подозрительнее. С другой стороны, ведь про всех банкротов болтают всегда одно и то же, то есть о спрятанных деньгах, – значит, на такую болтовню и внимания обращать не стоит, благо никто не знал о том, как покойный милушка передавал ей деньги. В видах осторожности Татьяна Власьевна перевела Зотушку из флигелька в батюшкин дом и поместила его рядом с своими горенками; «источник» перетащил за собой все свои художества и разложил их по разным полкам и полочкам, которые умел прилаживать с величайшим искусством. Тут были и птичьи западни, и начатая вязать мережка, и коллекция пищиков и дудочек для приманки птицы, и какие-то разноцветные стеклышки, лежавшие в зеленой коробочке вместе с стальным заржавевшим пером и обломком сургуча, и та всевозможная дрянь, которой обыкновенно набиты карманы ребят. Зотушка и походил на ребенка в своей детской обстановке и по целым часам был занят

обдумыванием самых остроумных комбинаций, при помощи которых из окружающей его дряни получались разные мудреные диковинки. Собственно говоря, в своей странной детской работе старик являлся не ремесленником, а настоящим художником, создававшим постоянно новые формы и переживавшим великие минуты вдохновения и разочарования – эти неизбежные полюсы всякого творчества. Вероятно, в силу своих художественных задатков Зотушка и пил иногда горькую чашу, как это делают и заправские художники.

Перемену в матери и истинные причины такой перемены Зотушка знал и видел раньше других и с тем прозорливым инстинктом, который ему открывал многое. Конечно, у матери были деньги, в этом Зотушка не сомневался, и эти деньги были не батюшкины, а именно от проклятой Маркушкиной жилки, которая всю брагинскую семью загубила. Зотушка знал, что эти деньги появились у матери еще очень недавно и что они ее мучат и денно и нощно.

«Помутила нашу старуху Маркушкина жилка, – раздумывал про себя Зотушка, выстрагивая перочинным ножичком тонкую березовую зелинку для новой клетки. – Еще будет грех с этими деньгами… Фенюшку загубили жилкой, братец Гордей Евстратыч от нее же ушли в землю, племяши совсем замотались, как чумные телята… Ох-хо-хо!.. Ох, неладно, мамынька, ты удумала!»

Много раз Зотушка думал поговорить с мамынькой по душе, но все откладывал, потому что все равно никакого бы толку из этого разговора не вышло, и Зотушка ограничивался только разными загадками и притчами, которые при случае загадывал старухе. Между прочим, он особенно любил петь в длинные зимние вечера стих об «убогим Лазаре»: пусть, дескать, послушает старуха и мотает себе на ус. Но старуха и не думала слушать пение Зотушки, зато слушала его Нюша – придет с какой-нибудь работой в Зотушкину горенку, сядет в темный уголок и не шевелится, пока Зотушка дребезжащим голосом тянет свой заунывный стих, переливавшийся чисто монашескими мелодиями.

Между Нюшей и Зотушкой быстро установились самые короткие отношения, хотя между собой они разговаривали очень мало. Это было безмолвное соглашение, стороны читали между строк и отлично понимали друг друга. Раньше такого сближения не могло произойти из-за разницы возрастов, а теперь Нюша, умудренная горем, доросла вдруг до философского воззрения Зотушки на жизнь. И по наружности она мало походила на девушку, а скорее на молодую женщину; высокая, бледная, с тонким лицом, потерявшим девичью округлость линий, с матовой, почти прозрачной кожей, она точно перенесла одну из тех мудреных болезней, которые разом перерождают человека. Особенно хороши были у Нюши глаза – темные, глубокие, блестящие, они точно сделались больше и смотрели таким просветленным тихим взглядом, как у монахини. Даже Зотушка иногда любовался на свою племянницу и от души жалел ее, зачем такая красота вянет и сохнет в разоренном дому, который женихи будут обегать, как чуму.

– Зотушка, спой тот стих, помнишь, про старца? – просила однажды Нюша работавшего дядю.

Зотушка ничего не ответил, а, поискав что-то в своих коробочках, затянул стих, который так любила еще покойная барышня – Феня:

И-идет старец по-о-о до-ро-о-оге-е!..
Черноризец до по широ-о-окой!..
Навстречу ему сам Господь Бог:
«О чем ты, старче, слезно плачешь?
Да и о чем ты возрыдаешь?» —
«Как мне, старцу, жить да не плакать:

Одолели меня злые мысли…»

– Я в скиты уйду, Зотушка, – проговорила Нюша, когда стих кончился.

– Погоди, не торопись, голубка… Мало ли что бывает: может, и другие мысли в голове заведутся вместо скитских-то. Не все же нам беду бедовать…

– Нет, Зотушка, я замуж не пойду. На других глядеть тяжело, не то что самой век маяться… Вон какие ноне мужья-то пошли, взять хоть Михалку с Архипом! Везде неправда, да обман, да обида… Бабенок жаль, а ребятишек вдвое.

– Ах, голубка, голубка… Разве Михалко да Архип такие бы были, если бы не подвернулась эта Маркушкина жилка? От нее все, весь грех – все от нее. Вон бабушка-то какая ноне ходит, точно угорелая…

– Зачем ты такие слова говоришь, Зотушка?

– А потому и говорю, что надо такие слова говорить. Разе у меня глаз нет? О-ох, грехи наши, грехи тяжкие!.. Эти деньги для человека все одно что короста или чирей: болеть не болят, а все с ума нейдут.

– У бабушки-то какие деньги? Что ты, Зотушка, Христос с тобой…

– Ну-ну, не прикидывайся… Сама давно, поди, примечаешь, да только молчишь. И я тоже молчу, а тебе скажу.

Действительно, Нюша думала именно так, как говорил Зотушка, хотя боялась в этом признаться даже самой себе и теперь невольно покраснела, как пойманная. Но Зотушка сделал вид, что ничего не замечает, и затянул своего убогого Лазаря, который, покрытый струпьями, лежал у дверей ликовавшего в своих палатах богача.

«Неужели бабушка действительно утаила тятенькины деньги?» – думала девушка, слушая Зотушкин стих.

Вообще в брагинском доме катилась самая мирная жизнь, смахивавшая на монастырскую; скоро все к ней привыкли настолько, что прошлое начало казаться каким-то тяжелым сном. Но это мирное существование скоро было нарушено появлением Алены Евстратьевны, которая перед Рождеством нарочно приехала проведать родных. Она была очень больна последние полгода и поэтому не могла приехать раньше. Первым делом, конечно, Алена Евстратьевна расплакалась и растужилась о покойном братце Гордее Евстратыче и своими причитаниями навела на всех такую тоску, хоть беги вон из дому. Особенно жалилась Алена Евстратьевна над Нюшей и оплакивала ее, как мертвую.

– Что это вы, тетенька, так убиваетесь обо мне, – удивлялась Нюша, – проживем помаленьку с бабушкой.

– А когда бабушка умрет, Нюша, тогда что? Вот то-то и есть… Твое девичье дело, куда ты денешься?.. Молоденькая да хорошенькая – не в монастырь же идти. Ох, не в пору вздумал братец умирать, надо бы тебя было сначала пристроить. Уж так нехорошо, так нехорошо!.. Как услышала я о смерти братца, так у меня сердце кровью и облилось… и братца-то жаль, а тебя, горюшку, вдвое!.. С этого самого еще пуще расхворалась. Думала, уж и на ноги не встану, а вот Бог еще привел свидеться. Хоть погорюем вместе, все же оно легче. Все ведь, поди, от вас теперь отвернулись? Это уж всегда так бывает: к богатым, как к меду, льнут, а от бедных бегут.

А вот своя-то кровь, Нюша, и скажется… Ведь не чужие вы мне, вот я и скрутилась к вам. Дома-то растворено-незамешано, еще еле на ногах брожу, а сама к вам. Все сердечушко изболелось, думаю, хотя погляжу на них. И такая меня тоска взяла, такая тоска.

Алена Евстратьевна навезла из Верхотурья всякого припасу: муки, рыбы, меду, соленых грибов и сушеных ягод. Все это она сейчас же передала матери и скромно заметила, что «ваше теперь сиротское дело, где уж вам взять-то, а я всего и захватила с собой на всякий случай…».

– Спасибо, спасибо, что не забываешь нас, – благодарила Татьяна Власьевна, прибирая кульки, мешочки и бураки с разным припасом. – Наше дело куды какое небогатое, хоть по миру идти, так в ту же пору…

– Что вы, мамынька!.. А я-то на что? Хоть вы на меня прогневались тогда, ну, да я все забыла! Была и моя вина… Думаю, хоть теперь старушку покоить буду.

Татьяна Власьевна была рада неожиданной помощи, но ни одному слову модницы не верила и часто смотрела на нее испытующим оком. Зотушка тоже всполошился и, наговорив моднице колкостей, перебрался в свой флигелек со всем своим мастерством.

– Уж недаром прилетела наша жар-птица, – ворчал старик про себя, приколачивая свои полочки к покосившимся стенам флигелька. – Ишь, как она глазищами-то шмыгает по всему дому… Ох, неладно, больно неладно!.. Какую-нибудь моду привезла опять с собой наша Алена Евстратьевна.

«Наверно, об деньгах наслышалась – вот и пригнала, не пронюхает ли что на свою долю, – соображала Татьяна Власьевна, наблюдая свою модницу. – Только это уж вы, Алена Евстратьевна, даже совсем напрасно беспокоились…»

Сама Алена Евстратьевна и виду не показывала, что замечает что-нибудь, и только все льнула к Нюше и так обошла своими ласковыми речами девку, что та поверила и ее горю по братце, и слезам, и жалобным словам, какие умела говорить модница. Бабушка Татьяна была стара для Нюши, притом постоянно ворчала да охала; Зотушка был какой ни на есть мужчина, а тетенька Алена Евстратьевна была женщина, и ее женское участие трогало Нюшу, потому что она могла с этой тетенькой говорить о многом, что никогда не сказала бы ни бабушке, ни Зотушке. Модница быстро вошла в роль и под рукой успела выведать, что думает Нюша об Алексее Пазухине, а также кое-что и о бабушке Татьяне и обстоятельствах смерти братца. От ее внимания не ускользнуло то важное обстоятельство, что у братца с мамынькой был какой-то крупный разговор, а потом то, что бабушка Татьяна сильно скупится.

– А я ведь к вам неспроста приехала-то, мамынька, – объявила Алена Евстратьевна, пожив в Белоглинском с неделю и успев побывать везде.

– Вижу, что неспроста…

– Вину-то свою я хорошо помню.

– Какую вину?

– Ну, как я тогда расстроила свадьбу Нюши с Алексеем.

– Да, да… Вот теперь и полюбуйся! Кабы не ты тогда, так жила бы да жила наша Нюша припеваючи, а теперь вон Пазухины-то и глядеть на нас не хотят.

– Уж это обнаковенно, маменька. Разе я этого не чувствую? Может, сколько слез выплакала за свою-то глупость.

– Так за каким делом-то приехала? Говори уж прямо, не разводи бобов-то…

– А такое и дело, маменька, что хочу я исправить этот самый грех пред Нюшей. Хочу ей судьбу устроить… Есть у нас в Верхотурье один человек, Павел Митрич Косяков. Он раньше в становых служил, а теперь так, своими делами занимается. Очень оборотистый человек, маменька, и домик свой имеет. Хозяйство сам ведет и прочее всякое. Ну, он и видел как-то Нюшу в церкви, когда был в Белоглинском. Очень уж она ему по вкусу пришлась… Вот он и просил меня поразведать, что и как. И ведь какой человек-то, маменька! Молодой, красивый, рослый… Наши-то невесты за ним страсть гоняются, да он и глядеть на них не хочет, потому как ему свой вкус лучше знать.

– Да чем он занимается, не пойму я что-то?..

– Своими делами, маменька… Ах, какие вы непонятные, маменька! Ведь это прежде было так, что тот и человек, кто на службе или ремеслом каким занимается, а нынче уж не то, нынче народ куда оборотистей пошел. Посмотрите-ка на богатых господ по городам, чем они занимаются? И сами не знают, а деньги так лопатой и гребут. Это кто с понятием, конечно, живет. А Павел Митрич на все руки: у него и прииск есть, и торговлишка маленькая, и по судам дела ведет. Больше по судам… Купец какой в пьяном виде нагрезит, сейчас к Павлу Митричу: «Выправьте, Павел Митрич!» А Павел Митрич сейчас бумагу напишет да сотенную и получит. Это за один час… Да недалеко сказать – Вукол Логиныч ему недавно двести рублей за одну корову заплатил. И ведь как просто дело все: искал золото Вукол Логиныч около одной деревни, да шахту и не завалил, а у одного мужика корова в шахту и свались. Ну, обнаковенно, мужик к Вуколу Логинычу: «Пожалуйте пятнадцать рублей за корову, потому как, по закону, вы шахту должны завалить». А Вуколу-то Логинычу это слово и не поглянись, что он его законом-то хотел пристращать. «Когда, – говорит, – такие слова со мной говоришь, двух копеек не отдам». Ну, мужик, обнаковенно, к мировому, а Вукол Логиныч к Павлу Митричу: «Тысячи не пожалею, только мужику не отдавать бы этих пятнадцати рублей». Мировой все-таки присудил взыскать с Вукола Логиныча, а Павел Митрич в съезд мировых – съезд то же присудил, что и мировой, а Павел Митрич в Сенат… Ну, Шабалин-то ему уж двести рублей заплатил, да еще двести обещает. Вот как оборотистые-то люди, маменька, живут на свете: за чужую корову четыреста рубликов получит и не поморщится.

– Да про этакого человека, Аленушка, ровно страшно и подумать… Ведь он всех тут засудит! Если бы еще он из купечества, а то Господь его знает, что у него на уме. Вон как нас Головинский-то обул на обе ноги! Все дочиста спустил… А уж какой легкий на слова был, пес, прости ты меня, Владычица!.. Чего-то боюсь я этих ваших городских…

– Ах, маменька, маменька, какие вы слова рассуждаете?.. Не все же плуты да мошенники по городам. Живу же я, не жалуюсь.

– Твое совсем другое дело: у тебя муж купец, ну а эти оборотистые-то.

– Да вы, маменька, то подумайте: оборотистого, хорошего человека, который живет с настоящим понятием, вы боитесь, а того не боитесь, что вы сегодня живы и здоровы, а завтра бог весть… Не к тому слово говорится, маменька, что я смерти вашей желаю, а к примеру: все под Богом ходим. Вот я и моложе вас, а чуть ноне совсем ноги не протянула…

– Это ты верно говоришь, Аленушка, я и сама часто о смертном часе думаю. Тоже мои года не

маленькие; на семьдесят шестой перевалило… А все-таки страшно, Аленушка! Не знаем мы этого Павла Митрича, а чужая душа – потемки.

– Да ведь я-то его знаю, маменька! Так же вот отлично знаю, как вас… Уж если это не жених, так я уж не знаю. Ведь хотели же свалить Нюшу за Алешу Пазухина, а за этакого человека боитесь!.. А вы еще так подумайте: умерли вы, а Нюша осталась одна-одинешенька. И то надо сказать, мамынька, – договорила она жалостливо, – какие теперь ваши достатки: дай Бог одну голову прокормить, да вам одним-то много ли надо! А Нюша все-таки девушка молодая, то да се, все расходы да расходы… Прямо сказать, выйди бы она замуж, вы жили бы в своей половине с Маланьей, а в горницы пустили бы квартирантов, а при Нюше и квартирантов-то пустить неловко: всякий про девку худое слово скажет… Чужой человек в дому хуже колокола.

– Не знаю, как уж тебе сказать-то, – уклончиво говорила Татьяна Власьевна, – ты бы привезла его хоть показать, нельзя же позаочь…

Алене Евстратьевне только этого и нужно было: она живо укатила в Верхотурье за оборотистым женихом.

XXV

Чтобы не уронить себя как сваху, Алена Евстратьевна заставила Татьяну Власьевну подождать и привезла жениха только после Рождества. Павел Митрич Косяков оказался действительно видным, рослым мужчиной с красивым бойким лицом и развязными манерами; говорил он очень свободно и обращался с дамами необыкновенно галантерейно. И одет был Косяков с иголочки: все у него было новое, а на руках перстни «с супериками»[3]. Золотые часы с тяжелой золотой цепочкой и золотыми брелоками, золотые запонки у рубашки – все свидетельствовало самым неопровержимым образом об оборотистости Павла Митрича, так что Татьяна Власьевна осталась им очень довольна. И держал себя Косяков так скромно, обходительно, даже водки капли в рот не брал, а карт и в глаза не видывал. Только одно не нравилось Татьяне Власьевне в женихе: уж больно у него глаза были «вострые», так и бегают. Пожалуй, покойному Гордею Евстратычу такой жених и не поглянулся бы, да уж теперь такое дело подошло, что выбирать нечего, а Нюшу кормить да одевать нужно.

– Больно он глазами у тебя бегает, – объяснила свои сомнения моднице Татьяна Власьевна. – Знаешь, и лошадей когда выбирают, так обходят тех, у которых глаз круглый, больно норовистые издаются.

– Всем деревни не выбрать, маменька, а Павел Митрич об нас с вами не заплачет: посмотрит невесту и уедет. Ему только рукой повести – как галок налетит. Как знаете, я не навязываю вам жениха, а только мне Нюши-то жаль… Это от сытости да от достатков женихов разбирают. Может, у вас где-нибудь припрятаны деньги, вот вы и ломаетесь надо мной.

– Да ведь я так сказала, к слову… Этакое ты, Аленушка, купоросное масло!.. Так и вертишь языком-то как шилом.

Зотушка тоже пришел посмотреть на жениха и остался им недоволен по всем статьям.

– Привезла нам Алена Евстратьевна какого-то ратника, – ворчал он в своем флигельке. – Он, жених-то, вон как буркалами своими ворочает и еще прикидывается: «Не пью!» Знаем мы вас, как вы не пьете, а только за ухо льете.

После необходимых переговоров и церемоний показали жениху и невесту, причем, конечно, о

сватовстве не было и речи, а все говорили о самых посторонних вещах. Нюше жених тоже не понравился, хотя ее об этом никто и не спрашивал. Чтобы поднять свои курсы, Алена Евстратьевна пригласила о. Крискента в качестве эксперта, которому такие дела уж должны быть известны доподлинно, потому что в год-то он сколько свадеб свенчает. Отец Крискент нашел как раз то, что желала Алена Евстратьевна, и, побеседовав с Павлом Митричем о разных духовных предметах, выразился о нем в разговоре с Татьяной Власьевной так:

– С головой человек.

– Сама вижу, отец Крискент, что не без головы, да только ведь в него не влезешь, – сомневалась Татьяна Власьевна. – Ведь не шуточное дело затевается.

– Совершенно справедливо изволите руссуждать.

Дело заварилось не на шутку и, при содействии о. Крискента, скоро было кончено: Нюша была помолвлена за Косякова. Эта новость облетела весь Белоглинский завод и еще раз сделала брагинскую семью героем дня, причем толкам и пересудам конца не было. Одни говорили, что Косяков богач и отличный человек, другие – что он прощелыга и прохвост, третьи – что женится – переменится, и т. д. В брагинском доме теперь шла настоящая сумятица, которую производили свадебные подруги Нюши: они шили, пели и наполняли дом беззаботным смехом. Присутствие Михалки и Володьки Пятова особенно одушевляло эту компанию, хотя Татьяна Власьевна и не особенно жаловала своих недругов, но уж случай такой вышел, что сердиться не приходилось. Павел Митрич держал себя как и следует настоящему жениху: осыпал всех подарками, постоянно целовался с невестой и угощал встречного и поперечного. Но первая роль, конечно, принадлежала модница Алене Евстратьевне, которая всеми верховодила и распоряжалась, как у себя дома. Она поспевала везде: все видела и ничего не забывала. Только одно было нехорошо на этой свадьбе-скороспелке: невеста была круглая сирота, и поэтому пелись все такие печальные песни, которые превращали свадьбу в поминки, да и невеста была такая скучная и часто плакала.

– Вот братец не дожили до такой радости, – говорила Алена Евстратьевна, – то-то они порадовались бы. Братец-покойник веселые были в компании… Другому молодому супротив них не устоять!..

Общее веселье отчасти омрачилось еще тем обстоятельством, что Зотушка жестоко запил и даже совсем исчез из дому неизвестно куда. Его, впрочем, и не разыскивали, потому что было не до того, – у всех хлопот был полон рот.

Молодых венчал, конечно, о. Крискент в только что отстроенной церкви, на которую Татьяна Власьевна когда-то таскала кирпичи. Народу было битком набито, и бабы поголовно восхищались счастливой парочкой. В этой пестрой толпе много девушек завидовали дикому счастью Нюши, которая подцепила такого жениха, а невеста стояла такая бледная, с опухшими от слез глазами, и венчальная свеча слабо дрожала в ее руках. Вечером в брагинском доме был устроен настоящий пир, на котором мужчины и женщины напились до безобразия. Молодых поздравляли, отпускали на их счет самые сальные шуточки, так что с Нюшей под конец сделалось дурно…

Татьяна Власьевна рассчитывала так, что молодые сейчас после свадьбы уедут в Верхотурье и она устроится в своем доме по-новому и первым делом пустит квартирантов. Все-таки расстановочка будет. Но вышло иначе. Алена Евстратьевна действительно уехала, а Павел Митрич остался и на время нанял те комнаты, где жил раньше Гордей Евстратыч.

– Я только на время, бабушка, на время, – говорил он для успокоения старухи. – Дела у меня здесь есть, так нужно будет развязаться с ними.

– Твое дело, тебе лучше знать, а я не гоню, – по возможности кротко отвечала зятю Татьяна Власьевна, хотя сама и ежилась.

Скоро возникли и первые недоразумения, поводом для которых послужили хозяйственные расчеты: Павел Митрич пил и ел с женой, занимал квартиру, а о деньгах и не заикался.

Так прошел весь медовый месяц. Павел Митрич оказался человеком веселого нрава, любил ездить по гостям и к себе возил гостей. Назовет кого попало, а потом и посылает жену тормошить бабушку насчет угощенья. Сам никогда слова не скажет, а все через жену.

– Да у него у самого-то языка, что ли, нет? – ворчит бабушка на Нюшу.

– Бабушка, да ведь там сидят чужие, осудят, пожалуй… – объясняла Нюша со слезами.

Татьяну Власьевну Косяков оставлял долго в покое, но тем тяжелее доставалось бедной Нюше, с которой он начал обращаться все хуже и хуже. Эти «семейные» сцены скрыты были от всех глаз, и даже Татьяна Власьевна не знала, что делается в горницах по ночам, потому что Павел Митрич всегда плотно притворял двери и завешивал окна.

Вынужденная истязаниями и беспрерывною нравственной пыткой, Нюша обратилась к бабушке Татьяне с просьбой о деньгах, но безуспешно. Татьяна Власьевна точно окаменела и выслушивала мольбы внучки совершенно равнодушно.

– Не умеешь просить, каналья! – ругался Косяков и отпускал Нюше за неудачную просьбу двойную порцию побоев.

Но на этом Павел Митрич не остановился, потому что слишком вошел во вкус своей семейной жизни. Безответность трепетавшей перед ним жены раздражала его, и он с мучительным наслаждением придумывал новые истязания. Теперь ему было мало этих келейных наслаждений, нужно было общество.

Чтобы выучить жену пить вместе со всеми водку, Косяков дал ей всего несколько уроков в спальне. Нальет рюмку, подаст Нюше и мучит ее до тех пор, пока она не выпьет.

– А вы знаете, Павел Митрич, что ваша жена влюблена? – спросила как-то раз Косякова Варвара Тихоновна. – Да, очень влюблена… Не догадываетесь? – допытывала она, досыта намучив гостя.

– Нет…

– А Алешка Пазухин?.. Ведь он сколько лет считался женихом Анны Гордеевны. Ну, тогда свадьба расстроилась из-за Гордея Евстратыча, так они теперь из-за вас свое берут… Уж это верно!.. Чтобы жена да не водила мужа за нос, да этому я никогда не поверю… никогда!..

Домой вернулся Косяков точно в тумане: теперь старуха у него была в руках, и он ее проберет… Да, отличная штука будет. По своему обыкновению, Павел Митрич ничем не выдал себя, и даже Нюша не заметила в нем никакой перемены. Он что-то долго обдумывал, а потом разоделся в свои суперики и отправился знакомиться с Пазухиными, которые были удивлены таким визитом любезного соседа.

– Я давно к вам собираюсь, да все дела задерживали, – объяснил Павел Митрич с обычной своей развязностью. – Живем соседями, надо же познакомиться.

Сила Андроныч был дома и с любопытством рассматривал гостя, который был известен в Белоглинском заводе под именем Пашки Косякова, или просто «ратник»; старик слышал кое-что о семейной жизни Нюши и крепко недолюбливал его, но человек пришел в гости – не гнать же его в шею. Косяков посидел, поговорил, а потом на прощанье усиленно просил пожаловать в гости к себе.

Знакомство их продолжалось недолго. Павел Митрич устроил своим соседям скандал, пригласив к себе гостей и в том числе Пазухиных. Когда гости собрались, Косяков обратился ко всем с такой речью, указывая на Алексея Пазухина:

– Это мой отличный сосед. Когда меня не бывает дома, Алексей Силыч любезничает с моей женой и заводит шашни. Они ведь старые знакомые, так им не привыкать обманывать добрых людей: раньше Анна Гордеевна обманывала своего тятеньку, а теперь обманывает меня.

– Врешь! – загремел Сила Андроныч и накинулся на «ратника».

Произошла страшная свалка.

– Постой, кровопийца, я тебе покажу!.. – ревел Сила Андроныч, обрабатывая кулаками хрипевшего «ратника». – Ты думаешь, на тебя и суда нет, разбойник двухголовый?.. Кровь чужую пьешь. Я тебя задушу, палача.

Только прибежавшая на шум Татьяна Власьевна кое-как усмирила Силу Андроныча и стащила его с избитого зятя.

– На твоей душе грех, старуха!.. – гремел расходившийся Пазухин. – Вы вдвоем загубили Нюшу и ответите за нее перед Богом.

Косяков, потерпев поражение от Силы Андроныча, считал себя теперь вправе выместить гнев на жене и на Татьяне Власьевне.

XXVI

Зотушка все это время вел самый странный образ жизни и точно не хотел ничего знать, что делается в батюшкином доме. Он совсем не ходил в горницы, чтобы не встречаться с «ратником», и как будто избегал Нюши, которую всегда очень любил. Правда, Зотушка очень редко появлялся в своем флигельке и все пропадал где-то, хотя его не видали больше ни у Савиных, ни у Колобовых. О печальной жизни Нюши Зотушка, конечно, знал давно, хотя об этом и не говорил никому. Ни одна душа не видала, как «источник» по ночам молился и плакал о своей голубке. Все время он соображал о том, как ему освободить Нюшу от «ратника», и не мог ничего придумать. Голова Зотушки была устроена совершенно особенно: его мысль вечно пробиралась какими-то закоулками и задворками и все-таки приходила к своей цели.

Раз, перебирая все обстоятельства мудреного дела, Зотушка весь просиял и даже заплакал от радости: решение было найдено и Нюша спасена. Он долго молился своему образку, прежде чем идти на подвиг, потом приоделся, намазал обильно свою голову деревянным маслом и со своим смиренным просветленным видом отправился прямо в горницы.

– А, Зотей Евстратыч, где тебя долго не видать? – спрашивал Павел Митрич. – Загордился,

совсем не хочешь нас знать…

– Какая гордость, Павел Митрич, Господь с вами. Так, делишки разные были…

– Да какие у тебя дела могут быть, блаженная голова? Живешь как комар – какие у тебя дела…

– И у него своя забота есть, Павел Митрич…

Косяков чувствовал, что старик пришел недаром, потому что он все неспроста делал, что-нибудь да держит он на уме и уж наверное знает, куда старуха прячет свои деньги. Косяков даже удивился, как он раньше об этом не подумал: подпоить Божьего человека – он все и разболтает… Эта мысль очень понравилась Косякову, и он решил привести ее в исполнение.

– Ты не бегал бы от меня, так дело-то лучше было бы, – говорил Косяков, ласково поглядывая на старика своими вострыми глазами. – Приходи покалякать когда, поболтать, да и муху можно раздавить…

Зотушка блаженно улыбнулся и, осторожно оглядевшись кругом, проговорил вполголоса:

– Старухи я боюсь, Павел Митрич… Ведь она меня сживет со свету, если узнает, что я с вами-то заодно…

– Так бы прямо и сказал… А ты не бойся: Павел Косяков никого на свете не боится. Да что тут толковать: хочешь, сейчас муху давнем?

– Уж это на что лучше, Павел Митрич.

Зотушка прищелкнул языком и хитро подмигнул глазом в сторону бабушкиных горниц, – дескать, теперь мне плевать на нее, ежели Косяков никого на свете не боится. Явилась водка, явилась закуска, и первая «муха» была раздавлена самым развеселым образом, так что захмелевший Зотушка даже спел свой стих о старце. Татьяна Власьевна просто диву далась, когда узнала, что Зотушка пирует с «ратником»: не такой был человек Зотушка, чтобы кривить душой, – уж как, кажется, он падок до водки, а никогда ни одной рюмки не примет от того, кто ему пришелся не по нраву… А тут, на-кася, даже песню запел… Нюша сначала даже испугалась, когда услышала Зотушкин стих. И теперь где же поет Зотушка – в горницах, где его слушает «ратник»!.. А Зотушка все пел и пел, улыбался блаженной улыбкой и даже закрывал глаза, как воробей, которого после холодной морозной ночи пригрело солнышком.

– А ведь ты славный старик, – хвалил Косяков, хлопая Зотушку своей десницей по плечу. – И песни отлично поешь…

– Уж как кому поглянется, Павел Митрич.

– Так старуха-то крепко тебя обижает?

– Голодом сморила… Да и так, ежели разобрать: как пила пилит.

– Да ты выпей еще, а потом побеседуем…

Зотушка не отказался от новой «мухи» и притворился совсем захмелевшим.

– А я… пришел к тебе… не тово… недаром, – признавался Зотушка косневшим языком. – Уж больно меня… старуха-то доехала… Стра-асть доехала!.. Хоть вот сейчас ложись… и помирай! Вот я и пришел к тебе… дельце маленькое есть…

– Я ведь тоже с тобой давно хочу поговорить, Зотей Евстратыч, и, кажется, мы столкуемся… Не насчет ли капиталов Гордея Евстратыча?

– Оно самое… оно… только я старухи до смерти боюсь…

– Вот что, пойдем лучше к тебе в флигелек, побеседуем там…

– Лладно-о…

Косяков под руку довел пьяного Зотушку до его флигеля и даже помог ему сесть на стул.

– Ох, боюсь старухи, – представлялся Зотушка, раскачиваясь на стуле.

– А есть у старухи деньги?

Зотушка оглянулся боязливо по сторонам и прошептал:

– Есть…

– Зотей Евстратыч, послушай меня: скажи, куда прячет старуха деньги, тогда одна половина моя, другая твоя… А то все равно нам обоим ничего не достанется!

– Обманешь ты меня?

– Я?.. Хочешь, сейчас образ со стены сниму?

– Хорошо… я тебе укажу место… только чтобы водкой меня поить до отвалу.

– Ну, где?.. – задыхавшимся шепотом спрашивал Косяков.

– А ты не больно торопись… Не запрег, чего нукаешь?.. Сейчас я тебе ничего не скажу, а через три дня все как на ладонке объясню…

Как «ратник» ни умолял Зотушку, тот не сдался ни на какие просьбы и настоял на своем.

Три дня пролетели быстро. Зотушка куда-то исчезал, но потом явился на третий день. Косяков все это время переживал с самым лихорадочным нетерпением, а когда вечером увидал затеплившийся в флигельке Зотушки огонек – вздохнул свободнее; он сейчас же побежал к нему, а тот сидел на лавке бледный и изможденный, точно он перенес какую болезнь в три дня.

– Что это с тобой? – осведомился Косяков.

– Ничего… пировал, – коротко ответил Зотушка, ощупывая свою голову.

– Эк тебя взяло… Нашел время, нечего сказать.

– А ты думаешь, мне легко чужие-то деньги воровать?.. А?.. Может, у меня сердце все издрожалось со страху… Страсть боюсь старухи.

– Ну, сказывай, где деньги-то…

Косяков давно наблюдал за Татьяной Власьевной, куда она прячет деньги, но все было бесполезно. Но и Зотушке стоило немалых усилий открыть секрет Татьяны Власьевны. Он

провел до десятка бессонных ночей, прежде чем укараулил старуху, когда она ходила проведать свой заветный узелок. Татьяна Власьевна прятала деньги в пяти местах – на сарае в сене, в предбаннике, в конюшне, в дровах и, наконец, в ларе с овсом. Последнее место и дало возможность решить всю задачу с «ратником». Теперь Зотушка сидел на лавке, смотрел на Косякова воспаленными слезившимися глазами и все что-то шептал про себя.

– Да скажешь, что ли, дьявол!.. – приступил к нему Косяков, бледнея.

– Ладно… скажу… только мне половину… а то не скажу.

– Сказал, что отдам… Фу, черт! Чего еще жилы-то тянешь…

– Надо замок ломать… снасть-то припас?

Косяков порылся в кармане и достал оттуда плотничье долото.

– Какой угодно замок отворим этим ключом, – проговорил он, показывая свою снасть.

– Хорошо… Ступай во двор, там стоит ларь с овсом…

– Знаю…

– Ну, в этом ларе, в овсе, и ищи узелок… в правом углу… Только вот что: мне твоих денег не надо, а ты мне отдай камешек, который лежит тут же с деньгами… только и всего…

Косяков уже шагал по двору. Ночь была светлая, и Косяков боязливо оглядывался в сторону дома, точно боялся какой засады. Вот и знакомый старый ларь. Сняв осторожно замок и накладку, Косяков еще раз оглянулся кругом и по пояс опустился в глубокий ларь, где долго шарил руками в овсе, прежде чем ущупал заветный узелок. Достав узелок из ларя, Косяков вернулся с ним в Зотушкин флигелек, проверил там деньги и передал Зотушке ту самую жилку, которую когда-то привез Михалко из Полдневской от Маркушки.

– Теперь, Павел Митрич, уходи от греха, – проговорил Зотушка, пряча кусок кварцу за пазуху. – С деньгами тебе везде дорога, а если вздумаешь назад оборотиться – обоих нас в каторгу зашлют…

Косяков навсегда скрылся из Белоглинского завода, а Зотушка истолок в ступе Маркушкину жилку и той же ночью всыпал ее в церковную кружку.

1884

[1] То есть при смерти. *(Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

[2] Шары, по уральскому говору, – глаза. *(Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

[3] Сериками на Урале называются крупные драгоценные камни, преимущественно тяжеловесы. *(Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch